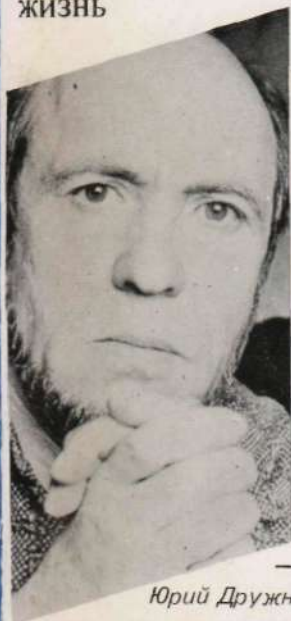


ВРЕМЯ ИМЫ 55 1980

- НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПОСТСКРИПТУМ ДОРЫ ШТУРМАН
- ЗАПИСКИ БЫВШЕГО ТАЙНОГО ЦЕНЗОРА М Г Б
- ГЕРОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Я. Б. ПОЛОНСКИЙ О БУНИНЕ
- ХУДОЖНИК, СИМВОЛЫ, ЖИЗНЬ



Юрий Дружников



Наталия ГРОСС



Ю. Карабчиевский
Жизнь
Александра Зильбера

Шрамы российского Одиссея

Тридцатое февраля

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

55
1980

ИЮЛЬ-АВГУСТ

НЬЮ-ЙОРК—ТЕЛЬ-АВИВ—ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	

Американское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Эдуард Штейн.
Адрес отделения: E. Szein, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.

Представители журнала:
Александр Штрмас
АНГЛИЯ Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brkjhuse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Западный Лотар Ролл
Берлин Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47, Т. 603 33 49

Юрий Лурьи
Канада 306 Robson Hall Winnipeg, Manitoba C»n»d» R3t 2N2
t. (204) «74 9773

Арий Вернер
ФРГ Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ
Жизнь Александра Зильбера 5
Юрий ДРУЖНИКОВ
Тридцатое февраля 104
Александр ТУЧКОВ
Шинель 126

ПОЭЗИЯ

Инна ЛИСНЯНСКАЯ
Дар в одиночестве жить 142
Надежда ПАСТЕРНАК
Преломление. 153

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Виктор ФЕДОСЕЕВ
Олимпийский мир и олимпийская война 160

ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА

Франтишек СИЛНИЦКИЙ
Угроза коммунизма и мораль России. 172
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Путч в Израиле: миф или реальность? 179

ПИСАТЕЛЬ И МИР

Наталия ГРОСС
Шрамы российского Одиссея 192
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН
Мой Чехов осени и зимы 1968 года 209

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Леопольд АВЗЕГЕР
Я вскрывал Ваши письма 224
Дора ШТУРМАН
Тетрадь на столе. 254
Дневник Я. Б. ПОЛОНСКОГО
Иван Бунин во Франции. 266

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Жизнь, обремененная в символы. 304

В связи с преобразованием журнала "Время и мы" в международный редакция провела выборочный опрос читателей относительно его оптимального объема и периодичности. Многие из них предложили увеличить объем журнала, в частности, расширить отдел прозы, и перейти на двухмесячную периодичность. За изменение периодичности высказались также некоторые книжные магазины и агентства, не успевающие в течение месяца распространять журнал. В связи с этим, принято решение, в порядке эксперимента, до конца 1980 года выпустить три сдвоенных номера, значительно расширив в них отдел прозы. Первый такой номер редакция и предлагает вниманию читателей.

Мы обращаемся ко всем читателям с просьбой высказать свои пожелания, связанные с улучшением условий выпуска журнала, для того чтобы установить его окончательный объем и периодичность.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ПРОЗА _____



Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ЗИЛЬБЕРА

Глава первая

1

Пионерский лагерь — вот знак моего детства.

С лагеря и начнем.

Ни одно слово не живет само по себе — но лишь в сочетании с другими, названными и неназванными. Мы говорим "лагерь" — и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями... Но мы говорим "лагерь" и добавляем "пионерский", и это действует как крестное знамение. Призраки исчезают к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, и музыка и песни, и веселые игры, невинные шутки, футбол-волейбол, река и лес, ягодки-цветочки...

Высокий зеленый сетчатый забор. Территория. Сегодня я выйду за ее пределы не как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным фальцетом рассказывать ей веселые

лагерные истории, и мама будет гладить меня по головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый визг, отвечая не мне, а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын, и как все вообще хорошо, спокойно и гладко. Я пропищу ей, как я играл в футбол и забил два красивых гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера мордатому Глушенкову и как в последнюю ночь мы издевались над спящими...

И моя мама, прекрасно знающая, что я никогда не играю в футбол, не плаваю и не дерусь, что если кто-то над кем-то издевался, то уж, наверно, они надо мной, а не я над ними, — моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет радостно мне поддакивать и гладить меня по головке, с привычной готовностью отменяя суть происходящего.

Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не хочу огорчать свою маму, она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную каторгу. "В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух!" Она меня любит, родная и добрая, и вот приехала за мной раньше всех и уводит меня все дальше и дальше от страшной ограды, а впереди, за узкой полоской леса, уже слышна станция, и там — мороженое, толпа, электричка, живые отдельные нормальные люди, и никто из чужих ничего мне там не прикажет, а свои — вот они, рядом, гладят меня и любят, и не меньше других и не так, как других, — а больше всего на свете! Разве я мог расстроить ее? Я давно включился в эту игру, она шла уже не первый год, мне и в голову не могло прийти нарушить ее условия.

Кончалась учеба, все вокруг расслаблялись, ныряли в каникулы, как в прохладную воду плеса, — а я с содроганием ждал неизбежного дня, когда мама однажды придет с работы и голосом слишком радостным, слишком праздничным, слишком взволнованным, как если бы в комнате, кроме нас, был еще десяток посторонних людей... "Ну, Сашенька, пляши, — скажет она, делая ударение на "я", — удалось достать тебе путевку!" Она будет смотреть мне прямо в глаза, и я не

брошусь ей в ноги, не забьюсь в истерике, не сбегу из дому. Мутное море слез, которым наполнится моя душа, выпустит на поверхность несколько пузырей, они лопнут бесшумно, не оставив никакого следа. "Спасибо, хорошо, спасибо..."

Конечно, мама немного волнуется, но в этом волнении нет страха неудачи, это волнение профессионала, благородный тревожный настрой перед сотым спектаклем. Она настолько во мне уверена, что может позволить себе даже некоторый риск. "Ты что, недоволен? — спрашивает она. — Если ты недоволен — скажи, я тут же отдам путевку, у меня с руками оторвут. Все дети счастливы уехать из города, здесь такая пыль, а там такой воздух, река, лес, питание..." — "Нет, нет, я доволен", — и я выбегаю на улицу, потому что силы мои на исходе.

2

Мы живем в отдельном собственном доме, "в особняке", говорят мои родичи, и я думаю, что "особняк" — это как раз и означает — собственный. Наш собственный дом собран из телеграфных столбов, горбылей, желтых и серых листов фанеры с надписями "карачаровская база" и голубых листов алюминия с пунктирными самолетными номерами. Прежний наш довоенный дом растащили весь на дрова, а теперешний знает лишь два состояния: он или ремонтируется или ожидает ремонта. И все же — мы здесь хозяйева, моя мама, моя тетя, мой дядя (мой двор, моя дверь, мой стол — замечательные сочетания!). У нас свои печи в комнатах, свой сортир во дворе, своя собака в будке, своя картошка в огороде. А вокруг стоят бараки, где живут несчастные люди, у которых нет почти ничего своего. И нам завидуют и нас не любят. И я их понимаю. Не могу сказать, что я им сочувствую, я не сочувствую, но понимаю. Три года мы жили в бараке, два военных и послевоенный, три года в маленькой комнатке, стоявшей навтыжку в общем строю, комната справа, комната слева, бесконечный ряд комнат напротив, у каждой двери помойное ведро, но самое страшное — уборная. Все лето я ходил боси-

ком, наш поселок похож на деревню, хотя до центра рукой подать, я ходил босиком и на всю свою жизнь сохранил то близкое к обмороку состояние омерзения, когда сквозь босые пальцы ног мягко продавливается холодная жижа, сплошь покрывающая черный цементный пол...

И вот теперь у нас особняк, "снова, как до войны", только нет нашей мебели, растащенной соседями, нет фруктовых деревьев, спиленных под корень, нет верной овчарки, подохшей с голоду, — и нет моего отца, погибшего в сорок втором.

Я ухажу к моему другу Алику, он живет хоть и не в собственном доме, но зато на втором этаже. Он берет из дому два куска черного хлеба с сахаром, и мы отправляемся на реку. Мы идем не купаться, этого мне не разрешают, а я очень послушный мальчик, мы идем срезать ветки для удочек, луков, палок, свистулек. Пожирая хлеб, мы проходим через весь поселок, спускаемся к воде и переходим на тот берег по узкому мостику, который каждой весной сносит плывущими льдинами. Мы входим в редкий кустарник и начинаем — ножа у нас нет — гнуть и выкручивать жесткие ольховые ветки. Я пыхчу и мычу, перетирая в мочало сопротивляющиеся волокна, и вдруг слышу над собой голоса, и мгновенно понимаю, что дело плохо: парни года на два-три постарше меня, их четверо, хотя было бы достаточно и одного. "Эй, ты, жиденок! — почти хором говорят они заготовленную заранее фразу. — Ты зачем наши русские деревья ломаешь?!" Трусливые слезы хлюпают у меня в горле, я гнусаво кричу "Алик" и бросаюсь бежать. Мы бежим с Аликом вдоль реки, за нами гонятся, ядовитая слюна отравляет мои внутренности, стенки легких трутся друг о друга, как наждачная бумага. Алик, конечно, бежит быстрее, я отстаю, у меня в глазах темнеет от ужаса. "Держи жиденка!" — кричат сзади. Я пытаюсь себя успокоить. Ну, догонят, ну, избыют — не убьют же! Побьют, побьют, а потом... Ужас не дает мне додумать. Я бегу, я бегу, я перебираю ногами и не двигаюсь с места. Все. Конец. Я па-

даю в высокую траву, падаю на выдохе, и у меня нет уже сил вдохнуть. Пусть убивают, все равно умру от удушья. Но я не умираю. Я вдыхаю раз, другой, встаю и оглядываюсь. Никого нет, погоня оборвалась сама собой. И только один осторожный Алик возвращается крадучись, полуползком, вдоль заросшей травой железнодорожной насыпи...

Страшное, зловещее место. Где-то здесь месяц назад бросилась под поезд красивая жена хромого монтера Паши. Говорили, что она была третьей его женой и что колесами ей на чисто отрезало голову...

На обратном пути мы не разговариваем с Аликом. Не о чем, да и сил уже нет. С трудом передвигая ноги, мы преодолеваем крутой подъем булыжной мостовой. Зимой здесь часто буксуют машины, по утрам толпы ребят по дороге в школу останавливаются на обочине, чтобы посмотреть, как неловкие грузовики, отчаянно пожужжав у вершины, откатываются назад, чтобы начать все сначала. Грузовики едут на базу, при въезде и выезде их взвешивают на огромных весах; однажды я попросил весовщицу взвесить на них меня. "Ноль целых, ноль десятых, — сказала она. — Проезжай!" Это показалось мне замечательной остротой, я много раз ее потом пересказывал.

При входе в поселок стоит кирпичный домик, маленький, двухэтажный, с фигурным балкончиком. Светлым кирпичом по темно-бордовому выложены цифры над чердачным окном: 1833. Вокруг домика — небольшой, но красивый сад, гроздь сирени свешиваются с забора, аппетитные, как гроздь винограда, а внутри, я знаю, был один раз, растут прекрасные розы сахарной белизны, влажно-прохладные, с аккуратными капельками росы на лепестках. Жители домика торгуют цветами и, говорят, хорошо зарабатывают, хотя я никак не могу понять, кто это покупает цветы, когда всем не хватает хлеба...

Мы проходим мимо дома Алика, он ныряет к себе в подъезд, дальше я иду один. Длинная-длинная, переменной расцветки и скачущей высоты гряда сараев. Запах сена и кроличьего помета. За углом — наша калитка.

Я открываю калитку и иду по дорожке между картофельными грядками, я все еще тяжело дышу, и ноги мои за мной не поспевают, мои руки черны от древесного сока, а лицо вспухло от слез, и я знаю, что не надо ничего рассказывать, и знаю в то же время, что все расскажу, и еще приукрашу, и еще поплачу всласть под родственные вздохи и причитания. Двухязычная воркотня окружит меня теплой стеной, и я стану думать, что эти еврейские возгласы не дублируют русские, но несут в себе нечто свое, особое, действительно важное и утешительное.

Мама уже вернулась с работы, она стоит у двери террасы в зеленом крепдешиновом платье, я ускоряю шаг, но печаль моя, готовая вырваться наружу потоком душераздирающих слов, загоняется внутрь другой, несравненно большей печалью. Прекрасные, черные, чуть косящие глаза моей мамы смотрят прямо на меня, сквозь меня, за меня, дальше, дальше, в бесконечность. Яркие губы ее разжимаются — и я чувствую вдруг, что все мои только что перенесенные горести — это радости, все волнения — удовольствия, а несчастий не было и в помине.

"Сашенька, — говорит она радостно, — а ты знаешь, что завтра утром мы едем в лагерь?"

До последнего момента я надеюсь на чудо. Не дадут какой-нибудь справки, отряд окажется перегруженным, что-нибудь еще, ну, не знаю, что, ну, ведь может же что-то случиться! Вдруг у кого-то дизентерия, объявляется всеобщий карантин и весь лагерь распускают. Как искренне, с какой благодарной отдачей я бы изображал отчаянье!.. И только оказавшись в автобусе рядом с худым белобрысым парнем, я понимаю, что пути отрезаны. Автобус трогается, я смотрю в окно, я стараюсь не видеть своих новых товарищей: я ненавижу их всех. Трусливая ненависть переполняет меня и выплескивается наружу, я боюсь себя выдать, я смотрю в окно. Мы едем по Москве, сегодня это чужой мне город, я не узнаю улиц, они стали как будто выше, это недобрая высота, не высь, а высо-

комерие, и заполнены все улицы чужими, о с т а ю щ и м и с я людьми. Все остаются, а меня увозят. Скользящим взглядом я задеваю своего соседа, зеленая конфета перекачивается у него во рту, распирая то одну, то другую щеку; время от времени он складывает губы трубочкой и выталкивает ее обкатанное, раз от раза тающее тельце на всеобщее обозрение. Автобус гудит и толчется у светофора, вожатая встает со своего сиденья, синее в горошек платье до отказа наполнено грудью. "Ребята, песню! — выкрикивает она. — Самойлов, запевай! Это чей та-ам смех веселый-ый, чьи глаза огнем горя-ат!.."

Самойлов сидит через ряд от меня, несколько человек собралось вокруг него — старички с предыдущей смены, — он поднимает голову, наши взгляды встречаются, и вот он уже не поет, Самойлов, — он смотрит. Господи, как я знаю этот взгляд, какой он всегда одинаковый, с какой удивительной неотвратимостью на любые двадцать пять взглядов найдется хоть бы один такой — взгляд Самойлова! В нем нет даже злости, скорее — радость: он нашел меня, мой Самойлов. Все у него было хорошо, не хватало только меня, и вот я объявился, как по заказу. Я еще трепыхаюсь, я еще отвожу глаза от этого жуткого перекрестка, еще делаю вид, что ничего не было, хотя знаю, что все уже безнадежно. Ну хоть бы раз, думаю я, хоть бы раз пронесло, ну может же быть одно исключение, ну хоть бы, ну только бы, ну пожалуйста!.. "Во-он, тот, курчавенький", — говорит Самойлов. Все. Началось...

Изо всех д о в о д о к мне запомнилась больше всего одна, самая примитивная, самая типовая, самая в то время распространенная.

Идет дождь, вожатые развлекаются у себя в комнате, мы сидим на заправленных койках, ждем обеда. Разговор заходит об отцах: кто кем работает. Высказываются только те, у чьих отцов профессия яркая, конкретная: шофер, токарь,

офицер. У Савицкого, я знаю, отец — начальник, какой-то большой человек в наркомате, но Савицкий молчит: что тут скажешь, начальник — не профессия. Кто-то говорит: "погиб". Я тоже влезаю: "И у меня погиб" — хотя меня-то как раз никто и не спрашивает. Но вот наступает очередь Самойлова.

— И-иди-и болта-ать! Поги-иб! — тянет он, выпячивая нижнюю губу. — Помер небось от поноса!

Эта шутка нравится, все смеются. Слезы застилают мне глаза, забивают глотку.

— Да ты что! — сиплю я. — Да ты что!

— Че, че... Да ниче! Евреи, если хочешь знать, и на фронте не были, все по домам на печках сидели.

Я мычу, я обливаюсь слезами.

— Ну вот, Эдик, скажи, воевали евреи? — продолжает пытку Самойлов.

Умненький, гладенький, очкастенький Эдик, наш "профессор", или, как сказали бы теперь, интеллектуал, смотрит на меня трезвым невидящим взглядом.

— Да, пожалуй, это факт. Евреев на фронте было очень мало.

— Можно сказать, что и не было, верно?

— Да, можно сказать, что и не было...

Самойлов в восторге.

— Ну! — кричит он, вскидывая руки. — Ну! Эдька же знает, он же знает, Эдька сказал — можешь заткнуться!

— Эдик! — прорываюсь я, наконец. — Эдик, ну что ты, ну погиб же у меня, в сорок втором, я же пенсию получаю!..

— Во! Пенсию! — хохочет Самойлов и жестко сплевывает за окно. — Морковка! — вдруг обращается он к Марковичу. — У тебя отец еврей?

— Еврей, — тихо говорит Маркович, проглатывая первое "е": "иврей".

— Ну скажи, Морковка, — миролюбиво продолжает Самойлов, — был он на фронте?

— Не был, — все так же тихо отвечает Маркович, — он на заводе работал.

Самойлов ласково смотрит на Марковича. Сейчас он его просто любит, хотя в другое время доводит почти как меня.

— Ну вот, на заводе. Морковка-то хоть не брешет. А твой где? В палатке торговал? Где работал твой папа Зильбер? Ты скажи, не бойся, ничего тебе не будет...

Фальшивый звук горна вымывает всех из палаты. "Бери ложку, бери хлеб..."

Я лежу ничком на своей койке, и самое острое мое желание — стать одеялом, таким же плоским и серым, как то, что лежит подо мной, чтобы вошедшая Вера не заметила и не окликнула.

— Что с тобой, Саша? — говорит она задушевым голосом. — Обидел тебя кто-нибудь? Нет? Ну так что же ты? Пойдем скорей строиться, а то отряд подведешь!

"Ну да, думаю я, вот уж, действительно... Да провалилась бы ты к черту, дура, вместе с твоим проклятым отрядом!"

Трезвая злость высушивает мои слезы. Я молча встаю и иду строиться.

5

Много лет спустя я прочел у Сэлинджера о том, как его героя тошнило при виде затылка впереди стоящего. Меня поразила точность ощущения, но я почувствовал в то же время, что чего-то мне здесь не хватает. И в конце концов понял: не хватает столовой. Для меня затылок впереди стоящего связан с тошнотой именно через столовую. Я и теперь не знаю, чем это объяснить, но никогда я в лагере не хотел есть. Более того, всякая еда мне была отвратительна, и четырежды в день постоянная моя мука обострялась до предела. Вот мы стоим в строю, я вижу затылок впереди стоящего, затем мы идем, я вижу затылок впереди идущего, много затылков впереди, но и сзади осталось еще достаточно лбов. Кто-то подталкивает меня в спину, кто-то бьет прутом по ногам, "чего ты взъелся, это не я", "я-то при чем, я тя не трогаю...", веселые шуточки перед кормежкой, вот ведь охота же им, подонкам,

развлекаться таким идиотским способом, скорее, скорее бы уже столовая, хотя еще бы лучше, чтоб вообще ее не было...

Я все пытаюсь осмыслить этот факт, понять сегодня тогдашнее свое состояние, но ничего у меня не выходит, никакого обратного проникновения — только одно прямое. Нет понимания отсюда — туда, а есть лишь ощущение оттуда — сюда.

Вот я беру влажную тряпку, тщательно стираю с доски все написанное, память моя пуста, чувств — никаких. Я представляю себе большое помещение, столы и стулья, на столах тарелки с супом, ложки, вилки, хлеб. Вбегает шумная ватага мальчиков, они бегут, задевая стулья, толкая друг друга, они — как это? — о з о р н и ч а ю т немного, это ничего, это так естественно. Полная, добродушная вожатая снисходительно на них покрикивает. Рассаживаются и начинают торопливо есть. Суп, конечно, не тот, что дома, но тоже вполне съедобный, а набегаясь по лесу за день — съешь не такой. Ну вот, они едят — и что тут плохого? Что можно придумать, чем напугать?

Но вот я вижу не столовую вообще, не детей вообще, а себя, того, в том именно лагере. Я еще иду в строю, но слышу уже приближающийся запах и чувствую, как к горлу подступают спазмы. Это пахнет еда, приготовленная для многих. Что у меня осталось от лагеря, так это четкое убеждение, что еда для трехсот пахнет иначе, чем еда для троих, даже если она состоит из тех же самых продуктов. Тут неизбежен диалектический скачок, суп для трехсот — это не суп, а пойло, он и пахнет, как пойло, ничего не поделаешь. Но вот что любопытно: в общественных столовых, там, где еду покупают за деньги, я вовсе не чувствовал этого запаха, никакого не испытывал отвращения. Может, это оттого, что там много супов, здесь же — один на всех?

Но еще вероятней, что дело вообще не в самой еде. Запах столовой — это символ моего одиночества, образ моей беззащитности. Столовая — это такое большое, открытое, но и замкнутое пространство, где тебе решительно некуда деться,

где ты всем доступен, "как слон в зверинце, как муха в стакане, как гусь на блюде", где нельзя отойти, передвинуться, отвернуться...

Я сажусь вместе со всеми, я начинаю есть, борюсь с тошнотой. Тарелка большая, до конца далеко. Радостный взгляд Самойлова пересекает разделяющее нас расстояние, веселый хлебный шарик летит по направлению этого взгляда и ловко шлепается в мою тарелку. Так, это начало. Теперь я просто обязан скатать такой же и бросить в Самойлова, но ничего хорошего это мне не сулит. Во-первых, я промажу и попаду в сидящего рядом Рогова, и Рогов мне этого не забудет. Во-вторых, Самойлов кидает легко и тихо, я же кидаю суетливо и шумно, раскачиваясь всем корпусом и размахивая руками. Это значит, что его вожатая не заметит, а мне сделает строгое внушение, к восторгу и ликованию двадцати наблюдателей. Но самое главное: мне вовсе не хочется кидать, а Самойлову — хочется. Для меня это утомительная необходимость, а для него — веселое развлечение, для меня — повинность и потеря времени, для него — жизнь и удовольствие. Так мы перекидываемся некоторое время, и ему становится все веселей, а мне становится все тоскливей; меня выматывает эта тупая работа, я смертельно устал, я кидаю только из самолюбия, а потом уже и совсем ни от чего, просто так, по инерции. Я уже не целюсь, кидаю наугад — попадаю то в одного, то в другого, и все демонстративно и шумно возмущаются и наперебой обещают мне всякие радости.

Моя тарелка полна уже хлебных шариков, серых липких шариков с отпечатками пальцев Самойлова. Мельком, в одно касание, я пробегаю взглядом лица моих соседей, робко ища сочувствия — нет его на этих лицах. Радость, любопытство, равнодушие... — но сочувствия нет. Впрочем, мне некогда теперь рассматривать, я не могу позволить себе такую роскошь, я смотрю прямо перед собой и шевелю ложкой в мерзкой своей тарелке, которая совсем уже перестала быть моей (да и была ли?), а превратилась в очередное орудие пытки, в продолжение и развитие проклятого Самойлова, в круглую и жидкую его разновидность.

Я чувствую, что щеки мои красны, что слезами отчаяния наполнены мои глаза, мой рот, вся моя голова, все тело...

— Зильбер, ты опять не ешь! Ну, что же это такое! Ты не заболел? Посмотри, ты весь красный! Нет, лоб холодный. Ну, что же мне с тобой делать? Так же нельзя, не может же человек без еды, неужели совсем не хочется? Ну, что ты мотаешь головой, скажи что-нибудь. Ты что, не хочешь со мной разговаривать?.. Николай Иваныч! Николай Иваныч!.. (Ну вот, этого мне и нехватало!) Николай Иваныч, подойдите, пожалуйста! Да, на минутку! Николай Иваныч, вот тут у меня мальчик один...

Та-ак, теперь уже не трое соседей по столу, не шестой отряд в полном составе — теперь уже вся столовая, весь лагерь с вожатыми, председателями, звеньевыми и рядовыми членами, весь лагерь оторвался от пойла и хлеба и смотрит в мою сторону, ожидая от меня последней непоправимой глупости.

И я эту глупость делаю. Звонко всхлипнув, я вскакиваю из-за стола и бегу к выходу. Я бегу, закрыв лицо согнутой в локте рукой, наверное это очень смешное зрелище, в узкую щелочку видны только крашенные половицы да ножки стульев, кто-то подставляет мне ножку — не стула, свою, но я не падаю — удивительное везение — и пулей вылетаю в открытую дверь. Я бегу через всю территорию лагеря, трясутся по сторонам выцветшие фанерные щиты с лозунгами и стихами, розовые пионеры и пионерки с зубной пастой на месте зубов отдают мне свой вечный фанерный салют, я бегу мимо них, куда глаза глядят, так мне, по крайней мере, кажется, хотя на самом-то деле путь мой лежит все к тому же, ставшему уже привычным, корпусу, к палате шестого отряда, к чужой и холодной моей койке с колючим одеялом и жесткой подушкой...

Но и это еще не конец. Нет предела моему унижению, нет предела... Сзади я слышу приближающийся топот, несколько человек меня догоняют, вожатая послала за мной лучших бегунов, и среди них, конечно же, — Самойлов...

Они перебегают мне дорогу, хватают за руки, держат цепкими, бесчувственными пальцами. Все молчат, только Самойлов широко улыбается:

— Ку-у-да, ку-у-да! Назад, наза-а-д!

Дальше — все как по нотам. Я сопротивляюсь, меня волокут, умиряют, бьют, легонько, без злобы, но с удовольствием — это не драка, это мероприятие, они при исполнении, у них приказ...

Уже возле самой столовой идущая нам навстречу Вера освобождает меня, извивающегося, трясущегося, мычащего, залитого слезами, соплями, слюной и, обняв за плечи, уводит в вожатскую поить компотом и говорить по душам...

6

Среди взрослых я стараюсь побыть подольше, лезу помогать, заискиваю перед каждым, и, хоть всем порядком надоедаю, — зато становлюсь своим человеком. Мне кажется, что, в отличие от хаоса и произвола мира детей, здесь царят спокойствие, порядок, равновесие. Конечно, это не обыкновенные взрослые, детская стихия со всех сторон омывает и лижет этот островок здравого смысла, но она все же никогда не захлестывает его с головой. Пионеры забегают сюда только по необходимости, н о р м а л ь н ы м детям здесь делать нечего.

Вот Лариса Архипова, редактор стенгазеты, брызжет зубной щеткой на голубеющий на глазах ватманский лист.

— Зильбер, — говорит Лариса, — напиши заметку, у меня место пустое остается.

— Заметку? Про что?

— Про что-нибудь, про что сам захочешь.

— Ну, про что, например?

— Ну, что ты пристал, про что, про что, если б я знала, так сама бы написала!.. Ну, напиши, как вы на реку ходили.

— На реку? Хорошо...

Я беру карандаш, сажусь за стол и уверенно пишу на листке из тетради:

"Поход на реку.

Утром, сразу после завтрака, вожатая Вера сообщила нам..." Я зачеркиваю "сообщила" и пишу "объявила". "Вожатая Вера объявила нам..." Или лучше все же "сообщила"?.. "Мы все очень обрадовались и с веселой песней..."

...Утром, сразу после завтрака, вожатая Вера построила отряд перед корпусом и сказала:

— Кто не умеет плавать — шаг вперед!

Я остался стоять на месте.

Человек восемь вышли вперед, и выйди я тоже, большого позора бы не было. Но на этот раз я остался. Я просто больше не мог. Каждый раз повторялась та же история: "кто не умеет?" — я не умел, "кто еще ни разу?" — я еще ни разу, "кто хочет остаться?" — опять я, снова я, всегда я! На этот раз словно какой-то скрытый механизм сработал внутри меня — возможно, это было интуитивное чувство ритма. "Будь что будет, как-нибудь выкручусь..."

Но я не выкрутился.

Пока мы все "умеющие плавать" отдельным строем спустились к реке, пока шли оживленные споры, что быстрее, кроль или саженки, — я лихорадочно обдумывал способ избежать очередного позора. Слово "Господи" не было в моем лексиконе, я говорил вместо этого "хоть бы". Хоть бы! — молился я, — хоть бы все обошлось! Приеду домой, буду каждый день ходить на реку, научусь плавать лучше всех, ну не лучше всех, но хорошо, быстро и красиво, как Витька Панков, я видел, как он пересекал Сетунь туда и обратно, туда и обратно, много раз подряд, в самом широком месте... Потом приеду в лагерь... Что-о, опять?! Ну, что ж, придется поехать, все равно придется, я же знаю. Приеду в лагерь, никому ничего не скажу, ну, Зильбер, ты-то куда лезешь, ты-то здесь как очутился, может, хочешь наперегонки? Ребя, Зильбер хочет наперегонки, вот потеха! И вот тут-то я... Нет, он у нас ничего, в футбол играть не умеет, зато плавает — будь здоров!.. Мы тут как-то однажды...

Как-то однажды я нарушил строгий запрет и пошел с ребятами купаться в Сетунь. Мы шли и весело болтали, это было

не в лагере, а дома, над нами не было начальства и режима, мы шли купаться потому, что нам так хотелось, и компанию мы составили сами — все это были мои приятели. Мы шли и болтали, и я возбуждался все больше, по мере приближения к реке, и под конец был уже так опьянен этим невозможным для меня фактом **н а р у ш е н и я**, что первым бросился в воду, с разбега, с обрыва, не раздеваясь, прямо в рубашке и штанах.

Ребята хохотали, а я, совсем уже обезумев, метался по пояс в воде, крутил головой и бил руками, размахивал мокрыми концами рукавов, что-то орал и мычал, и, наконец, с трудом выбравшись на берег, без чувств упал на траву.

Ребята испугались, побежали за взрослыми, но я быстро пришел в себя и один, мокрый, грязный, всклоченный, поплелся домой, заранее переживая все ждущие меня вопли и причитания... После этого прошло два года и я ни разу не входил в воду, ни одетый, ни раздетый...

И вот теперь — погода жаркая, мы идем в одних трусах, раздеваться не надо, и одежду не замочишь. Мы снова выстраиваемся у самой воды — уже одни "пловцы", неплывающие болельщики (счастливые люди, вот ведь счастливые люди!) сидят на пригорке, щиплют травку и глядят на нас с деланным равнодушием.

— Значит, так, — говорит Вера. — Будем готовиться к сдаче на БГТО. Сегодня проплываем десять метров. До того берега и обратно. Здесь мелко, не утонете.

"И то хорошо", — думаю я. Раз! — командует Вера. Мы стоим в воде по пояс, до другого берега рукой подать, так легко, наверное, доплыть, если только уметь плавать!.. — Два! — командует Вера, мы все пригибаемся, выжидая — я-то зачем пригибаюсь, идиот несчастный! Вода теплая, но я весь трясусь, судорога пробегает по моей костлявой полусогнутой спине. "Вера! — говорю я, почти не разжимая губ, — я что-то плохо себя чувствую..." Стоящий рядом со мной Лосев расслышал. "Чего?" — спрашивает он, не оборачиваясь. — Три! — командует Вера, и все, кроме меня, кто как может, начинают работать руками и ногами. Ну, а что же мне, мне-то что делать?

Я делаю вот что. Я погружаюсь по шею и начинаю перебирать ногами по дну. Так я ползу на карачках, касаясь воды подбородком, дно здесь песчаное, вода чиста и прозрачна, как в стакане, и останавливаюсь я только тогда, когда до меня доходит истонный гогот болельщиков. "Во дает! — орут они. — Ну, мастер! Чемпион! Всех обогнал" — ну, и прочую чепуху, что еще можно орать в подобном случае. Я перестаю "плыть", я оборачиваюсь и вижу, как хохочет серьезная Вера, лежа на траве и прикрывая лицо руками...

Никто уже не плывет, все стоят и смеются. "Это он по-еврейски", — вдруг говорит Самойлов. "Ну, да, это он по-еврейски", — радостно повторяют еще несколько человек. "Перестаньте, ребята", — сквозь слезы говорит Вера, но все понимают, что сейчас она не сердится, что это только так, для порядка...

— Ну, — говорит Самойлов, в упор глядя на меня, — а теперь по бережку, кто быстрее — стилем Зильбера...

"Хорошо в жаркий день на реке!" — это я написал последнюю фразу.

— Молодец, — говорит Лариса, — ловко у тебя получается. Как в "Пионерской правде".

7

Я не научился плавать в следующем году и поехал совсем в другой лагерь, где, на мое счастье, не было ни реки, ни пруда...

А научился я гораздо позже, испытал перед этим тяжкий позор, не меньший, чем тот, о котором я только что рассказывал. Может быть, даже больший, потому что был я к тому времени уже взрослым человеком, вполне способным видеть себя со стороны, и чувство собственного ничтожества долго меня потом не оставляло.

Я жил в доме отдыха на Кавказском побережье, и девушка, которая мне нравилась, плавала до поплавок и обратно, а я барахтался вокруг бетонного волнореза, дожидаясь, когда

она вернется. Я умел уже немного держаться на воде, мог проплыть метров двадцать, если твердо знал, что подо мной неглубоко. А она все уговаривала меня плыть с ней: "тут недалеко, потихоньку, а там можно отдохнуть, поджаться за поплавок..."

И однажды, когда мы вместе бросились в воду и проплыли рядом какое-то время, я вдруг не свернул, как обычно, к своему уютному волнорезу, а продолжал двигаться дальше, чувствуя, что впадаю в то бесшабашное состояние, какое испытывал уже когда-то на Сетуни. Каждому знакомы эти приступы бесшабашности, но у меня они продолжались на редкость недолго, ни до какого конца, ни до композиционной точки не хватало мне заряда лихости, он всегда иссякал в самом нелепом, самом неудачном и опасном месте. Так случилось и на этот раз. Уже к середине пути я стал беспокоиться и метаться, оглядываться: не вернуться ли, но до берега уже было столько же, как и до поплавок, ничтожные остатки самолюбия, еще шевелившиеся в моей душе, перевесили чашу, и я продолжал плыть дальше. Моя девушка маячила впереди, она почти не оглядывалась, потому что, как я понял потом, плавала хоть и лучше меня, но все же очень и очень плохо, и смертельно боялась всякого беспокойства. Вокруг меня на разном расстоянии болтались знакомые и незнакомые головы, но они только усиливали мое чувство одиночества, не представляя для меня никакой реальной опоры, но наглядно обещая позор и унижение в случае, если бы я попросил помощи.

Я уже очень устал, все мои мышцы были напряжены, я беспорядочно двигал руками и ногами, стоя в воде почти вертикально, и время от времени содрогался, удивляясь, почему это вода меня держит, хотя вполне могла бы и отпустить. Я чувствовал, что в том, что я еще не утонул, нет уже никакой моей заслуги. Так, топая воду ногами и царапая ее растопыренными пальцами рук, я все же понемногу приближался к поплавкам, проглатывая собственный крик о помощи вместе с теплой соленой водой. И вот он уже близко, поплавок, вот он совсем уже рядом, вот он тут, милый, вот

он, мое спасение... Но самое страшное было еще впереди. Поплавок представлял собой деревянную крестовину, в центре которой был воткнут красный флажок. Крестовина размокла, отяжелела, целиком погрузилась в воду, и только длинная палка со слипшимся флажком торчала на поверхности. И когда я последним судорожным движением вцепился в толстый и скользкий брус, и когда подтянулся и навалился, расслабив свое дрожащее тело, — вся конструкция тут же ушла под воду, немедленно потащив меня за собой, так что я еле успел отцепиться. Возможно, для плавающего человека все это шаткое сооружение и могло быть некоторой точкой опоры, его ничтожный запас плавучести мог быть достаточен для легкого отдыха, в том случае, если ты не очень устал. Но что было делать здесь моему полубезжизненному телу, не знавшему координации, не владевшему собой, дрожащему и напряженному?

С ужасом и омерзением я отбросил в сторону подлую крестовину, отчаянным рывком повернул голову к берегу — до него был миллион километров. И тогда, мгновенно отметив в сравнительной близости от себя *н е з н а к о м у ю* мужскую голову, я как будто бы вдруг успокоился даже и быстро поплыл к ней на спине, широко загребая руками, на удивление четкими и ровными взмахами. Я приблизился вплотную, увидел мужчину с сильной шеей и густыми светлыми бровями, и, не останавливаясь, произнес тоже четко и ровно, как сказал бы в троллейбусе или в магазине: "Простите, помогите мне, пожалуйста, я не могу доплыть до берега..."

Уже закрыв рот, я почувствовал такое острое сожаление, какое редко когда испытывал в жизни. Я понял вдруг, что именно теперь, вот так, на спине, спокойно и размеренно взмахивая руками, я вполне мог бы доплыть, наверняка бы доплыл, потому что не испытывал уже почти никакого страха. Но было поздно. Уже летела ко мне на всех парах желтая спасательная лодка, огромный оранжевый круг сухо шлепался рядом со мной на зеленую воду, любопытствующие лица, мужские и женские, стекались ко мне со всех сторон, и еще

больше таких лиц ждало меня на берегу, который теперь казался на удивление близким... Замечательное это плавание с оранжевым кругом, триумфальное прибытие на берег на глазах у всего пляжа, на глазах у мужчин и женщин, на глазах у знакомых парней, а главное — на глазах у девушек, знакомых и незнакомых — это уже было, пожалуй, слишком, этого я простить себе не мог.

Впервые, может быть, за свою жизнь я не ограничился фантазиями и прожеками. Я решил поднять руку на фатальное свое невезение.

Я уехал в Москву через три дня — как только сумел достать билет, ни разу даже не приблизившись к морю и ни с кем почти не заговорив. В Москве, в бассейне, я начал с самых азов: дуть на воду, приседать и махать руками — такую непривычную для меня, такую до странности серьезную работу.

Конец этой водяной феерии совсем уже сладок и банален, и, если бы я дал волю фантазии, то, конечно, придумал бы что-нибудь более интересное, уж во всяком случае не столь прямолинейное. Но я твердо решил рассказать *к а к б ы л о*, и значит, придется нам с вами испытать до конца эту чашу сиропа.

Следующим летом я снова поехал на Черное море, на Кавказское побережье, в тот же самый поселок, на тот же самый пляж. Что поделать, я был молод, у меня был дурной вкус! Я сошел с автобуса и спустился к морю, в лучших своих туфлях, в выходном костюме, с чемоданом в руке. День был на удивление прохладный, солнца не было, дул ветерок. Никто не купался, и народу на пляже было мало. Несколько семейных групп расположилось на сухих лежаках, играли в карты, жевали, поглядывали. Я поставил чемодан у самой воды, прямо на прибрежную гальку, медленно и, как мне показалось, спокойно разделся — плавки я надел еще в поезде, — затем, не оглядываясь, бросился в воду. Я поплыл ровным кролем, дыша на четыре такта, вода была как вода, вела себя естественно и дружелюбно, и только небольшие волны по временам захлестывали голову, было неудобно, когда они приходились на вдох, но я быстро к этому приспособился.

Поплавки оказались совсем другими, на месте деревянной крестовины болталась красная полая бомбочка — эта уж не подведет, выдержит хоть пятерых! Я медленно проплыл мимо, похлопав бомбочку по жесткому чугунному боку — механически, без вдохновения, просто так было задумано.

Дальше не было уже ничего, никаких ориентиров, только море, и я плыл и плыл до тех пор, пока, оглянувшись, не увидел, что поплавки слились с линией берега, впечатались редкими бусинками в его тонкую ровную кромку.

Это тоже входило в программу. Этим "взглядом извне" я как бы уничтожал унизившее меня пространство, как бы сводил к нулю ту злосчастную дистанцию, которая год назад показалась мне огромной.

Теперь я мог вернуться обратно. Я поплыл легким спокойным брассом, и на душе у меня было спокойно — восторга я не испытывал, но было мне хорошо. И только выбравшись на берег, стоя у раскрытого чемодана и вытираясь длинным махровым полотенцем — я обнаружил вопиющую пустоту на месте того, что должно было быть сегодня главным. Главным-то должно было быть чудо!

Слишком долго я готовил его, слишком точно знал, как оно выглядит. Я использовал слишком естественные свойства предметов и сред. Да иначе и быть не могло. Чудеса — привилегия Бога, нам остаются только закономерности. Грустно, но это так...

8

Вот я, кстати или некстати, забежал немного вперед — и уже не очень-то хочется возвращаться обратно.

Всякий, сколь угодно точный рассказ есть всегда лишь вольная вариация, одна из вариаций на тему события, из многих, одинаково достоверных. Но рассказ о детстве — случай особый, это вариация на тему вариации, это перевод с другого языка, где у нас есть некоторый запас слов, но где мы не знаем ни одной идиомы и вынуждены переводить буквально или выдумывать из головы.

И поэтому, когда читаешь книгу, где прослеживается вся жизнь героя, и переходишь от главы "Детство" к главе "Юность" — неизменно испытываешь облегчение, как будто из комнаты, где собрались одни иностранцы, перешел в другую, к соотечественникам. Открыл дверь, закрыл дверь, перелистнул страницу — и не надо уже ломать голову над взаимосвязью слов и событий, не надо метаться от одной шкалы ценностей к другой, а раскрой уши, набери в легкие воздух — и как думаешь, так и говори, как слышишь, так и понимай.

Но что поделать, если всю свою жизнь мы только и раскручиваем ту пружинку, что была заведена когда-то в детстве, — раскручиваем пружину, разматываем клубок, разворачиваем свиток...

Мы и не помнили, что там было написано, и язык почти что забыли, но вот отвернули немного, на одну строчку, разобрали, прочли — и отшатнулись в суеверном ужасе: не может быть! Не может быть, чтобы уже тогда!..

И вот время, все замедляя и замедляя свой ход, переполняет, все же, на последнюю неделю, завтрак, обед, полдник, ужин, завтрак, обед, полдник, ужин, остается три дня. Закрытие лагеря, звезда из хвороста на опушке леса, я, конечно, читаю стихи, "и послал солдат немецких против всех людей советских...", Самойлов и Лосев подставляют колени Эдику, двое других ребят тянут их за локти в стороны — шаткая пирамида под бурные аплодисменты всего лагеря, пятый отряд танцует яблочко, девочка из третьего — украинский танец. В заключение мы все хором поем "это чей там..." Кусаются комары, так поздно мы еще никогда не засиживались. "Ты всегда пионерским салютом солнце родины встречай!" Все. "Не разбегаться, не разбегаться, строим, строим! Никуда не убегать, прямо в спальни! Приду — всех проверю!.."

Все. Уже скоро. Я иду один, плевать я хотел на строй, все равно ничего не видно. Скоро уже. Я уеду на день раньше срока, в воскресенье, за мной должна приехать мама. Возьму чемодан из кладовой, печенье из тумбочки, ни на кого не посмотрю, ни с кем не... А-а-а!.. Сильный удар в скулу сбивает

меня с ног. Я лечу куда-то вбок, там получаю кулаком под ребро, снова падаю, меня подхватывают и цепко хватают за руки.

Господи, за что, ну за что?! Лицо Самойлова, прекраснейшее из лиц, выплывает из тьмы и надвигается на меня вплотную.

— Что, сука, думал, так и умогаешь, улизнешь от меня? Думал, я, блядь, с тобой не рассчитаюсь? У-у, е-э-эврейская морда!

Потными пальцами он выкручивает мне нос, потом брезгливо вытирает пальцы о мое же лицо.

— Ну и противные эти жида, — говорит он, немного отходя, и вдруг мерзкий его плевок шлепается мне на щеку и начинает медленно стекать к подбородку.

— На, утрись, — произносит справа от меня голос звонкого Симоненки, и правую руку мою отпускают. Я утираюсь, чувствуя, что и на левой руке хватка ослабла.

— Ну, кто еще хочет? — спрашивает Самойлов. — Давай, ребя, рассчитывайся, сегодня последний случай. Да не трухайте, он не скажет, знает, что ему тогда будет...

— Зна-а-ет, — тянет вслед Симоненко, и тут я делаю рывок и бегу вправо и назад, в сторону, противоположную той, откуда слышен голос Самойлова. Бежать, конечно, глупо, кругом "наши", но кто-то, на кого я сразу же натыкаюсь и кто мог бы легко меня задержать, — не делает этого и даже немного посторанивается, давая мне проход, и я бегу, подывая и истекая кровавыми соплями...

Ночью я почти не сплю, но меня уже не трогают — решили, наверное, что с меня достаточно. Так или иначе, но я не попадаю в число вымазанных пастой и гуталином, замотанных в одеяло и выкинутых на улицу, омытых мочей и обожженных "велосипедиком"...

С утра я хожу по всей территории и колдую: "Хоть бы приехала, хоть бы приехала, хоть бы приехала, хоть бы приехала..." Колдовство удается. И вот я уже иду по лесной тропинке за территорией, не строю, я не боюсь никого на

свете, я визгливо рассказываю небылицы, и моя прекрасная мама несет мой уродливый чемодан.

Глава вторая

1

Уже в Москве, в провинциальной суете Комсомольской площади, я замечаю, наконец, что моя мама, и вообще-то не отличающаяся особой внимательностью, сегодня рассеяна, как никогда. Мы идем мимо входа в метро, я тяну ее за руку, но она проходит дальше, в зеленом платье с большими белыми цветами, окриков моих не слыша, а слушая лишь свои, всегда абсолютно серьезные, неизменно важные, несравнимо значительные — взрослые мысли... Так понемногу, замедленные чемоданом и моим дурацким сопротивлением, мы проходим под аркой путепровода и выходим к остановке трамвая, и тут только меня осеняет, что мама не ошиблась, что она знает, куда идет.

— Мы что, не домой поедем?

— Нет, — отвечает мама таким высоким, таким ужасно обычным голосом. — Нет, не домой. — Голос ее каким-то странным курбетом переходит в праздничный регистр, на такое же удаление, но уже по другую сторону от действительно о б ы ч н о й интонации. — Мы поедем! Стобой! К дяде! Яше!

"К какому такому дяде Яше?! Что еще за дядя такой выискался? Нет у меня такого дяди. Тебе нужно, ты и езжай, а я — домой!.."

Нет, не надо волноваться, я не был способен на такую бестактность. Я что-то коротко промычал, что-то как бы пропел в ответ — молчать мне тоже не полагалось, это бы нарушило гармонию — и мы сели на трамвай и поехали к дяде Яше.

Мы сошли с трамвая в незнакомом мне месте, на большой людной улице, у ворот рынка. Красноватые помидорные лужи вытекали из ворот на широкую булыжную мостовую. Мы перешли на другую сторону, там была еще поперечная улочка,

тоже булыжная, грязная, и дома на ней были соответствующие, деревянные, серые, большие, в два этажа. Мы вошли в один такой дом, прошли по длиннейшему вонючему коридору с шеренгой дверей и помойных ведер, мы шли и шли, вонь нарастала по мере нашего продвижения, и я сразу же вспомнил шестой барак и словно бы почувствовал босыми ногами мерзкую жижу на цементном полу...

В самом конце, в каком-то полутемном вонючем закоулке, рядом с вонючей уборной, мы, наконец, остановились возле одной из вонючих дверей, и мама постучала.

Мы оказались внутри — я еще не понял, внутри чего, — но прежде всего почувствовал облегчение, потому что вонь явно исчезла или, по крайней мере, стала намного слабее; примешались другие запахи, тоже не Бог весть какие приятные, но это уже было вполне терпимо; затем с некоторым опозданием я услышал странный гнусавый голос, издававший нечто вроде подвывания с прихихикиванием. "Э-э-э-э, хе-хе-хе! Э-э-э-э, хе-хе-хе!" И только потом уже, постепенно обретая зрение, я увидел бордовые доски крашеного пола, тяжелую толстую ножку - скорее ногу или даже ножищу — стола, коричневую бахрому скатерти, сам стол, огромный, круглый, покрытый этой скатертью, и, наконец, встающего из-за стола человека.

Человек был невысок, сутул, лысоват, крючковат, короткая шея, маленькая головка, узкий лоб, слишком узкий даже для такой маленькой головы, черные мохнатые брови и крохотные свиные глазки, с кроваво-желтыми мутными белками. Кожа на лице его была розоватая, багрово-красные прожилки, точки и черточки покрывали его выпуклые сдвинутые друг к другу щеки и крылья резкого изогнутого носа.

— Э-э-э-э, хе-хе, — тянул он и хихикал, — приехали? А-а-а? Приехали? Приехали, приехали... Ну-у? Хе-хе... Хе-хе... Ну-у, драствуйте, драствуйте... хе-хе...

Я пожал волосатую ладонь с короткими, толстыми, крепкими пальцами, немного потоптался на месте и сел на диван, покрытый жестким тяжелым ковром. Мама тоже села рядом

со мной и стала что-то говорить про электрички, расписание, жару, про то, как много народу в транспорте.

Дядя Яша, сидя за столом на прежнем своем месте, демонстративно, всем корпусом, повернулся, наклонился, направился в мою сторону, мне улыбнулся и со мной заговорил.

Я увидел в непосредственной близости от себя его мелкие мышинные зубы, совершенно коричневые, но целые, ровные и острые. Рот его, явно не привыкший улыбаться, был вытянут в кривую, напряженную щель. Во время пауз он как-то странно двигал нижней губой, взад-вперед, взад-вперед, как бы обдувая ее выходящим воздухом.

— Ну-у? — гнусавил он, глядя куда-то вбок, мимо меня. — Ну-у? Как ты отдыхал как? Хорошо отдыхал? А-а-а? Хорошо? А-а-а? В лагере хорошо было в лагере? А-а-а? Хорошо! Хе-хе... Ягоды ты собирал ягоды? Сбирал. А клубничке ты любишь клубничке?* Сейчас, дадим тебе клубничке сейчас. Сейчас, сейча-а-с... сейчас-сейча-ас...

Он встал, отпустил уставшие свои губы и, слегка враскачку, затрусил в другую комнату — оказалось, есть еще одна комната, — напевая все тем же гнусавым голосом (другого у него, впрочем, не было): сейчас, сейчас, клубни-ичке, клубни-ичке, сейчас, сейча-а-ас...

Пока он уходил, моя мама успела прижать меня к себе, обнять, поцеловать и погладить по головке.

Он вернулся с тарелкой клубники и банкой сметаны, он цепко держал короткими своими пальцами эти немыслимые сокровища и мурлыкал все те же два слова, две ноты, "сейчас" и "клубничке", а я смотрел и смотрел и никак не мог поверить, что эти ягоды — настоящие, что они могут когда-нибудь отделиться от тарелки, где так уютно и удобно лежат, и попасть кому-нибудь в рот — не мне даже, а вообще кому-нибудь... У меня даже слюна не текла. Не могу сказать, что я не часто ел клубнику, — я попросту не ел ее никогда.

Скатерть была отвернута, на открывшуюся желтую клеенку поставлено маленькое блюдечко. Несколько ягод, с десяти-

* Эти еврейские повторы произносятся слитно со всей предыдущей фразой, без малейшего намека на паузу.

ток, наверное, были по одной переложены из тарелки. Он делал это ложечкой, помогая себе рукой, и после каждой ягоды облизывал палец, далеко высовывая язык. "Клубничке, клубничке", — ворковал он, радостно пританцовывая, и когда перемешивал ягоды со сметаной, кривил губы от напряженного усердия. — О! Немножечко сахарок немножечко, о так! О! Кушай, кушай...

Я еще успел мельком взглянуть на маму, лицо ее было напряжено. Бедная, она ведь тоже никогда не ела клубники, разве что еще до войны, сто лет назад... Что-то похожее на совесть шевельнулось во мне и тотчас затихло. Я ничего не мог для нее сделать, я уже не владел собой...

Я ел клубнику, аккуратно вставляя ложку между двумя ягодами, стараясь не повредить, не помять, осторожно поддевая одну из них, медленно нес ко рту и долго перекачивал, обсасывая и смаковал, почти до самого конца ощущая волнующую границу между кисловато-холодной сметаной и ароматным, плотным, сопротивляющимся мясом ягоды. Это было какое-то немыслимое наслаждение, ничего общего не имеющее с едой — так, как я привык ее понимать. Я был один на один со своим сказочным блюдом — мама отсела к нему. У них шел скучный разговор о каких-то шкафах и буфетах, но когда у меня остались только две, самые крупные, прибереженные напоследок, и я смог более или менее справедливо распределить свое восприятие между вкусом и слухом, я вдруг о один момент с необыкновенной остротой осознал все, что говорилось сейчас и раньше, и я понял, что жизнь моя — как я понимал тогда свою жизнь — кончилась.

— Он? — переспросил дядя Яша, косо мотнув головой в мою сторону, как бы боднув воображаемое препятствие. — Он? Он будет на диване. А что? Плохо на диване?.. Хорошо!

2

Мы переехали не сразу, месяца два он еще ходил к нам домой, каждый раз принося пакетик карамели и свои хлебные карточки. Из этих карточек мама вырезала талоны и с

этим чужими талонами посылала меня в магазин, где все меня знали и не могли заподозрить в обмане. Я нес черную тяжелую буханку и никогда не съедал по дороге довесок: знал, что мне наверняка разрешат это сделать, но предпочитал дожидаться разрешения.

Они садились за стол, накрытый белой парадной скатертью, — он, мама и все наше остальное семейство, — пили чай с карамельками и вели чинные разговоры, наполовину по-еврейски, наполовину по-русски, причем его медлительные корявые фразы с полувопросительными интонациями, повторами в конце и в начале, с многозначительным движением одной из косматых бровей и поминутным обдуванием нижней губы — его фразы воспринимались всеми с особенным вниманием и плебейским заискивающим уважением.

— Ви знаете, — обращался он к моему дяде, — почему они делают девальвация? Почему девальвация почему?

— Да! — отрывисто реагировал дядя. — Ну?! — и почти ложился на стол, выражая абсолютный, безраздельный, благодарный интерес.

— А я вам скажу. — Он откусывал карамельку, облизывал большой и указательный пальцы, отпивал чай из чашки и ставил ее на блюдце. — Я вам скажу... Я вам скажу, зачем. Потому что деньги перестали что-нибудь стоить. Ничего не стоят эти деньги! — выкрикнул он с пафосом. — Ви понимаете? Г у р н ы ш т ! * — и крепко хлопал по столу своей короткой округлой рукой и с торжеством откидывался на спинку стула.

— Г у р н ы ш т ! — радостно повторяла мама, как бы вынося это замечательно важное слово на авансцену, на всеобщее умиленное рассмотрение.

— Г у р н ы ш т ! — вслед за ней повторял дядя, расслаблялся и согласно кивал головой...

Если речь случайно заходила обо мне — не для обсуждения чего-либо, но в порядке вежливого перебора всех возможных тем — и ему тоже приходилось произносить какие-нибудь

* Ничего /идиш/.

незначащие слова, то на лице его неизменно появлялась одна и та же кривая натянутая улыбка, должная, по-видимому, изображать ненавязчивую доброту и терпеливую снисходительность к столь мелкой и легкомысленной теме. Эту его улыбку и эти его слова мама также всячески подчеркивала и обставляла, окружала заботой и вниманием, украшала цветочками и виньетками...

Долго еще после его ухода все оставались на своих местах, обсуждая и делясь впечатлениями. Вообще-то говоря, у нас в доме было не принято вслух обсуждать по-настоящему важные вопросы, вся наша подлинная жизнь была покрыта гладкой оболочкой само-собой-разумеющести, и все потрясения войны только укрепили эту оболочку, выдвинув для нее такое оправдание, как вконец измотанные нервы и необходимость бережного отношения друг к другу.

Вот и теперь обо всем этом говорилось как о деле, давно решенном, под вопросом оказались лишь некоторые незначительные подробности.

Из этих бережных, не прямых разговоров я узнал, что у него очень много денег, и впервые в своей жизни услышал слово "скупой". Раньше ему неоткуда было взяться в нашем доме, теперь же оно произносилось довольно часто, каждый раз с неизменными оговорками и противопоставлениями. "Скупой, но честный. Скупой, но не злой. Скупой, но деловой. Скупой, но порядочный. Скупой, но умный. Скупой, но..."

— ...И к мальчику хорошо относится, — сказал дядя, любивший меня как родного сына, и все поспешно с ним согласился.

Перед самым нашим переездом со мной случилась истерика. Я сидел в комнате вместе со всеми, слушал обычные мирные разговоры и после очередного "скупой, но..." вдруг снова, во второй уже раз, но с еще большей силой, чем в то злосчастное клубничное воскресенье, почувствовал, как жизнь моя обрывается в пустоту. Стены комнаты закачались

у меня перед глазами, меня стало подташнивать и знобить. Мама же, в этот как раз момент, начала рассказывать со смущенной улыбкой, как они с ним были на "Риголетто" и как он заснул и стал громко храпеть, и ей пришлось его разбудить, и они ушли со второго акта, хотя она так давно нигде не была, так мечтала послушать Алексея Иванова...

Дядя с тетей просто отмахнулись." что ты хочешь, человек устал, подумаешь, есть о чем говорить, но тут уже я, весь перекошенный, со сведенными в судороге плечами, бросился к ней в ноги и стал выть в голос, сразу забыв все на свете слова, не умея произнести ни одного...

Меня долго и мучительно рвало, и когда потом, отмоченный полотенцем и отпоенный чаем, я лежал на кровати, и моя мама сидела рядом со мной и целовала меня и гладила, и я снова вспомнил человеческий язык, — я лежал тогда и повторял почти непрерывно, оставляя лишь небольшие паузы для отдыха: "Ну, не надо, ну, не надо, ну мама, ну, не надо..."

— Да, да, — говорила мама, — успокойся, все будет хорошо...

3

Я очень скоро привык к огромному безалаберному дому, где в разных комнатах, в многочисленных семьях жизнь текла, по различному распорядку, и потому в среднем дом всегда жил, всегда дышал, ежеминутно шевелился и всячески себя проявлял, и, значит, никогда здесь не было скучно, а всегда находилось, что послушать и на что посмотреть. Я привык даже к постоянной вонии бесконечного коридора и не чувствовал ее, если она не превышала нормального уровня. Мне нравилась огромная кухня с закопченным, запаятым потолком, тесная, несмотря на свои размеры, отснующих взад-вперед бабьих тел в засаленных халатах и сарафанах, звенящая надрывными их голосами, гудящая и стреляющая примусами и керогазами. Здесь жили, что называется, "простые люди", типичные московские рабочие, все были выходцами из деревень, половина — родственники. Все они,

за исключением самых молодых, были полны воспоминаниями крестьянского прошлого, разными лесными и полевыми историями, которые могли рассказывать до бесконечности, размеренно окая и смягчая окончания.

Поздно вечером примуса отставлялись в сторону, столы вымывались и вытирались насухо, все рассаживались — кто на стул, кто на стол — и наступал праздник...

...Женщины возбуждены, говорят напряженно-веселыми голосами, перекидываются испытанными шуточками.

— Ну, кто кричать будет? Ты, Маруся? Давай, кричи, у тебя голос громкий, вон, на мужика своево как гаркнула, так теперь и ходит глухой...

Все смеются, всем весело...

Мордастая хриплоголосая тетя Маруся пускает по столам карточки с цифрами, развязывает тесемку коричневого мешочка, ворошит его содержимое крупной, сильной рукой. Общий переполох, кто-то бежит за очками, кто-то — за семечками, кто-то — за деньгами. "Не начинай, не начинай, я сейчас, сейчас!..."

Играем в лото.

Я сижу рядом с мамой на табуретке за нашим столиком, мне тоже выдали карточку, хриплые Марусины числа косо падают на нее и отскакивают, не задерживаясь; эх, хорошо бы выиграть, но и так тоже неплохо. Я с большим удовольствием слушаю, как в краткие промежутки между выкриками успевают проскочить давно и на всякий случай заготовленные частушки, пословицы, присказки, какие-то сложные завитушки и загадулины, не имеющие, может быть, смысла, но несущие в себе загадочное и странное песенное обаяние. Пройдет еще много времени, прежде чем появится телевизор, появится, чтобы всосать в свою серую пасть весь вечерний остаток внимания, чтобы вконец раскрепостить усталого человека, избавив его от тяжелого бремени диалога, от необходимости, от неизбежности авторства. Тогда-то и придет конец фольклору. Но до этого еще далеко.

Я готов сидеть так до бесконечности, но наступает время

идти спать, бодрые счастливыцы сгребая в ладонь медные кучки, проигравшие устало разбредаются по комнатам.

— Сам-то твой небось чаю не дождется! — говорит маме тетя Надя, старая дева с плохо выбритым подбородком.

— Сам-то? Да, небось... — отвечает мама, подделываясь под их манеру.

Мы разжигаем примус, кипятим чай и идем домой.

"Сам" — ждет-не дождется. Он сидит за столом на диване. Умеренное его брюшко выгибает внутрь желто-коричневую тяжелую скатерть, округлые ступни в носках и шлепанцах скрещены под столом, колени в засаленных штанах широко раздвинуты, руки лежат на столе, голова — на руках. Он спит, похрапывая.

Мама трогает его за плечо. Начинается ежевечерняя игра.

— Что такое что? — бормочет он, открыв один глаз и обдувая нижнюю губу. — Я вздремнул немножко? А-а-а? Г е х о п т а д р и м л?* А-а-а? Не-е-т, я не спал. Не-е-т, я не спал. Я немножко задумался, я не спал...

— Ты слышишь? — говорит мама, обращаясь ко мне. — Он не спал! Ты слышишь? Дядя Яша говорит, что он не спал! — Это она призывает меня к контакту с ним, к участию в мирном, уютном, семейном весельи. — Нет, нет, ты не спал, кто говорит! Ты не спал, ты только дремал. — Невообразимое веселье звучит в ее голосе. Ей смешно, ей очень смешно, но все же недостаточно смешно, чтобы смеяться...

Мы садимся пить чай.

— Ну как, — спрашивает он, причмокивая, — сегодня ты разбогатела сегодня?

Это не упрек, это шутка.

— Да-а-а! — отвечает она. — На газированную водичку набралось.

— Ну! — Он криво улыбается, — так тебе не надо заработок не надо. Я уже могу не давать тебе деньги.

Это не упрек, это шутка.

— Да, конечно, зачем мне деньги! — говорит мама опере-

* Прихватил немного сна.

точным голосом, и ей опять не хватает веселья, чтобы засмеяться.

Я пью вприкуску, я захлебываюсь, — я очень тороплюсь, я хочу, чтобы все это поскорее кончилось.

— Не знаю, — произносит он вдруг, как бы отвечая собственным мыслям, — не знаю... Как так можно? Ты говоришь, культурэ, ты говоришь, воспитания... Не знаю...

Он обращается вроде бы к маме, но взгляд его направлен мимо нее, красные свинячьи его глазки скошены вниз и вбок, он обдувает губу и водит рукой по столу, как бы перекатывая невидимые крошки.

— Что? Что такое? О чем ты говоришь? — вскидывается мама.

— Не знаю... Где тут культурэ, где тут воспитания?... Он думает, что так принято в обществе! Он думает! Он знает больше всех!

— Скажи же, в чем дело? — волнуется мама. Она расстроена. Опять эти острые углы — ну зачем, ну зачем?..

— Не знаю... Все пьют чай, как люди, никто не хрумкает никто, он один должен хрумкать!

Я весь подбираюсь. У меня деревянеет рот, начинают дрожать руки.

— Перестань, — говорит мама мягко. — Он же не нарочно.

— Ты говоришь! Вчера не нарочно, позавчера не нарочно, сегодня не нарочно! Что ты говоришь что? Он думает, что я идиот! Он думает, что он умнее всех! Он делает назло и он думает, что он умнее всех!

— Ну ладно, — просит мама, — перестань. Не будем говорить об этом.

— А что? — продолжает он, не слушая. — Что ему плохо? Поцелуй, поцелуй его, погладь его по головкэ, дай ему пятерочке на кино, он будет получать удовольствие, а я буду подставлять голову, чтобы он получал удовольствие. Спасибо? Спасибо от него не услышишь спасибо. Он может только тратить деньги и делать назло!

Мама в отчаянии. Все пропало, сегодня, по крайней мере, уже ничего загладить не удастся.

Я молча выхожу из комнаты, долго стою в уборной, опершись на закрытую дверь. Мне хочется плакать, мне хочется блевать, мне хочется бежать, мне хочется убить...

Когда я возвращаюсь, он сидит, уже отвернувшись от стола, и тут же, за столом, раздевается. Он снимает брюки, аккуратно стягивает их за концы брючин, ровненько складывает друг с другом протертые бахромчатые манжеты, неторопливо и любовно вешает сзади себя на спинку стула. Трикотажные кальсоны вялыми лиловыми складками лежат у него под животом.

Затем он поднимает правую ногу, кладет ее на колено левой и начинает снимать носок: он тянет двумя руками, одной за мысок, другой за пятку, без тени брезгливости, держа всеми пальцами, неторопливо и деловито. Сняв носок, он поднимает его прямо перед собой, встряхивает и вешает на перекладину стула. Затем, не снимая ноги, начинает вычищать между пальцами...

Я пристально слежу за всеми его движениями, я дорожу каждой мелочью, каждым штрихом его облика, каждой подробностью, питающей мою ненависть.

Ступни у него короткие, закругленные, с высоким подъемом — тридцать восьмой размер — он очень гордится, что покупает дешевую детскую обувь. Указательным пальцем правой руки он водит между пальцами ног, подносит добытое к глазам, близоруко рассматривает, растирает в пальцах, сыпает на пол...

В баню он ходит раз в два месяца, но каждую неделю надевает на грязное тело чистое белье.

Вот он встает, направляясь в "спальню", лиловый мешок растянутого трикотажа повисает у него между ног, он идет, волоча шлепанцы и переваливаясь с ноги на ногу, и мурлычет себе под нос какую-то тихую, странную, безмелодийную тяготину.

В дверях он останавливается и начинает чесаться о косяк, приседая и вращая всем телом — фантастическое зрелище, потому что при этом он продолжает мурлыкать с некоторым

уже сладострастным стенанием, и обдувает губу, и сосредоточенно и прямо смотрит перед собой.

Наконец дверь закрывается, я слышу скрип кровати, и мне кажется, слышу в этом скрипе неминуемое отвращение, с которым многострадальная железная сетка должна принимать в свое лоно это кособокое вонючее тело...

"Спокойной ночи", — говорит мне мама, целует меня и уходит туда же.

Спокойной ночи. Но не спите с дядей!.. — Нет, это так хотелось бы. "Гамлета" я тогда еще не читал.

4

По утрам возле самой нашей двери выстраивается длинная очередь. То есть, конечно, никакого строя тут нет, очередь образуется, составляется из разбросанных там и сям вдоль стен и закоулков коридора одиноких жильцов и небольших групп с полотенцами и мыльницами. Две уборные и два умывальника на восемнадцать семей. Шуточки, прибауточки, новости, разные разности... Здесь никто никого не стесняется, здесь все про всех известно. Про всех, кроме нас...

Вот, переминаясь с ноги на ногу, ждет своей очереди Валька Пирогова, заспанная, помятая, взъерошенная, с коротким шрамом на костлявой руке. Какой-то ухажер полоснул из ревности. Напротив нее, прямо по диагонали, рядом со своей красивой высокой женой стоит, опираясь локтем о стенку, Вовка Лукьянов. Это пьяница, плясун и музыкант, с гитарой он почти никогда не расстается, и только потом, через много лет, я понял, как хорошо он играл. Верхняя его челюсть выдается вперед, вся вылезает из-под губы и сверкает вставными зубами разного цвета: все свои ему выбили в драках.

— Ну, как? — спрашивает он Вальку. — Ничего, а? — и громко хохочет, широко открывая всю свою металлическую мозаику.

— Да ну!.. — машет рукой Валька.

— Что ж так? — кричит Вовка и снова хохочет. — Не пошло, а?

— Перестань, дурак сумасшедший, — лениво реагирует его жена.

— Да ну! — говорит Валька. — Что ты, мать мою что ли, не знаешь?

— А че мать-то? — Вовка опять хохочет. (И как только его хватает на столько?)

— Ну как чего? Пришел он вчера ко мне прям после работы — да ты видел, — пришел и говорит: к Машке, говорит, больше ходить не буду, буду, говорит, жить с тобой. И все. Ну, бутылка у меня припасена была, посидели чин-чинарем, стали спать ложиться...

Теперь уже слушают все присутствующие. Вальку это радует, она рассказывает с удовольствием.

— Стали спать ложиться. Только я свет погасила — тут мать, вроде бы и спала уже давно, а тут как начнет очереди выдавать! Ну, и вся любовь...

Вовка грохочет, блестит зубами, бьет чечетку и хлопает себя по ляжкам. Те, кто уже умылся, уходят с явным сожалением, оборачиваясь и пятясь...

Однажды вечером этот самый Вовка принес домой большой грязный мешок с какими-то острыми обломками и, не заходя домой, прошел прямо на кухню. Он был очень возбужден, хотя, кажется, как это ни странно, — трезв. Я слонялся без дела в коридоре и сразу почувствовал интересное.

— Вот, Сашок, — сказал он, обнимая меня за плечи, — знаешь, что в этом мешке?

—Что?

— Гитара! Понял? Самая лучшая из всех гитар!

И он стал осторожно вынимать из мешка различной формы куски дерева, в которых с большим трудом можно было узнать музыкальные части.

— Знаешь, сколько я дал за эти щепки? Ну, да ладно, х... с ним, не в этом дело. Я ее склею, понял? Эта гитара всех наших стоит вместе взятых, понял? Сделал ее австрийский мастер, еврей Циммерман, а сломал ее один наш русский мудака...

Ну, х... с ним, не в этом дело. Циммерман! Так и называется — циммермановская гитара — лучшая в мире! Ей, блядь, цены нет, понял? Вот так!

Гитару он клеил месяца два, я уж и следить устал за его работой, подчас не замечая никакой разницы между сегодняшним ее видом и вчерашним. Вовка мог часами легонько водить надфилом по серебрянным ладам, что-то еле заметно подчищая и подпиливая, и казалось, он уже отчаялся довести дело до конца и теперь только так, создает видимость.

Но в одно из воскресений он вышел в коридор с совершенно готовой гитарой — как-то сразу стало известно всем, что она готова.

Стали собираться слушатели. Он стоял у своей двери, в голубой майке и флотских широких брюках, в тапочках на босу ногу, огромные его руки с татуировкой ползли и стелились вдоль этой блестящей, лаковой, серебром разлинованной штуки — здесь, в задымленном, полутемном коридоре с сопливыми потеками вдоль стен, были все условия, чтоб оттенить и подчеркнуть по контрасту ее небывалую красоту.

Он взял несколько аккордов — звук был, действительно, что надо, никогда уже больше я не слышал такого звука, — потом вдруг оборвал на полужразе, сказал: "Не, блядь, не могу...", громыхнул металлическим хохотом и ушел домой.

Потом он долго играл у себя в комнате, я сидел и слушал через стену — наши комнаты были соседними. Никогда я не слышал такой гитары и никогда — ни до, ни после — не слушал такой игры.

Странная вещь — у него совершенно отсутствовал певческий слух, он это знал и слова песен и романсов не пел, а, как стихи, приговаривал. Но играл при этом удивительно тонко и музыкально.

В этот вечер он ушел и больше уже не возвращался. О нем рассказывали всякие забавные истории, говорили, что кто-то из блатных его друзей хотел отнять у него гитару и он изувечил этого человека и сам получил рану в живот. Он сидел в тюрьме — это было точно известно. Года через три он вернулся — худой, страшный, обритый, глядел зло и непрямо и

больше не хохотал. Он напился до беспамятства, страшно избил жену и ушел рано утром — теперь уже навсегда. Опять вышла история с гитарой, нечто совсем уже сентиментальное: рассказывали, будто бы шел он по улице, увидел в окне полуподвала гитару, вошел не думая и снял со стены. Так и попался.

5

В конце декабря появилась у меня мечта: новогодняя елка. Зачем она была мне нужна? Зачем нужна елка — не праздник елки, а именно сама елка, зеленое дерево с украшениями — одиннадцатилетнему парню, не такому маленькому, чтобы верить в чудеса, не такому взрослому, чтобы верить в символы? Я могу задаваться этим вопросом до бесконечности, о т с ю - д а мне все равно не понять.

Вот я стираю с лица морщины, разглаживаю у рта скептическую складку, смываю со лба печать тупого всезнайства. Я немного распрямляю спину — не до конца, сутулился я и в детстве, — я снимаю с сердца тяжкий камень стыда и вины — тяжесть его неотвратимо растет с каждым годом, и если когда-нибудь найдется такой анатом, который возьмет и разрежет его пополам, то на срезе, я знаю, будут толстые кольца, как у буйного, стремительно росшего дерева. Я снимаю с души этот камень и осторожно кладу его на стол, вот сюда, рядом с машинкой. Пусть полежит, я не надолго. Я прохаживаюсь взад и вперед легкой походкой беззаботного человека, нет, озабоченного, но с в о е й заботой, заботой о с е б е. О, этот детский эгоцентризм, такой простительный, такой умильный, такой упоительный! Ну, а взрослому что, уже нельзя? "Себе, любимому?.." Можно и взрослому, это как повернешь...

Я прохаживаюсь взад-вперед напряженно-легкой беззаботно-озабоченной походкой, вынимаю из кармана тяжелый двухбородчатый ключ от сейфа, вставляю, поворачиваю и вхожу. Нет, не в сейф, в комнату: это у нас такой замок, чтоб трудно было подделать.

Ну, что? Ничего, все то же. Сырость. Запах старого, прокисшего пота. Круглый стол, желтая скатерть, складками и угла-

ми. Огромный душный ковер, спускающийся со стены, покрывающий диван, лениво и приблизительно повторяющий извивы спинки и валиков.

Прямые стулья с клеенчатой обивкой, пятнистые, облезлые, холодные. Высокий буфет никакого дерева, со сломанными латунными ручками. Шаткая точеная этажерка с моими и мамиными книгами. На этажерке — приемник, темный, овальный, глазастый, узколобый. Двустворчатая, масляной белой краской крашенная дверь во вторую комнату. Что там? Все то же. Обшарпанный, кустарной работы кухонный шкафчик, с фарфоровым роликом вместо ручки. Кастрюли, банки, чашки. Напротив — нечто вроде туалетного столика, с трельяжем, духами и пудрами. Дальше у одной стены — шкаф, где под бельем хранятся продолговатые оберегательные книжки на предъявителя, у другой стены — кровать, огромная, железная, холодная, с панцирной сеткой, колесами и круглыми шишками. Под кроватью, в числе прочего барахла, лежат два чемодана с облигациями и стоит зеленый ночной горшок с крышкой. Уборная у нас под самым носом, но мой осторожный отчим не любит ночью отпирать дверь. Часто уже под утро я слышу сначала пронзительный и резкий, а затем все понижающийся звон струи, бьющей об эмалированное дно, звон этот постепенно переходит в бульканье и бурление, затем, несколько раз прервавшись, окончательно умолкает. Все это сопровождается громким сопением, оханьем, кряхтеньем и поставыванием, каким-то обрывочным бормотом и умиленным сюсюканьем.

Долго после этого я не могу заснуть от омерзения, я лежу, оцепенев на своем душном диване, и жесткая щетина ковра впивается мне в тело.

Утром я вижу, как моя мама выносит этот проклятый горшок, несет его за скользкое неудобное ухо, придерживая другой рукой за краешек, я не могу на это смотреть, я отворачиваюсь к стене, но, отвернувшись, вижу еще острее и определенней, и стискиваю зубы, с трудом удерживая подступающий приступ тошноты...

Зачем же здесь елка? Да вот затем и елка, разве не ясно, зачем?

Я пытаюсь разыграть тогдашнее свое состояние и, конечно же, только лишний раз убеждаюсь в невозможности чистого эксперимента, в неизбежности привнесения. "Меня угнетала серость и будничность, говорю я себе, я жаждал разнообразия и праздника". И тотчас же сам себя одергиваю. Я ведь знаю, я предупрежден: не могут быть мои тогдашние чувства тождественны сегодняшним. А ведь это именно сегодня угнетает серость и будничность, именно сегодня я жажду... нет, пожалуй и не жажду. Для меня — сегодняшнего — это уж слишком сильно сказано. Так, может быть, в этом как раз и разница?..

— Мам, давай поставим елку?

— Елку? Куда? У нас же места нет.

— Ну, найдем: уберем, отодвинем, переставим, как раз угол освободится.

— Не знаю... Я не могу сама... Надо посоветоваться с дядей Яшей.

— Посоветуйся!

— Знаешь? Попроси его сам...

— Я-а-а?!

— Да, да. И ничего тут такого. Он, что, чужой тебе человек? Надо быть поласковее, и тебе будет лучше. Ты никогда к нему не обращаешься, вот он и обижается на тебя. Он придет с работы, подойди и скажи: "Дядя Яша, можно мне поставить елочку?"

— Дядя Яша, — говорю я мокрым, пупырчатым голосом.

Он останавливается. Я поймал его в самый неудобный момент. Я стоял посреди комнаты, а он двигался вдоль, и пока он шел прямо на меня и был обращен ко мне лицом, я все никак не мог решиться, а потом, когда он уже прошел мимо, вдруг окликнул его, неожиданно для самого себя и оттого тихо и невнятно. Но он услышал. Для него это был уже совершеннейший сюрприз, ни разу еще я с ним не заговаривал. Он остановился почти мгновенно, тяжело и резко споткнувшись ногой в шлепанце, настороженно повернул одну только голову, из-за плеча, исподлобья, вбок и вниз уставил свинячьи свои глазки. Пожалуй, он был немного растерян.

— Что? Что такое? — пробормотал он так же невнятно, как я его окликнул: "шэ? шэтэке?"

— Дядя Яша, — продолжил я в том же регистре, выделяя из себя эти чуждые мне слова, как мочу, как слизь, ни секунды не сопровождая их в их движении по воздуху, к его маленьким круглым ушам, заросшим седыми волосами. — Можно мне поставить елочку?..

Через много лет, "в часы томительного бденья" припоминая постыднейшие куски своей жизни, я с особым сладострастием буду произносить эту "елочку", этот жалкий уменьшительный суффикс, уже тогда совершенно мне не свойственный.

— Елочке? — обрадовался он. — Где же мы поставим елочке где?

Мы стали ходить с ним по двум нашим комнатам, мы озирались по сторонам, как бы впервые увидев все это убогое барахло, мы измеряли растопыренными пальцами и прикидывали в уме, мы соревновались во взаимной предупредительности, мы почти любили друг друга...

Это можно было бы объяснить красиво. Значит, так. Пожилой уже человек — не то чтобы добрый, но и не Бог весть какой злой — женится на молодой сравнительно женщине с маленьким сыном. Человек этот давно не общался с детьми, очерствел и огрубел в одинокой своей неприкаянной жизни и, несмотря на нежную любовь к жене, так и не смог найти контакта с ребенком. /Похоже, не правда ли?/ Дальше. В свою очередь, мальчик, впечатлительный, нервный ребенок, воспринимает эту вынужденную отчужденность как враждебность и отвечает на нее также враждебностью. Кроме всего прочего, он еще ревнует мать к этому чужому человеку /Вот!/, а тот, со своей стороны, ревнует ее к сыну. Конечно, справедливость должна торжествовать, но как ей это сделать в такой безвыходной ситуации? И вот, приближается Новый год. Мальчик /нервный, впечатлительный.../ слышит разговоры товарищей, видит предпраздничную суету соседей, и тоска одиночества, желание ласки и тепла выливаются для него в мечту о елке.

Со всей силой детского воображения он представляет себе это зеленое душистое чудо, ему кажется, что с появлением елки изменится все течение его жизни, что она перестанет быть однообразной сменой будней, а превратится в непрерывный праздник, в сияющую волшебную сказку. И вот... он преодолевает... он идет на жестокое унижение... и неожиданно встречается... как будто тает ледяная преграда... ну, и так далее.

Так вот, по существу дела: когда я с ним заговорил, никакая елка меня уже не интересовала. Во всяком случае, ни о какой жажде или тем более мечте не могло быть и речи. Это был так, легкий бзик, кратковременный импульс, и не им я руководствовался, когда лепетал свою краткую реплику. Просто я больше не мог. Я не мог выдержать такую долгую ненависть, у меня не хватало на это ни сил, ни характера. Ненависть и злость, злость и ненависть — я сам лелеял в себе эти чувства, и они душили меня самого, не находя себе иного выхода. Нет, я не годился для такой работы. И дело тут совсем не в возрасте, но и не в доброте. Все дело в страхе. Я испытывал страх перед ненавистью, своей и чужой, а больше все-таки перед чужой, органическую боязнь вражды, которая была крайним случаем всеобщей, изначальной боязни недоброжелательства, свойственной мне генетически, как какая-нибудь хромосомная болезнь.

6

Разбираясь в своих чувствах и ощущениях, я нередко поражаюсь бесконечному многообразию этой болезни, в самых неожиданных ситуациях выплывающей как главная причина и главный двигатель.

Вот я, уже взрослый, стареющий человек, сижу в такси рядом с шофером, веду с ним вялый разговор о том, о сем, о вещах, мне чуждых и безразличных, о скользкой дороге, о хоккее и о ценах на автомобили, косенько, невзначай поглядывая на счетчик и чувствую, что принужденность этого разговора — не обычная, ежедневная принужденность общения с

чужими людьми, нет, это еще и скрытая вражда, причины которой лежат в неминуемой противоположности интересов. С одной стороны, я, по роли своей, не могу не думать о счетчике, я просто обязан о нем думать и прикидывать в уме, сколько набьет и сколько надо дать, чтоб и не обидеть, но и чтобы не чересчур много, и не потому, что мне жалко денег /хотя и это тоже/, а просто нельзя же выглядеть простоком, хотя бы в глазах того же шофера. С другой стороны, он — уже по своей роли — тоже не может не думать о том, сколько я дам, и заранее примеряет на меня два противоположных отношения: снисходительно-доброжелательное — если дам много, злобно-остервенелое — если дам мало.

Я, допустим, готов дать много, но он-то ведь этого не знает, выяснится это только в самый последний момент, а пока я должен безропотно выдержать положенное мне число злобно-остервенелых примерок.

И даже если мы заранее договорились о плате, все равно остается эта скрытая напряженность, потому что я, например, думаю, что он, возможно, думает, что взял с меня слишком мало, теперь жалеет и ненавидит, а я, возможно, мог договориться на меньше, и, конечно, черт с ними, с деньгами, не в деньгах дело, а все-таки обидно, когда тебя обводят, как маленького... И даже не это, а то, что думают о тебе, как о маленьком, которого обводят. Ну, и так далее. И, в конце концов, меня так изматывает эта пятнадцатиминутная непрерывная вражда, что я долго потом прихожу в себя, и долго еще не могу себе простить, что не вышел на час раньше и не поехал на метро, как все люди, мог бы, по крайней мере, почитать книжку или подумать о разных вещах, не имеющих отношения к процессу езды...

В парикмахерской — то же самое. В магазине — нечто близкое. В ресторане — что и говорить!

Но если теперь, когда я такой взрослый и такой понимающий, я могу удержать себя в руках в подобной ситуации, коль скоро не удалось ее избежать вовсе; если теперь я сознательным усилием подавляю врожденный свой страх, заискивающим лепетом лезущий наружу, — то в детстве...

Куда это меня занесло? Что там, собственно, у нас происходит? Да! Вот — елка! "Елочкэ". "Куда же мы поставим куда?" Мне кажется, он тогда тоже немного устал от вражды. Чувствовать на себе постоянный, неотступный, ненавидящий взгляд — это мало кого оставит равнодушным. И все же, никаких перемен не произошло. Мы походили с ним по комнате, потолкались, померяли, я действительно купил елку и поставил ее на место трельяжа, передвинутого в дальний угол, к окну — но на этом вся идиллия и кончилась. Его мирные условия были неприемлемы для меня, несмотря на всю мою приспособленческую сущность. Очередной взрыв произошел очень быстро, сразу же после Нового года. Ко мне зашел мой друг Рома, мы как раз садились обедать, и мама пригласила его к столу. Мы ели борщ, постелив на стол клеенку, и открылась дверь, и вошел он. Что-то ему понадобилось дома, какие-то документы... Ядовито и кроваво стрельнул он в нашу сторону, прошел к шкафу, не снимая синего прорезиненного плаща, порылся там, бормоча невнятно, и ушел молча, не ответив на мамин вопрос.

Возникла мрачная пауза, которую мама стала затем поспешно заполнять всякими гордыми, извиняющимися, примиряющими, независимыми, уничтожающими, возвышающими, шехероватыми, гладкими словами. Но ничего уже нельзя было сделать. Мы нарушили. Ромке нельзя было обедать у нас. Каждый должен был есть там, где он или за него платили, то есть у себя дома.

В этот день он пришел поздно, ужинал молча, потом, как всегда, спал, сидя за столом, и мы разговаривали тихо, да и не разговаривали, по сути, а лишь обменивались тревожными сигналами, но он все спал и молчал, и только в самом конце, перед ночным уже сном, вычистив ногти и помахав носками, вдруг остановился на пути своем в спальню и застыл, своротив голову набок.

— Он думает, что я ему нанялся! — произнес он громко и внятно, и первые же звуки его скрипуче-гнусового голоса

прошили меня насквозь. Я почувствовал какой-то голубоватобелый вибрирующий холод, белым ужасом, пустым пространством, лишенным цветов и теней, наполнилось мое тело, и в глазах у меня не потемнело, а страшно так посветлело, побелело, как от яркой вспышки света. — Он думает, я ему нанялся! Я должен таскаться на работу, я должен делать дела, подставлять голова, я буду сидеть в тюрьме, а он будет жрать и спать и больше ничего! А что? Пусть приходит Ромкэ, пусть Вовкэ и Колькэ и все, и пусть сидят у меня в доме и жрут на мои деньги, им мало у себя дома — пусть жрут у меня! А что, ему жалкэ? Разве он знает, что такое деньги?

Мама пыталась что-то сказать: "Ну ладно, ну ладно, ну перестань..."

Он не слушал ее, продолжал каким-то менторским, размеренным тоном, это было уже в области абстракций, за пределами простой вражды и ненависти. Это звучало почти ласково.

—...Потому что он не знает заработать рубль. Если бы он знал заработать рубль, — он бы так не делал!

Голова его была наклонена в мою сторону, глаза смотрели в пол, но так точно был выбран угол падения, что злобный взгляд этот, отскочив рикошетом, попадал прямо в меня, и я чувствовал его на себе неотступно. Нет, это было мне не по силам!

Тут существовала одна возможность, один вполне реальный выход, который я — теперешний — тщетно пытаюсь подsunуть себе — тогдашнему. Я имею в виду комичность ситуации, то, как был он смешон во время этой сцены, в лиловых своих кальсонах с пустой мотней между ног, с большим задом над обезьяньими, чуть согнутыми в коленях ногами, с круглой спиной и махонькой головкой, где не было ни лба, ни подбородка, где все пространство лица было распределено между щеками, бровями и носом, рот же существовал лишь в силу непрерывного движения... Не говоря уже о произношении, для которого у меня просто не хватает гласных, да и гласными одними тут не обойтись, надо слышать все эти его пришепывания, причмокивания, присюсюкивания, все эти тончайшие

интонационные ходы, нейтрализующие русскую фразу до полного уничтожения, так что оставалось ощущение, будто он говорит на особом, одному ему известном языке, и то, что я этот язык понимал, не зная его, было чуть ли не актом телепатии.

Но нет, я не смеялся, это было для меня невозможно. Смеяться — значит проявлять независимость. Я же был всецело от него зависим, никак не мог освободиться и никаких перемен, за исключением повзросления, ни с какой стороны не ждал...

Глава 3

1

Были ли у него друзья? Вот ведь чудеса — были! Ну и кто же? Кто мог быть его другом? Такой же мрачный крот в прорезиненном плаще, с пальцами, как бы созданными специально для счета денег, с влажным ртом, чтобы мусолить эти пальцы, нет, еще — чтобы бормотать смешные и нелепые еврейские числительные, похожие на детские считалки, похожие на абсурдные стишки, похожие на некие шутовские ориентиры, курам на смех расставленные там и сям в базарной толчее этого пародийного языка.

"Эйнын-цвонцик, цвейнын-цвонцик, драйнын-цвонцик..." Эники, беники ели вареники... Но ведь это и была пародия, это и была дразнилка, и считалка — тоже /считалка денег.../.

Кто же это в незапамятные времена обладал таким острым слухом, чтобы в кованом строе немецкой речи различить все черты местечкового балагана?

— Вот вам язык, язык как язык: звуки, слова, предложения. Все как следует, как настоящее, все как водится у людей. Живите, говорите, считайтесь, ругайтесь; захотите написать письмо жене — возьмите старые финикийские буквы, они тут как раз подойдут, как корове седло; пишите, пишите, не бойтесь, что бы вы там ни наврали, романа у вас не получится, стихов — тем более; а станет вам немножечко грустно, станет вам капельку неумогу — спойте песенку, песенку вы пол-

не сумеете спеть, песенку и немой споет, отчего же вам не спеть — с таким замечательным языком!..

Дядя Яша не пел песенки — зато деньги он считал хорошо. Он любил это занятие, здесь он чувствовал себя мастером, профессионалом, видно было, что этот профессионализм составляет предмет его гордости. Никогда он не считал один раз, редко — два, обычно же каждая сумма пересчитывалась три-четыре раза.

Это были, как правило, его собственные деньги /так я теперь, по крайней мере, думаю/, но никогда я не воспринимал их как деньги, как то самое, на что можно что-то купить. Те десятки и пятерки, что мне давали в магазин, — вот это были деньги, они были живыми, они соответствовали, они превращались, в любой момент они могли стать чем угодно, банкой керосина или пакетом сахара, и эта бесконечная неуловимость возможностей, эта благородная неопределенность намерений, допускающая в то же время абсолютную конкретность любого воплощения, — все это придавало деньгам особую прелесть и поэзию. Те же деньги, что вечерами, заперев дверь сейфовым ключом и задвинув окна дощатыми гармошечными ставнями, сосредоточенно и упоенно пересчитывал дядя Яша, — те деньги были ничем. Все эти пачки сотенных ничего не стоили в моих глазах, я смотрел на них с полным равнодушием, у меня и в мыслях ничего такого не возникало...

Был у него друг — не такой, конечно, "чтоб поверять ему все свои тайны" /у кого это, интересно, есть такой, чтобы — поверять?/, но старинный, чем-то испытанный, в чем-то верный. Нет, он не ходил в прорезиненном плаще и не мусолил пальцы, хотя деньги тоже считать умел. Звали его, как Ганнибала, Абрам Петрович, и это было постоянным предметом его каламбуров и окололитературных острот. Тут и без пояснений становится ясно, что, в отличие от своего приятеля — моего отчима, — был он человеком если и не начитанным, то читавшим и даже, что еще интереснее, — писавшим. Он пописывал шуточные стишки, немного стеснялся этого занятия, немного

гордился, никогда не давал читать, но иногда сам, кстати и некстати, пробормотывал скороговоркой две-три строфы.

**Живут в пакете на портрете
Мои откормленные дети,
Жена прекрасная моя,
Перед которой я свинья...**

Кажется, это единственное, что я запомнил.

Жена у него была действительно очень красивая, полная, гладкая, черноглазая и черноволосая, с низким чуть сипловатым голосом — типичная еврейская красавица.

"Откормленные дети" — это один-единственный сын, разбитной и самодовольный парень лет тогда двадцати пяти, знавший в Москве половину мужчин и, вероятно, две трети женщин.

Они жили в самом центре города, в доме актеров Малого театра — уж не знаю, как они туда попали, — говорили на чистом русском языке, явно предпочитая его еврейскому, которым пользовались исключительно для анекдотов и крамольных суждений.

Что же связывало их с этим человеком? Трудно сказать. Ну, во-первых, Абрам Петрович и Яков Самуилович были оба из одного города. Много лет назад они одновременно оказались в Москве и, видно, с тех пор и держались друг за друга. Уже давно ни тому, ни другому не нужна была эта поддержка, но они были пожилыми людьми, им поздно было менять привычки, они привыкли держаться — и держались. Но существовали тут и другие обстоятельства. Оказывается, мой отчим считался вообще уважаемым человеком. "Честный, деловой, порядочный, держит слово, не продаст, не подведет, не обманет" — все эти еврейские достоинства приписывались ему безоговорочно.

Яков Самуилович Ройтман был уважаемым человеком в деловом мире, и дружить с ним считалось не только не унижительно, но скорее даже почетно. Да, наверно, и выгодно это

было, если судить по тому, сколько людей считали себя ему обязанными.

Но что же это был за "деловой мир"?

Но разве вы не знаете? Знаете, конечно...

Впрочем, вдруг действительно не знаете, вдруг вы с луны свалились?

В таком случае я поясню: Яков Самуилович Ройтман много лет занимал должность коммерческого директора в одной из артелей промкооперации. Он был, ко всем прочим достоинствам, еще и очень осторожным человеком, и когда его, хоть и ненадолго, но все же посадили — все поразились, так это было на него не похоже...

Но я опять не уверен, что ничего не пропустил. Осведомленному достаточно. Но достаточно ли осведомлен мой читатель?

Тут, конечно, надо быть специалистом. Надо видеть все в целом, так сказать, "обозревать", надо иметь в запасе кучу цифр и уметь обращаться с терминологией. Какой-нибудь экономист и историк свел бы все обстоятельства в столбики и таблицы, облек предпосылки и выводы в стройную афористическую форму и как дважды два доказал бы, что прав он, а не кто-нибудь там еще. Ничего этого я, конечно же, не смогу сделать по многим причинам, главная из которых — отсутствие концепции. Мне просто нечего доказывать, я и сам ни в чем не уверен. Ну, а уж терминология... Народное хозяйство, национальный продукт, доход на душу населения...

2

Абрам Петрович и Мария Иосифовна никогда не приходили неожиданно, их визиты были запланированы заранее, на предыдущей встрече, причем, как правило, соблюдалась очередность. Если они приходили к нашим, значит в прошлый раз наши были у них. "Ну, теперь мы вас ждем. Когда вы соберетесь?" Больно было мне это слышать: меня ведь туда не

брали. Но зато каким праздником для меня становился каждый их приход!

Я прислушивался в этот вечер к любому стуку за дверью, я еще издали ловил их шаги, я точно знал, что это они, это была не обычная развалистая домашняя походка идущего в уборную жильца, это были именно шаги гостей — drobный, тяжелый, шаркающий, с прочерком — направленный и неотвратимый звук. Он завершался громким стуком в дверь, я заранее рассчитывал этот момент, я настраивался в резонанс с этим стуком и когда он действительно раздавался, сердце мое подскакивало, как мячик.

— Можно? — Она входила первая, в черной котиковой шубе, дыша духами и туманами, румянощекая, полная — не толстая, а именно полная, наполненная, живая, вся какая-то красноречивая и подвижная, даже когда не двигалась и не произносила ни слова.

— А-а-а! Хе-хе-хе... — гнусавил Яков Самуилович и криво вставал со стула, чтобы снять с нее шубу, и Абрам Петрович, подавляя собственный, десятилетиями выработанный порыв, терпеливо наблюдал, как он неуклюже цепляется за гладкие блестящие отвороты, и затем сам ловким изящным движением снимал свои кожаные перчатки и драповое с черным каблуком пальто.

Я смотрел ему прямо в рот и знал, что он откроет его, только раздевшись, скажет коротко: "Здравствуйте" — и каждому по очереди протянет белую сухую и чистую руку. Мамину руку он всегда целовал и заметно дольше других держал в своей — и дурак я был дураком, ничего тогда не понимал...

Они рассаживались по своим уже традиционным местам — она на диване, он на стуле — а стол уже был покрыт другой, белой, обеденно-гостевой скатертью, и стояла на нем бутылка "столочной", и начинали расставляться закуски, всегда одни и те же, так что легко было сравнивать, когда что лучше удалось. Паштет из печенки, редька с луком, какой-нибудь салат, какие-нибудь дефицитные консервы, — впрочем, кажется, все они были тогда дефицитными.

Если это был праздник — все равно, пасха, п и р ы м* или Октябрьская революция — ко всем прочим прибавлялись еще и фаршированная рыба, и холодец, и пироги с мясом. Все пили водку, пили с удовольствием, но мало, бутылка была всегда одна — и на четверых, и на пятерых, и на шестерых — годам к четырнадцати мне уже тоже позволяли прикладываться...

О чем они говорили? — О том же самом — но и о другом, но и когда о том же самом, то все равно по-другому, была в них какая-то легкость и непредвзятость и хотя /сейчас-то я это понимаю/ не такие уж они были широкие люди, но и в узости их содержалась и как-то проявлялась ежесекундно возможность многого, возможность разного, вообще, возможность — как нечто противоположное нашей, моей в этом доме — решительной невозможности.

Иногда заходил разговор о книгах — всегда ненадолго, чтобы не обидеть Ройтмана, ничего, кроме газет не читавшего. "Книжке? Да-а, почему нет! Я читал книжке, по-русски и по-еврейски, как же, читал книжке... Я помогал отцу в лавке /до неприятности хрестоматийная деталь!/, в школэ я не ходил, но к нам ходил учитель из хедера. Да-а! Как же — ходил учитель и я читал книжке... А потом у меня стала плохая зрения потом, и я уже книжке не мог... Да-а-а, читал, а как же..."

Постепенно мы с мамой начали прибарахляться — купили книжный шкаф /"Шка-а-ф? Пусть будет шкаф пусть будет! Это же мебель. Мебель — всегда мебель!.."/ и потихоньку заполняли его книгами.

Как-то удалось его убедить, что и книги — это тоже всегда книги, верный вклад капитала. Он так и пояснял своим деловым знакомым, как бы извиняясь за это бесполезное и нелепое имущество. Он и им это повторял, уже не как оправдание,

*Весенний праздник. Следует предупредить читателя, знакомого с еврейским языком, что здесь и далее приводится не литературный и д и ш, а тот его диалект, на котором говорят украинские евреи или выходцы с Украины. Основное его отличие — иные гласные, несколько далее уводящие речь от немецкой. Например: г е з у н д /нем./ — г е з у н т /евр. лит./ — г е з ы н т /евр. укр./; з а г е н — з о г е н — з у г е н и т. д. То же и в словах, идущих от иврита: п у р им — п и р ы м.

а просто чтобы хоть что-нибудь сказать, и они ему эту глупость прощали, как, впрочем, и все остальное, что могло и, казалось, должно было вызвать у них раздражение и насмешку, но, тем не менее, по какому-то молчаливому, раз и навсегда заключенному соглашению — не вызывало.

Мы говорили о книгах /Полевой, Эренбург, Каверин, Маршак.../ и он тоже не молчал при этом, а ухитрялся что-то неразборчивое бормотать, то одобрительно, то даже вроде бы и осуждающее, что-то такое мычал все с тем же важным видом уважаемого человека — и я кипел и рвался его разоблачить — и конечно же, никогда этого не делал.

И вот о чем я действительно жалею — о том, что не могу услышать заново разговоры Абрама Петровича и Якова Самуиловича, постоянные разговоры их о политике. Я плохо в этом разбирался и мало что запомнил, а между тем именно здесь можно было бы уловить неповторимый вкус того компота, который представляло собой их немислимое мировоззрение.

Оба они были членами партии, вполне исправными коммунистами, и партийность эта никогда не подвергалась сомнению, даже в самых интимных разговорах. Это не было маскировкой, это была вторая натура. Вторая, или может быть, третья, четвертая — кто знает, сколько их было у них в запасе?

Оба они происходили из богатых семей и хорошо помнили, что и как потеряли. Но это было само по себе, а то — само по себе, тут существовали четкие перегородки и никто не посягал на их разрушение.

Они ругали м е л и х у за строгости и дороговизну — и проклинали Трумэна за то, что он "против нас". На вопросы мои о нэпе они отвечали строчками из учебника — и тут же, вспоминая собственный опыт, высказывали нечто противоположное.

Оба они "делали дела", — так сказать, обогащались за счет государства, и Абрам Петрович — не хуже Якова Самуиловича. Но вот передо мной книга, подарок тех лет, "Избранное" Лермонтова — огромный серый том, вмещающий все, как любили тогда издавать. Аккуратным, округлым, старатель-

ным почерком, ровными, разнопротяженными строчками с простейшими глагольными рифмами, таким сутулым канцелярским раешником, выполнена дарственная надпись. Абрам Петрович советует мне слушаться старших и быть достойным членом социалистического общества... Нет, воистину есть Божий умысел во всем, что ни делается в мире! Нашему бы детству — да нынешнюю критичность — не выжить бы нам нипочем!..

3

Книжки на предъявителя были спрятаны в шкафу под бельем, окна забраны решетками и закрыты ставнями, двери заперты сейфовым замком. Но всего этого казалось недостаточно. Наше жилье /уж не знаю, как его называть: комната? — но их было две; квартира? — но ничего кроме комнат не было.../ по вечерам не оставалось без присмотра. Кто останется дома? — это был вечный вопрос, который решался всегда однозначно: дома оставался я.

Мама и он — куда они ходили? В гости. В театр.

Незадолго до своего разгрома Еврейский театр, всегда наполовину пустой, устроил вечер для "еврейской общественности". Можно представить себе лицо этой общественности, если в число ее попали такие деятели, как Абрам Петрович и Яков Самуилович!

Собрали некоторое количество эстрадных, оперных и драматических артистов, согласившихся /и-не побоявшихся/ вспомнить, что они евреи, и устроили концерт — в фонд помощи театру. Помню — по рассказам — что были там Эммануил Каминка и Марк Хромченко, и Михаил Александрович, и Пантофель-Нечецкая, и еще какие-то "оказавшиеся". Вел концерт Михаил Гаркави, который всячески намекал на свою непричастность, на то, что его пригласили со стороны, упросили, чуть ли не наняли./"Нанять г о я"*! — есть такой популярный оборот./

*Нееврея.

Еврейская общественность прослушала еврейский концерт, отработала еврейские речи и здравницы, пощекотала свои еврейские нервы и купила по абонементу на очередной еврейский театральный сезон. Таким образом участь моя была решена. Два-три одиноких вечера в месяц в мерзкой этой квартире /все-таки — квартира?/ были мне обеспечены.

И вот я сижу один в пустоте и сырости, сижу на диване и читаю книгу, тускло светит оранжевая мухоловка — у нас отдельный счетчик, и мы экономим на электричестве, — в четвертый раз читаю "Двух капитанов", "Ромашка?! — вскрикивает Саня — Я его убью!", но больше я не могу, я устал, я хочу спать. Но спать мне нельзя. Стоит мне закрыть глаза — и из той, второй комнаты, полуприкрытой белой масляной дверью, из мягкого черного вещества, заполняющего пространство между створок, выйдет, размеренно покачиваясь и отбрасывая огромные крылатые тени, выйдет и пойдет, и захохочет в зловещей истерике, и... нет, лучше об этом не думать.

Знаменитый ключ торчит в двери — считается, что это мешает грабителю отпереть дверь снаружи. Рука у меня дрожит, я открываю и выхожу в уборную. В уборную мне не надо, но не могу же я покинуть свой пост без особой причины. "В уборную" — говорю я себе и долго топчусь в коридоре до и после, прислушиваясь к звукам, принохиваясь к запахам, греюсь, топчусь и тяну резину. Проходят соседи, интересуются, чего это я... Открываю дверь, ныряю обратно. Бодрыми шагами я прохожу сразу во вторую комнату, включаю там свет и возвращаюсь на диван. Теперь он сможет вылезти только из-за шкафа или из-под кровати. Я успею увидеть с большого расстояния — успею повернуть ключ и убежать. Надо только смотреть туда, в самый конец, смотреть, не отрываясь, чтобы не упустить момент. Я смотрю, смотрю, смотрю, глаза мои слезятся, я боюсь моргнуть, серый туман стелется передо мной, предательский серый туман, из-за которого как раз-то и...

Меня будит стук в дверь. Я вскакиваю, хватаюсь за ключ, отпираю — нет, я не отпираю, я толкаю дверь и она открывается — я забыл запереть. "Я тебе говорю я тебе, я больше ни-

куда не пойду! Иди сама, иди в театр, иди в ресторан, иди, куда хочешь, а я сам останусь и буду сторожем. Он хочет, чтобы меня обокрали он хочет! Не знаю, не знаю... Ему трудно запереть дверь на ключ! Он знает одно: придти, нажраться и сесть с книжке... Я должен ставить головы и все отдавать волам, пусть приходят и берут! А я тебе говорю — потому что он не знает заработать рубль! Если бы он знал заработать рубль..."

"Сашенька, почему ты не спишь? Завтра в школу, разве можно так поздно? Ладно, ложись и не возражай! Тебе говорят, ты слушай и не спорь. Не надо, сынок. Ложись спать..."

"Нет, ты посмотри, посмотри-ка сюда! Посмотри сюда, я тебе прошу! Здесь горит свет! Ему мало одной комнаты, он должен включить все лампочки, он делает ентыв, праздник он делает, как будто у меня миллион денег и я могу платить за него, сколько ему влезет!"

Так кончается мое одиночество.

4

Каждое лето, когда мама уезжала в свой обязательный дом отдыха, я целый месяц — блаженное время! — обедал и ужинал в столовой. Столовая в лагере и столовая на воле — два одинаковых слова, но какие разные значения!..

На крыше огромного серого здания стоймя стояли гигантские буквы: "Фабрика-кухня". Вначале я никак не мог понять, что пугает меня в этой надписи, но потом, уже побывав внутри, задним числом догадался: в ней не было места еде. "Кухня" — это где готовят, "Фабрика" — это где что-то и во что-то перерабатывают. Казалось, стоит войти — и тебя немедленно задействуют, включают в процесс, пустят в дело, в готовку, в переработку — шум, гам, пот, пар! — но поесть так и не дадут.

Я был приятно удивлен, когда увидел длинные залы, крашенные зеленой масляной краской, крытые клеенкой квадрат-

ные столы и в четыре ракурса — профиль, анфас, профиль, затылок — сосредоточенно-отсутствующие лица жующих.

И столовая мне понравилась.

Конечно, дома готовили вкуснее. Но какое это имело значение? Стопудовый наш круглый стол был сконструирован таким образом, чтобы за ним невозможно было сидеть. Тяжелая скатерть свисала с него почти до полу, и на глаз трудно было определить расположение ножек. Но даже счастливо избежав ножки и устроившись где-то в промежутке, вы немедленно начинали чувствовать коленями жесткую перекладину, расположенную на необходимой высоте. На скатерти раз и навсегда был установлен пустой графин больничного типа, рядом с которым на стеклянной подставке валялись пакетики с лекарствами, огрызки карандашей, счета за электричество. Если не было гостей, то на время обеда часть стола, примерно треть, закрывалась сложенной вдвое клеенкой, клеенка морщилась на закруглениях, спускалась углами, скользила и сползала вниз; в ожидании тарелок ее прижимали к столу голубой пластмассовой хлебницей, слишком легкой, чтобы удержать эту равнодушную тяжесть. Если хлеба было мало, клеенка падала, ее поднимали, укладывали заново, ставили хлебницу, собирали хлеб, придерживали край рукой...

Помнится, хлеб в этой хлебнице всегда был черствый... Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Нет, конечно же, я ошибаюсь, но избавиться от этого убеждения не могу. Вот она у меня перед глазами, неестественно голубого цвета, с влажной от заплесневелых крошек салфеткой, с серыми черствыми ломтями крошащегося хлеба, с широким щербатым столовым ножом — тупое, потемневшее скругленное лезвие, пухлая ручка из дутого мельхиора... Таких ножей у нас было двенадцать: какой-то трофейный немецкий набор, и на лезвии каждого были выдавлены конан-дойлевские пляшущие человечки — зловещий знак, который, при желании, можно было бы отнести ко многому...

Прямо над столом висел на толстых шнурах огромный оранжевый абажур в форме двух сложенных друг с другом тарелок, в верхней из которых имелось отверстие для прово-

да и патрона. Мне он постоянно напоминал мухоловку, и, видно, не мне одному, потому что, когда однажды мы сняли его во время ремонта, он оказался на треть заполненным мухами — дохлыми, высохшими, шуршащими, как осенние листья...

За этим круглым столом, упираясь в проклятую перекладину /до сих пор чувствую коленями ее активную, враждебную, бескомпромиссную твердость/, я поспешно пожирал свой борщ, уткнувшись в книгу, если не было Якова, или в тарелку — если он был. Еще только усаживаясь за стол, я уже мечтал о том, как встану, как схвачу в охапку пальто и вылечу на скользкую грязную улочку, и помчусь, помчусь, все дальше и дальше — к приятелям, к родственникам, к приятелям родственников, к родственникам приятелей — куда угодно, только бы не дышать этим сырым округлым воздухом, который вкатывается в глотку ограниченными в пространстве упругими порциями, и где-то щелкает счетчик, и пока — ничего, ничего, успокойся, но когда-нибудь, как-то, кому-то, где-то — не улизнешь, не отвертишься, не избежешь — непременно придется платить...

Сырость в этом доме была человеческого происхождения, ее не могли убить ни проветривания, ни ремонты; потолки, стены и даже мебель — не имели к ней отношения. Запах сырости оставался, он не был запахом плесени, пота или мочи, он был гораздо сложнее любого реального запаха. Мне и по сей день кажется, что таким образом сгустилась и материализовалась вся наша здешняя нудная, лживая и постылая жизнь.

Что и говорить, я не был избалован свободой, и когда я поднимался по ступенькам фабрики-кухни, серьезного предприятя, куда я шел по своим личным делам, до которых никому не было касательства, по своей личной инициативе /мог ведь и передумать; никогда не передумывал, но ведь мог же!/, когда я поднимался по этим стоптанным ступеням, входил в холл и занимал очередь в кассу — я чувствовал себя человеком!

Я пришел сюда сам — захотел и пришел — в важное государственное учреждение /на фабрику!/ просто потому, что я хочу есть — и никого это не удивляет и не возмущает. Каждый входящий пришел за тем же, и я не менее серьезен и значителен, не менее уважаем в своих нуждах, чем все остальные.

И конечно же, высшее наслаждение — выбор меню. Вот где истинная свобода, вот где власть! Здесь я бог, здесь я король. Никто не может ни запретить мне, ни разрешить. Говоря по совести, я почти наверняка выберу флотский борщ, гуляш и кофе с молоком, но чего стоит сама возможность выбора! Ведь вот же прямо над моим борщом, на соседней строчке примостился суп гороховый на м/б со свиной, а я не хочу его, не возьму, как бы он мне ни отвечивал, и этот не взятый мной гороховый суп еще долго будет согревать мою одинокую душу.

Конечно, есть и другие развлечения. Можно взять не гуляш, а свиную отбивную, и пойти на мойку за ножом /их всего шесть на весь огромный зал/, и старая толстая судомойка будет специально для меня копать в грязном алюминиевом хламе, будет мыть эту пятнистую тупую железку с дыркой в ручке, будет заученным движением прополаскивать ее в двух одинаково грязных водах и вытирать серым вафельным полотенцем...

А еще раньше, когда не было этого самообслуживания и между столами, как цирковые лошади, тяжело и упруго отталкиваясь от пола, ходили высокие жилистые официантки, — я заметил одну — не то, чтобы она мне понравилась, она не понравилась мне, но я ее заметил и всегда подолгу на нее смотрел.

Я еще не умел смотреть на женщин. Ног и бедер для меня не существовало, я видел лицо, глаза, руки, в лучшем случае — грудь.

Лицо у нее было бледное, даже серое, в каких-то не старческих, а скорее усталых складках, кожа между этими складками, идущими поперек лба и по углам рта, была гладкая и молодая и, наверное, приятная на ощупь. Она была худа, но при этом лишена всякой угловатости, ходила между столами

некрупными точными и мягкими шагами и часто поглядывала на меня чуть продолговатыми серыми порочными глазами. Эту порочность я уже тогда хорошо чувствовал, но и жалость ее, и одинокость, и доброту видел я в этом взгляде, — видел, а скорее, просто дорисовывал. Ей было тогда лет двадцать пять, мне — пятнадцать. У меня и в мыслях не было с ней заговорить, да и заговорив — что бы я стал делать дальше? Нет, не то чтобы я ничего этого не знал, я знал все, недаром же я столько мотался по пионерским лагерям! Но одно дело — вообще, а другое — вот эта конкретная женщина...

Друг мой Рома был не многим опытнее меня, но зато гораздо решительнее /"нахальней" — так и хочется мне сказать, и я мог бы без зазрения совести, потому что он и был нахалом, это много раз подтверждалось в самых разных ситуациях; но нет, я не должен так говорить, не имею права. Велик соблазн: обнаружив у себя недостаток чего-либо, тут же и отнести это качество к недостаткам! Я ведь не осуждал его, я завидовал ему. Но чему же я в нем завидовал? Решительности, настойчивости, твердости, — чему угодно, но ведь не нахальству же!../ Друг мой Рома часто обедал со мной — мать его не любила вести хозяйство. Несколько раз проследив мой взгляд, он однажды мотнул головой в ее сторону и спросил снисходительно: "Что, нравится?" — Я вздрогнул от неожиданности, сказал: "Нравится" — и с большим опозданием напялил на себя нахальное /решительное?/ лицо, приличествующее моменту. "Нравится", — повторил я уже с этим новым лицом и голосом, который, как мне казалось, более всего ему соответствовал. /Она не нравилась мне, но как же еще я мог сказать?/

— Ну, что ж, баба ничего. /Как будто у него их было десятки./ Что-то в ней есть. Нет, ты молодец, начинаешь разбираться, глаз — ватерпас, нет, точно, подходящий станок, очень даже подходящий, — говорил он, приглядываясь, и не могу сказать, чтобы слова его мне были противны.

— Хочешь, познакомлю?

Я пожал плечами. "Зачем это, что у нас общего, о чем мне с ней говорить, что же дальше" — все эти соображения в подобной ситуации стали появляться несколько позже. Но и тогда

уже — не идиот же я был — понимал абсолютную противоречивость такого детского со взрослой общения.

— Ты не думай, они все хотят!..

Я промолчал. Я не знал, может и все. Он тоже не очень-то знал, но уж наверное лучше, чем я. Это было не трудно — знать лучше, чем я. Ему нравилась эта тема, он стал ее развивать. Я слушал внимательно, мне не было неприятно, даже наоборот. Даже очень наоборот. И он это чувствовал. "Каждая баба... конечно, поначалу... даже самая такая..." Но потом сразу как-то мне надоело. У него было не так уж много сведений, он начинал повторяться, запас слов был тоже невелик, и потому повторы смысла выражались у него повторами фраз — это раздражало меня больше всего.

— Каждый новый парень, — говорил он, к примеру, в пятый или пятнадцатый раз, — может ее заинтересовать! — И в пятый или пятнадцатый раз чувствовал недостаточную убедительность этих слов, но сказать иначе не мог. И он начинал снова, в шестой или шестнадцатый, с той же в точности интонацией — их ведь тоже было ограниченное количество: — Каждый новый парень, понял?..

— Может, она и хочет, — сказал я, наконец, — но только уж не с тобой... И не со мной.

"Не со мной" я добавил потише, только для смягчения, но он-то услышал так, как ему хотелось, то есть именно это, а "не с тобой" — пропустил.

— Не дрейфь, — сказал он, — ты, главное, не дрейфь. Не съест же она тебя. Вот сейчас подойдет и...

— Пошли, — сказал я вставая. Мне надоело, да и начинал уже чувствовать я потерю, какую и должен был чувствовать, это и объяснять не надо. Он схватил меня за руку и не отпустил. "Не дрейфь, — повторял он, — не дрейфь..."

Она как раз подходила убрать посуду, подошла — и он с ней заговорил. Нет, он еще не умел это делать. Мешали остатки детской застенчивости, да и не знал просто, как, опыта не было, только чужие заученные слова. Он нырнул без оглядки, закрыв глаза, крепко держа меня за руку, скорее себя, чем меня подбадривая. Неизвестно было, выплывет или нет. Так

мы стояли, как дети, взявшись за руки, мы и были детьми и он, скривив влажную резиновую улыбочку, больше похожую на гримасу боли, проговаривал всю эту чепуху, и казалось, будто он сплевывает застрявшее в зубах мясо. Его тон был небрежен, слова приглушены нейтральными гласными /"ну чтэ, ну кэк"/, и я стоял рядом и тоже не молчал, а что-то такое подвывал, проявлял необходимую солидарность.

При первых же его словах она подняла голову от подноса и улыбнулась. Улыбка ее мне не понравилась. Она ей не шла. "Презирает", — подумал я. Но время текло, кончался период, необходимый для того, чтобы послать нас подальше, а она улыбалась и — не посылала. Руки ее продолжали собирать посуду, а глаза смотрели на нас /на меня тоже.../ и светилось в них какое-то то самое выражение, какое я ни разу еще, может, и не видел, но сразу безошибочно угадал. Те слова, что сплевывал Ромка, не были словами в обычном смысле — ни вопрос, ни сообщение, ни предложение. Это был знак, пароль, но пароль хорошо ей известный. Она слушала, не удивляясь, слушала — и не посылала.

— Мальчики, — сказала она, поднимая полный поднос, живописно так и киношно из-за плеча повернув к нам голову, — подрастите немного, тогда приходите.

— А у меня уже подросток, — сказал Ромка. Это была беспредельная наглость. Но нет, ничего страшного и на этот раз не случилось.

— Дурачок ты, — бросила она снисходительно и спокойно прошла мимо, даже мягко толкнула его бедром, чуть выгнувшись и сбалансировав подносом.

— Ну что, видел? — спросил Ромка, отпуская, наконец, мою затекшую руку. — Полный порядок.

Порядка, да еще полного, конечно, не было, но я не стал спорить. Действительность, как говорится, и так уже превзошла.

Это был великий момент в моей жизни. Я понял, как просто обстоит дело. Не надо ничего уметь, не надо ничем быть, а надо знать — и пользоваться. Все уже было бесчисленное число раз, все расписано, как по нотам, нажимаешь на те же клави-

ши — возникает та же мелодия. Я это понял, принял, как истину, заучил назубок — так возникло худшее из моих заблуждений.

Потому что никогда потом, ни разу, ни один замок не удалось мне отпереть универсальной этой отмычкой. Одни и те же слова в одинаковой ситуации приносили удачу другим и не приносили мне. Все, вроде бы, подтверждалось, надо было только сказать пароль. Сказать-то — пароль, но знать — язык! Я был здесь иностранцем, меня выдавало произношение.

Оставаться самим собой — было для меня единственной возможностью жить, единственным способом существования. Но такое мне и в голову не приходило. Весь опыт окружающих говорил против этого.

5

Почти все дома на нашей улице имели прозвища. Наш назывался "котлом" — его строил завод "Котлсантехмонтаж". Соседний был "цыганий", хотя, насколько я знаю, ни один цыган никогда там не жил. Дальше шел единственный кирпичный, который, неизвестно почему, назывался "сосновым".

В нашем все было прямолинейно и ясно: коридор, кухня, уборная; второй этаж: коридор, кухня, уборная.

Цыганий был гораздо сложнее, а кроме того — гораздо дряхлей, грязней, запутанней и интересней. Там существовало множество закоулков, коридорчиков, мостков и переходов, множество перилец и стенок, поскрипывающих и пошатывающихся, все это неучитываемое изломанное пространство было захлавлено, загромождено, загажено и заплевано, полу- или полностью темно, всегда устрашающе привлекательно. Там мы играли в войну — в настоящую войну, где пленных связывали, били и пытали, где воюющие стороны не татакали из деревянных палочек, а дрались до первой кровянки, а иногда и дальше — до победы, как уж она там получится, и где порой вмешательство взрослых становилось единственной возможностью установить перемирие. В этих играх участвовали иногда и девчонки, с ними обходились так же жестоко —

хотя нет, конечно, не так. Их с удовольствием брали в плен, долго и подробно связывали, — охотников находилось сколько угодно, зрителей тоже — и так постепенно игра эта начала превращаться в нечто иное, когда уже все, не сговариваясь, понимали, что война — только повод, и без девчонок играть не имеет смысла. "Видал, Олька с Тамаркой из школы пришли — айда, позовем в войну?"...

Один из закоулков чердака облюбовали себе старшие, те, кому было лет по семнадцать, им и повода не надо было, они играли в другие игры и обходились уже без войны...

Однажды, когда четверо парней провели наверх мимо нас двух девиц, молчаливых, отворачивающихся, худеньких, с тонкими белыми кистями рук, сиротливо просвечивающих между короткими рукавами и неглубокими кармашками пальто, один из парней, Мишка Калачов, прикрикнул на нас, разгоняя, девицы инстинктивно обернулись — и я узнал Люд-ку Воробьеву, тихую умницу, победительницу олимпиад... И я рассказывать никому не стал — никто бы мне не поверил.

Этот самый Мишка был года на три старше меня, был он вечным второгодником и переростком, и какую-то из своих отсидок провел в одном классе со мной. Он уважал всяческие знания, но к учебе испытывал неискоренимое отвращение. Он не мог делать то, что от него требовали. Я же, наоборот, привык делать именно то, что требовали, всем, что умел, я обязан был послушанию, и знал я именно то, что надо было знать, а чего не надо — не знал, то есть, вел себя так, как будто не знаю, убеждая в этом и себя и окружающих. Калачов относился ко мне с уважением — тут он видел результат и не думал о способе, это его, в конце концов, не касалось...

А мне было так спокойно под его защитой, так горевал я, когда он ушел из школы — на этот раз уже насовсем, на завод, в токари или слесаря, в совершенно другую, взрослую жизнь...

Через год я встретил его на бульваре; он был глубоко и просветленно пьян, обнимал меня и жаловался на жизнь, вылизывая, как семечки, короткие, целые закругленные фразы.

"Все, друг Саша, прости-прощай... Пропал я теперь к е... матери. Как вошь меня поймали. Женили, как маленького.

Все! Будь здоров и не кашляй. Вот иду я, блядь, с работы, у станка день отмахал, выпил и спать хочу до смерти. А не тут-то было. Баба меня уже ждет, теплая, готовенькая. Давай, ложись. А неохота, Сашка, смерть, как неохота! А надо, никуда, блядь, не денешься — зачем женился? А я и не хотел, меня — силой. Вот теперь иду, думаю: может, на х..., в подъезде лечь, а? А-то, блядь, так ведь и не выспишься..."

Было что-то нереальное, что-то невоспринимаемо-гротескное в том, что все это проговаривалось восемнадцатилетним парнем, "безусым юнцом", как писали раньше в романах.

Но даже в отрыве от самого Мишки, взятые вообще, слова его звучали для меня фантастически. Никогда бы я не поверил, что существует и такое к этому отношение. Не хвастовство, а жалоба, не гордость, а усталость, не радость, а тоска...

"А твоя... эта... ну,... она кто? — спросил я, запинаясь на каждом слове. "Жена" — так как-то и не выговорилось — все же он был мне почти сверстником... — Она кто?.. Людка, что ли?"

— Какая Людка? Да ты что? Валька, вон, из семнадцатого. Она мне и не нравилась никогда. Так, по глупости подзалетел. Ну, теперь уж один х..., пропадать!.. Будь здоров, Саша! Не женись..."

И неведомо, в каком доме, в основном же, просто на улице обитал сумасшедший Герасим... Редкое имя, и сейчас я только сообразил, что должно оно было, по редкости своей, напоминать мне того, тургеневского Герасима, кроткого силача с маленькой собачкой, сколько раз я оплакивал несчастную их судьбу! Однако нет, никаких таких ассоциаций у меня в то время не возникало, быть может, потому, что наш Герасим был полной противоположностью тургеневскому. Тот — огромный, широкий, сильный, этот — долговязый, худой, нескладный; тот — глухонемой, кроткий и послушный, этот — болтун, задиристый и вздорный; но главное: тот — добрый, а этот... Одно у них было сходство, кроме имени, — борода. Густой рыжей бородой заросло лицо Герасима, и в диких этих, рыжих зарослях, как хищные звери, таились зеленые его гла-

за. Это знали немногие, мало кто стоял лицом к лицу с Герасимом, мимо него, в основном, — проходили. Проходя же, успевали заметить лишь бороду, безликие, грязные рыжие клочья, ничего, кроме неопрятности, не выражавшие — ни доброты, ни злости...

Постоянного места на улице у Герасима не было, но было излюбленное: у поликлиники, рядом с литым решетчатым забором. Он простаивал здесь часами, строго вертикально, ни к чему не прислоняясь, как столб, как памятник, как памятник, похожий на столб. Он стоял на своем посту, твердокаменный Герасим, весь он сделан был из одного материала: грязно-рыжая шапка-ушанка, грязно-рыжая, той же породы, шинель, грязно-рыжая борода; он стоял неподвижно и прямо, и только голову рыжую поворачивал, как на шарнире: то влево, то вправо, то навстречу, то вслед, то тому, то другому прохожему.

Он не снимал шапки, не протягивал ладони, а широко расставлял ноги в рыжих кирзовых сапогах, и туда, к бесформенным этим головкам сапог, к белесым протертым их выпуклостям, повторяющим шишковатую форму ступней, прямо на тротуар, на серый заплыванный асфальт или на грязный притоптанный снег, — кидали ему гривенники и пятиалтынные.

Герасим не был ни убогим калекой, ни беспомощным стариком. Не был — и не притворялся. Он не просил милостыни, он ожидал гонорара. И ему платили, потому что ценили его талант. Он обладал редчайшей способностью — не молчать ни секунды. Отдыхал ли он когда-нибудь от бессонной своей работы? Этого никто не знал. Никто не видел Герасима молчащим. "Стихия речи" — это сказано о нем, и его больной бред я представляю в первую очередь, когда слышу эти слова.

Вот я вижу длинную узкую его фигуру с толстой палкой, твердо продолжающей правую руку, он стоит, как железный ржавый треножник, как раз под уличным фонарем. Мягкий зимний вечер окутывает улицу синей мглой, конус желтого света давит на шапку и плечи Герасима, и блестящие снежинки кипят в этом конусе, ударяясь о его прозрачные стенки.

О чем он говорит? Обо всем. Если говорить непрерывно с утра до вечера, можно успеть сказать обо всем. Но главная тема Герасима — это жи́ды. На том он, видимо, и свихнулся. "Бей жи́дов, дочка! — бодро приветствует он приближающуюся пожилую женщину, причем нередко она оказывается еврейкой, что ничуть его не смущает. — Бей жи́дов, дочка, от них все несчастья!" Затем он продолжает прерванную речь, свой монотонный нищенский речитатив. Но погромче и поотчетливей — у него появился слушатель, — о том, допустим, как отважно он воевал, "показал этим вшивым жи́дам, что такое русская храбрость", как он шел в атаку, вперед, на врага, на ура, на туда, на а-а-а, а-а-а, а-а-а, а-а-а! — и не брали его никакие жи́до-в-с-к-и-е пули /?/; и как он один, нет, вдвоем с Кабановым Васькой, настоящим, веселым, хорошим, здоровым, смелым, толковым, надежным, лихим — замечательным русским парнем — захватил однажды в плен целый взвод трусливых и наглых — кого? — конечно, жи́дов!

В голове у него была полнейшая каша, и сначала я слушал его с замиранием сердца, содрогаясь от страха и ненависти, но со временем понял, что страх мой нелеп, а ненависть направлена в пустоту. Я понял, что, говоря о жи́дах, Герасим никак не имеет в виду евреев, и даже вообще — не отличает евреев от русских. Трудно поверить, но это было именно так. Русские и жи́ды — это был для Герасима простой и универсальный способ деления мира, как белое и черное, как свет и тень, как добро и зло. Все хорошие были русскими, все плохие — жи́дами. В жи́ды, таким образом, попадали все враги Герасима, в том числе и немцы, все трусы на свете, в том числе и русские, и лейтенант Кавун, который в армии заставлял Герасима таскать свои "жи́довские чемоданы", и какой-то Пеночкин из райсобеса, которому жалко "его жи́довских денег" для настоящего русского героя, и даже собственная жена Герасима, которая его бросила и пустила по-миру, и если бы не добрые русские люди, не жалеющие своей русской трудовой копейки /спасибо, дочка! Бей жи́дов, дочка, дай тебе Бог здоровья, дочка!/, то он пропал бы совсем, замерз под забором, подох где-нибудь в подъезде, "под вонючей жи́довской лестницей".

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

В последний раз я попал в пионерский лагерь после девятого класса. Мне было шестнадцать лет, однажды я уже пробовал бриться, рыжевато-черный мох покрывал мои костлявые скулы, и детишки из младших отрядов называли меня "дядя". Нет, конечно, это было не то, что прежде, — другое лето, другие люди, другие отношения. Нас было четверо, взрослых парней, и сильнее всех мальчишеских развлечений тянул нас к себе соседний коттедж. В нем жили девчонки из старшего отряда и там, возле их веранды, вблизи их окон мы топтались и ржали, как жеребцы, приходили с надеждой, уходили с сожалением, а всего-то была там одна наша сверстница — остальные все еще дети, шантрапа да и только.

Зато эта одна была уже вполне сложившейся девушкой, с гладкой розоватой кожей, плохо поддающейся загару. Была она как-то отключена от всего окружающего, или, может быть, включена во что-то иное: ходила медленно, говорила мало, отвечала с заметным опозданием.

Нас четверых она вблизи не видела — и было это хорошо, было это справедливо, создавало такую стабильную тягу, без надрыва, без риска, без зависти и злости и всего, что сопутствует... Звали ее Тамара...

Она нас не замечала, и было это прекрасно, потому что если бы и заметила — то уж точно не меня. Так я тогда привыкал уже чувствовать, к такой постоянной мысли себя готовил. /Вновь наступает время произнести слово "комплекс". Вот оно уже и произнесено. Но — в скобках, только в скобках. Терминология — коварная вещь, она дарит, но она же крадет. Вот однажды мы соблазнились, произнесли, к примеру, "информация" — еще запинаясь, еще не вполне уверенно, еще не опытные на пути порока — и сами не заметили, как продали душу дьяволу, и вот уже ходим изо дня в день этой новой до-

рожкой, и ни сведения, ни справки, ни сообщения, ни известия — ничего из этих старых друзей для нас не существует, только одна информация, информация, информация, асфальто-безликая информация.../

Вот я иду по улице, мокрый тротуар, сырость такая тревожная в воздухе, мелкий дождик — любимая моя погода. Я прогуливаюсь, у меня хорошее настроение. Сзади идут девушки, смеются, прыскают, хохочут. "Не надо мной, — говорю я себе твердо. — Не надо мной, просто так, мало ли почему". Но в глубине души знаю точно: надо мной, над чем же еще, что еще тут смешного на улице? Я "выравниваю" походку — и начинаю идиотски размахивать руками, не попадая в такт шагам. Я выпрямляю спину, перестаю глядеть под ноги — и попадаю ногой в лужу, грязная вода заливает туфель, забрызгивает мою штанину и портфель идущего рядом старичка. Старичок ругается, я молчу, краснею и потею, хромаю и хлюпаю мокрой ногой. Девушки обгоняют меня, оглядываются, смеются. Знакомые, из соседней школы. Теперь-то уж точно, теперь — никаких сомнений...

Этого горя хватит мне на неделю. Если, конечно, его не догонит что-нибудь поновее.

Вот я стою перед зеркалом... Впрочем, тут все ясно, тут — как у всех, описано много раз...

Вот мы делаем уроки с лучшим моим другом Ромкой. Я объясняю ему разложение многочлена, он слушает внимательно, смотрит мне прямо в глаза, а когда я замолкаю, задумчиво произносит: "Знаешь, почему над тобой смеются?"...

Все. Конец, больше мне не жить. Это ясно, как день. Все вокруг плывет — даже приятное какое-то чувство, уютное, как болезнь. Ромка продолжает что-то говорить, и я вдруг с большим опозданием осознаю, что ведь он имеет в виду мои собственные рассказы, мои ему сокровенные жалобы, а не какие-нибудь свои отдельные сведения. Я осознаю это — но все равно, оттого, что он это сказал и как сказал — однозначно и определенно, как об очевидном факте, от всего этого остается непоправимое уже ощущение объективности.

"...А ты не смотри такой овечкой, понял? — начинаю я слышать его слова. — Ты понахальней, они это любят. Ты потренируйся, а я проверю. Ну-ка, прищурь немного один глаз. Нет, лучше правый, а то у тебя здесь бородавка, она выделяется. Ну вот, другое дело!.."

На первом же школьном вечере я испытываю свое новое лицо. Вечер совместный, девчачье-мальчишечий, зал полон, девочки стоят шпалерами, одна нога — на перекладине шведской стенки, белый фартук обнимает выпирающую коленку.

Мой серый костюм мне мал, на рукавах пиджака выпущен запас, на брюках — тоже, брючины протерты, и даже есть на одной ма-а-ленькая заплатка — из того же материала, тщательно заглаженная, выравненная стрелкой, но вблизи, конечно, вполне заметная.

Я прохожу, перекосившись, неестественно повернув голову — даже теперешними, нахальными глазами я все еще не могу смотреть и м прямо в лицо.

"Ты чего шуришься, глаз, что ли, болит?" — это Любка Новикова, из нашего дома, костлявая некрасивая девочка с сухими бледными губами. Дура, вот дура! "Ничего, успокаиваю я себя, это ничего не значит, она же не понимает, у такой некрасивой — не может быть женского взгляда..." Эту страшную мысль, этот вырванный с мясом кусок чужой души, я походя кладу на свои раны, одному лишь человеку на свете сочувствуя — себе самому.

Но те же буквально слова: "Болит, что ли?.." — говорит мне и Марина Левина, прекрасная Марина, Марина Мнишек, как зовут ее в нашей мужской школе. У этой не может быть неженского взгляда, только женский взгляд и может у нее быть!

Вместе с отчаянием появляется и чувство облегчения. Ничего не получается, но ничего и не надо делать. Я свободен от всех обязательств, я могу встать в привычный свой угол и наблюдать за танцующими. "Гостинцы-прянички для милой Танечки, от друга Ванечки..." Разрешили поставить Лещенко — как меняются времена! Или кто-то не досмотрел, и ребята в радиоузле проявили самостоятельность? "От друга Ванечки

медовый дар..." И вот я вижу друга моего Рому, он танцует с Мариной Мнишек, он говорит, она увлеченно слушает — так, по крайней мере, кажется — глядит ему прямо в рот. Один глаз у него прищурен, нижняя губа презрительно выпячена — точно такое лицо, какое должно было быть у меня...

Пусть знает Танечка, что помнит Ванечка... Медовый дар... Говорит пожар...

Или вот еще одна сцена. Буквально — сцена, эстрада школьного зала, протертые пружинящие доски, я на них стою. Объединенный хор все тех же двух школ репетирует популярную песенку. У меня обнаружились способности /немедленная суетливая мысль: как использовать, что выгадать?/. Я не просто хор, я солист. Песня у нас с инсценировкой, этакая поющая картина. По ходу пьесы я должен выйти из рядов, обнять за талию солирующую партнершу и под умолкнувшее фортепьяно пропеть ей: "дорогая!" — есть там такое обращение в середине куплета. Партнерша у меня — что надо, бойкая стройненькая девица в черном вельветовом сарафане.

Репетируем. Начали! Я пою вместе с хором, потом выхожу вперед, вытягиваю руку в сторону, сквозь тонкий вельвет прикасаюсь к чему-то теплomu и живому, проверяю на ошупь: правильно, талия! — и падаю в обморок... То есть нет, я, конечно, не падаю буквально на пол, но застываю в полном оцепенении, в глазах у меня глухая чернота, я ничего не чувствую, кроме вращения Земли — то ли вокруг Солнца, то ли вокруг собственной оси.

Ничего не чувствую, ничего не говорю и уж, конечно, ничего не пою.

Руководитель хора, отхохотавшись, назначает другого солиста — с менее выдающимися способностями, но с более устойчивой психикой. /"Без комплексов", — скажут через двадцать лет./

Или вот еще... Впрочем, так можно до бесконечности. Я думаю, все давно уже ясно. Возвращаемся. Пионерский лагерь.

Перед самым закрытием лагеря — военная игра. Желтые против синих. Сорвал нашивку — значит, убил. Мы, старички, вроде бы в командирах, но отрядов нет — каждый за себя. Глупая детская игра, но — затягивает.

Я иду по лесу, продвигаюсь осторожно, пригибаюсь, прячусь за кустами, стараюсь не шуметь. У густой ольхи останавливаюсь — дальше открытая поляна, она в низине, лес с трех сторон спускается к ней пологими уступами, с четвертой стороны — узенькая речушка, за ней снова — кустарник и лес.

И на этой поляне, "на речке, на речке, на том бережочке" — сидела Тамара, одна, вполоборота ко мне, переплетала косу и смотрела на воду.

Интересно, что никаких таких мыслей не возникло сначала у меня в голове, а только — в какой она "армии", в синей или желтой...

Я медленно спустился и подошел к ней вплотную. Она обернулась, взгляд ее был немного встревоженный, но увидев меня, она, кажется, успокоилась и даже слегка улыбнулась. И — ничего не сказала, так, словно я уже целый час стою рядом с ней на этой поляне. Она была в черных трусах и черной футболке, сидела на небольшом пригорке, прямо перед собой вытянув голые ноги, крупные, белые, с альбиносовой розоватостью... Но это я увидел потом, а вначале, первое, что заметил, — на черной футболке, слева, на четко обрисованной груди — аккуратно, как брошка, приколотую желтую нашивку, бесконечно враждебную моему синему сердцу...

"Почему на груди, — подумал я машинально, — должна же быть на плече?"

Она почувствовала мой взгляд, проследив от начала до конца, прошла по этой ниточке, увидела свою грудь, не торопясь, внимательно так ее рассмотрела и ласково, кончиками пальцев, сверху вниз, сверху вниз — погладила...

Мы были с ней одни на этой поляне, но даже если бы и нет, если бы весь наш лагерь с барабанщиком и горнистом пришел нас приветствовать и сводный хор первого и второго отрядов

пропел "это чей там смех веселый" — ручаюсь, что и тогда ничего бы я не увидел и не услышал. Это было странное, уже бывавшее со мной — менее остро, но случавшееся раньше состояние, впрочем, так мощно, с таким реальным ощущением не-реальности происходящего, с такой полной отдачей сна, безо всякой даже попытки контроля — нет, такого еще не было никогда.

Я стоял как бы в круге света, в глубоком колодце из цветного шума, все вокруг было расфокусировано для зрения и слуха, там был хаос, распад, никак не организованное пространство. Здесь же, внутри, резкость изображения превышала все возможные пределы, доходила до физической боли, становилась уже не резкостью, а резью: на глазах у меня выступили слезы.

Она молчала, но не выглядела застывшей, это было такое ее существование, как теперь говорят, "экзистенция", она выглядела вполне живой, я бы даже сказал, оживленной — как-то чувствовалось, что именно о ж и в л е н и е выражают те немногие движения, которые она, при ее темпераменте, делала: положила ногу на ногу — одну белую ногу на другую белую ногу; оперлась левой рукой в пригорок позади себя; правая оказалась свободной, она уже погладила грудь, теперь освободилась и лежала, отдыхая, на бедре, немного выше колена.

Коса у нее так и осталась незаплетенной, волосы были светлые, почти рыжие, лицо белое и чистое. Глаза оказались зеленые — прежде я ни у кого не замечал цвета глаз, тут же ясно увидел и отметил: зеленые — большие, огромные, слишком большие — до ощущения каких-то периферийных, ничем не заполненных пустот. Так мы жили с ней на этой поляне и прожили долго, целую жизнь — три или четыре минуты сценического времени.

Двадцать раз я срывал с нее эту дурацкую нашивку — то легко и воздушно, ничем не отметив необычности ситуации, отцеплял, не коснувшись, как бы с руки или с плеча; то накладывал всю ладонь, прижимал, наваливался и рвал, как зубами; то ласково и заботливо обводил вокруг, не одними

пальцами, не одной только кожей, но всем телом, нутром, душой — где она там находилась — ощущая... — что? — В том-то и вопрос!..

Наконец она что-то сказала — я не расслышал или не понял. Она повторила. Я понял: "садись". Я сел, вернее, упал. Я был весь в испарине, колени у меня дрожали.

Это было — как игра в "замри — отомри", как снятие колдовства, как взмах руки гипнотизера. Я упал на траву, полежал с минуту расслабившись, глядя в небо и в сторону, потом вынул платок из кармана брюк, вытер лицо и глаза, спрятал платок, покрутил еще головой, посушил лицо на ветру — и лишь после этого повернулся к ней.

Она сидела все в той же позе — времени прошло ведь очень немного — и смотрела на меня со спокойным любопытством.

Осмотрела всего, улыбнулась чуть кривовато, двойной таковой улыбкой, с загибом, еще немного выждала — спросила: — Ну что, воюешь?

Я кивнул головой, как последний идиот.

— Что же ты не стреляешь? Я же твой враг?

Она снова погладила нашивку, тем же движением, сверху вниз, обводя всю грудь, как бы обрисовывая ее контур. Это произвело на меня такое же впечатление, но теперь я вынес все гораздо легче: я уже не стоял на подгибающихся ногах, я сидел полулежа, у меня была твердая опора — в буквальном смысле слова. Я прохрипел в ответ что-то несуслазное, вроде "жаль мне тебя" или "поживи еще"...

— А я вот сама не хочу больше жить — кончаю самоубийством.

Она наклонилась вперед, вынула булавку и протянула мне желтый лоскут. Я машинально поискал глазами на прежнем месте — как будто он мог быть в двух местах одновременно — и так же машинально вытянул эту тряпочку из ее пальцев, осторожно, не прикоснувшись к руке — осуществил, так сказать, наиболее мирный вариант.

— Ну вот, — она подтянула согнутые в коленях ноги и занялась своей косой. — Скажешь, добыл в смертельном бою. Орден тебе дадут. За отвагу.

— За отвагу... медаль... дают, — ответил я тупо, по отдельности и с трудом произнося каждое слово /Господи, та к и е слова, да еще с трудом — стоило ли?/ Голос все еще не давался мне, чувствовались в горле какие-то спазмы.

— Ну, да, медаль... — она уже думала о чем-то своем, переключилась на обычное свое отсутствие. Ситуация была исчерпана, мне нужно было встать и уйти. Конечно, другой бы на моем месте, — думал я. — Но что, что он сделал бы, этот другой? Что можно сказать, когда не о чем говорить? И откуда они, другие, берут эти самые слова? Вечная загадка, никогда мне ее не разгадать! Поговоришь с таким — ну, пустое же место, два-три глагола, остальное — междометия. А как дойдет до дела — глядишь, сыплет и сыплет, не останавливаясь, как какой-нибудь конферансье. Да, другие... Единственный поступок, на который я сейчас находил в себе силы, был чисто негативным: я не вставал и не уходил. Впрочем, нет, еще кое-что я сделал: снял с плеча свою, синюю нашивку, сжал в кулаке вместе с ее желтой, скомкал и смял эту жовто-блакитную тряпицу, смял и выкинул прочь. То есть, это мне так хотелось, это я так подумал "выкинул прочь". Они были легкими, отлетели метра на полтора и лежали порознь /особенно было обидно, что порознь/, ярко отсвечивая в невысокой траве. Но я не смотрел в ту сторону и старался видеть лишь то, что хотел: символ нашего с ней единения. Теперь мы были одни на свете /на том свете, подумал я/, никто вокруг не имел уже к нам отношения, и мы не имели отношения ни к кому /только друг к другу — красиво, не правда ли?/.

— Теперь нас с тобой похоронят, — произнес я в конце концов чуть более свободно. "Нас с тобой" — такое маленькое удовольствие я уже мог себе позволить.

"Дурак!" — должна была она ответить. Или: "Тебе что, сказать больше нечего?" Или, в крайнем случае, промолчать — у нее это очень естественно получалось. Но она оставила косу, посмотрела прямо перед собой и сказала с той самой, особой своей кривоватой улыбкой /горьковатой! — понял я вдруг/:

— А я в Москве как раз напротив кладбища живу...

— Какое кладбище?! — чуть ли не крикнул я, приподнявшись, и кощунственная дрожь моего восторга пронизала это печальное слово, оно не означало уже ничего из того, что должно было означать, и если и не было радостью, то — предчувствием радости, тем светлым порогом, через который только перешагнуть...

— Петровское, — сказала она, и я оказался на той стороне. Петровское кладбище! — жизнь была прекрасна.

3

Помню, мы только что переехали, был летний ровный теплый день, мы с мамой раскрыли окно, она шила, я читал, включили радио. Передавали какую-то новую песню, это была очередная однодневная погремушка, ничем решительно не примечательная.

Вначале, наверное, я не очень-то слушал, хотя теперь мне трудно это представить — так четко звучит в моей голове мелодия припева, так ясно слышу я голос того певца... Но вдруг, с какого-то момента ритм мелодии стал сбиваться, новые звуки прибавились к аккомпанементу, стали растягивать его и замедлять, и вот уже слышно было только это грозно нарастающее, астматически-жесткое дыхание.

Я посмотрел на маму. "Похоронный марш, — сказала она замечательно беззаботным, облегчающим жизнь голосом. — Ничего особенного. Закрой окно и не обращай внимания..."

Но духовой похоронный оркестр заполнял уже всю улицу, всю комнату, вибрировал стеклами окон и чем-то еще внутри меня, какой-то холодной инородной мутью, растекавшейся по животу и подступавшей к сердцу. Странное дело — слова песни из приемника были четко слышны на этом фоне, но тут же пустые эти скорлупки теряли привычное свое значение, или, вернее, привычное отсутствие значения — и приобретали новый смысл, непостижимо зловещий.

Меня покосило и повело, почти против желания я оказался на улице. Там уже собралось достаточно зрителей — возле каждого дома стояла кучка. Первый раз в жизни я видел по-

хоронную процессию. Она состояла из нескольких четко разделенных групп, и так я и воспринял их, по отдельности, беспорядочно перепрыгивая взглядом от одной к другой, в каждой группе видя сначала то, что ожидал, а потом уже то, что было на самом деле. Ожидал же я увидеть — смерть. Слово это, исходившее из моего потрясенного сознания, из моего страха, из моей растерянности, я втыкал острием в самую гущу идущих людей, и оно каждый раз отскакивало обратно, но и каждый раз — в измененном виде, все большую свою часть оставляя там.

Сперва я увидел оркестр, он-то, казалось бы, и нес в себе самое страшное, во всяком случае именно он это страшное вокруг себя распространял. Но нет, напрасно я в мучительной лихорадке перескакивал от одной фигуры к другой, от одного металла к другому металлу, от одних рук и губ к другим рукам и губам — здесь, в звуковом центре, были только отзвуки того самого, истинный центр находился где-то в другом месте.

Взгляд мой метнулся вперед, там несли венки. Скорбный запах хвои, смешанный с каким-то еще, тягучим и едким запахом, проплывал вместе с этой группой по узкой нашей улочке. Да, тут уже это присутствовало, и как мало его ни было, это было оно и ничто иное. Оркестр мог быть просто оркестром, инструменты могли быть просто инструментами, но венки были только венками и ничем иным. Да, похороны. Да, смерть... Но главное было еще не здесь.

Еще одна группа людей, и в глубине, жирным пунктиром между черных колеблющихся фигур — что-то яркое, красное, длинное... Вот! — подумал я и похолодел. Но нет, это была только крышка.

Гроб двигался следом, он показался мне непомерно большим, красная сборчатая ткань его обивки излучала сияние, взбитая пена цветов заполняла всю внутренность, и только в самом конце, на белой подушке виднелась маленькая человеческая голова. "Зачем подушка? — пронеслось у меня. — Чтобы мягко?"

Почему-то я был уверен, что это будет мужчина. Но это была женщина и не старая, возможно даже, что и совсем молодая. Я увидел ее только мельком — слишком много людей теснилось вокруг, и такого страху натерпелся я до этого момента, что теперь, центральную эту картину воспринял если и не спокойно, то, по крайней мере, довольно трезво, безо всяких там видений и крушений. Да, вот оно, подумал я удовлетворенно, вот самое страшное. Страшнее этого ничего уже не может быть. Но я ошибался. Самое страшное было не это.

Следом за гробом двигалась еще одна, последняя группа — и там-то все и происходило, там-то и концентрировалось несчастье, там-то и жила смерть.

Двое мужчин поддерживали пожилую женщину, фактически они несли ее на плечах, каждый обхватил ее рукой свою шею, и ноги ее лишь изредка касались земли, не опираясь, а только безжизненно перескакивая носками туфель с булыжника на булыжник. Женщина билась в их объятиях, голова ее моталась далеко от тела, справа налево, потом сверху вниз, затем снова — справа налево. "Нет, нет, нет, нет!" — кричала она непрерывно, никаких больше слов, только это одно, без остановки. Другая женщина, тоже немолодая, подруга или сестра, суетливо протискивалась к ней, ловила ее голову и совала рюмку с лекарством. На момент она вроде бы успокаивалась, выпивала послушно, затем откидывала голову назад, резко, как выкидывала — и начинала снова: "Нет, нет, нет, нет!.."

А сразу же за ней везли на коляске парализованного старика. Руки его лежали на подлокотниках, лицо было совершенно неподвижно, но глаза открыты, и из этих старческих, глубоко в подлوبي сидящих глаз непрерывно текли слезы — шедший рядом высокий седой мужчина вытирал их ему время от времени большой белой тряпкой с неподрубленными краями: я отчетливо видел белые нитки, застрявшие на его плохо выбритых щеках.

Вокруг еще много шло плачущих — в одиночку и группами, но эти двое были несомненным центром несчастья. Те, вокруг, еще принадлежали жизни — эти не имели к ней отно-

шения. Те еще могут утешиться — этим уже не суждено. Горе, горе, горе — живая смерть двигалась мимо меня! — теперь, наконец, я это почувствовал. Вся процессия, все ее отдельные части, выстроились в единое целое. Звук смерти — запах смерти — вид смерти — и, наконец, самая смерть, сущность ее для живущих...

Я вернулся в дом. Оркестр еще играл за окном, "нет, нет, нет, нет!" — слышался крик женщины, и песня по радио еще звучала...

— Ты чудак, — мама зыкрыла окно. — Что ты расстраиваешься? Мало ли людей умирает, нельзя же за всех расстраиваться! Ты здесь часто такое увидишь, привыкай, ничего страшного.

— Почему часто? — спросил я глухо.

— Здесь же кладбище рядом, на соседней улице.

— Какое кладбище?

— Петровское...

4

Разумеется, нашлось много общих знакомых. Да и друг друга мы, конечно же, где-то видели. Хотя вряд ли — я бы запомнил. Впрочем, мог и не запомнить. Мало ли какие могли быть обстоятельства...

— Ты к Риве на танцы не ходишь?

Вот именно! Как же это я не хожу к Риве на танцы? Кто же туда не ходит? "И жук и жаба", как говорит мама.

Менее всего этот двор был приспособлен для танцев. Там не было ни одного квадратного метра, не вздыбленного камнями, не изрытого канавками и ложбинками. Когда-то здесь что-то зачем-то копали, так и оставили, все утопталось, отвердело и узаконилось. Теперь казалось, что иначе и быть не могло. "Во дворе, где каждый вечер все играла радиолка..."

Радиолка стояла у Ривы на подоконнике, кто хотел, приносил пластинки.

Под эту музыку мы бродили парами, спотыкаясь, никакого ритма нельзя было соблюсти, это были не танцы, а ходьба

по пересеченной местности. Но тем яснее и определенной становился второй план, то, что в нормальных танцах прячется за ритм и слаженность движений. Кому-то с кем-то хотелось ходить, кому-то с кем-то не хотелось — это проявлялось сразу и четко, ошибки не могло быть. Одни пары увядали и рассыпались еще до конца пластинки, другие соединялись и расцветали на целый вечер, их уже никто не пытался разделить.

Непременная уборная в углу двора источала тонкую вонь, туда "через нас" посторонней быстрой походкой то и дело проходили недовольные жильцы. Никто, впрочем, сколько помню, не скандалил и не протестовал.

Подошедшего к окну сменить пластинку обнимал за шею душный воздух тесного жилого нутра, там царил другой, сложный, многослойный запах, — котлеты и жареная картошка были в нем только одними из составляющих.

Полная Рива, чуть уже рыхловатая, но еще хоть куда, высывалась порой из окна, выставляла рядом со своей радиолой кудрявую черную голову и большую грудь в шерстяной кофте, смотрела долго и с пониманием, улыбалась и кивала головой. Иногда затем она выходила, "брала" какого-нибудь из мальчиков и ходила с ним несколько танцев подряд, водила по двору, тесня и обнимая. Мне, впрочем, такая неприятность ни разу не выпадала...

Муж Ривы, Яшка, кривоногий и маленький — добрейшей души человек, выскакивал стремительно на какой-нибудь быстрый танец, тогда все становились в круг, и он отплясывал, взбрыкивая и выкидывая потешные коленца — ко всеобщему смеху и удовольствию...

Как же мне не бывать у Ривы, конечно, бывал, но нет, не помню — может быть, дни наши не совпадали?

Я уже не думал о теме для разговора, общая тема бесконечным пространством лежала передо мной и края ее загибались за горизонт. Мы были из одного района, с одной площадки, из одного куска жизни, здесь, в этом чужом лесу, далеко от нашего общего дома, мы чувствовали себя родными

друг другу людьми. Кинотеатр, столовая, автобаза, рынок, клуб завода пожарных машин...

Вовка Ляхов, Марина Мнишек, Ленка Железнова, Мишка Калачов...

— А Герасим, — спросил я в общем потоке. — Как тебе нравятся Герасим?

Что-то прошло по ее лицу — я даже усомнился на секунду, стоило ли упоминать это имя. Может, он обидел ее когда-нибудь? Но взглянул еще раз — нет, кажется, все в порядке. И только опять эта легкая горечь в улыбке, этот милый загиб рта, чуть заметный такой уголок...

"Я люблю ее, — сказал я себе. — Я люблю ее!" — именно так я сказал, такими точно словами. Других я тогда и не знал.

Я уезжал на следующий день, она оставалась на вторую смену. Я не стал с ней прощаться — боялся что-нибудь нарушить, рассыпать, изменить. Фантастическое вчера оставалось внутри меня нерастраченным и чистым, где-то там, в глубине моей души, жил этот день счастливой и безоблачной жизнью, и ничто ему не грозило, он был защищен от случайностей моей властью и моим желанием.

В окно автобуса мне был виден ее коттедж, но ее там не было, только мелкие прочие девочки прыгали и развлекались вокруг. Наконец... — о, Господи, наконец! — она вышла, с распущенными длинными волосами, с тазом в руках /мыла голову, подумал я, замирая от нежности/, выплеснула воду, постояла еще с минуту /эмалированное коричневое днище упиралось в ее ногу на уровне колена/ — и ушла в дом, не оглянувшись. "Да, да, подумал я, правильно, она тоже понимает, она тоже так думает, она тоже боится испортить. Скорей, скорей, пусть трогается автобус, скорее, дальше отсюда, ближе к Москве. Там, там, там — возродится эта радость, там она продолжит замершую свою жизнь. Пройдет только месяц...

Странное это было чувство: чем дальше я от нее уезжал, тем ближе к ней становился.

Так мне тогда, по крайней мере, казалось...

Только в метро, поднимаясь по эскалатору, я вспомнил, что не знаю ее адреса. Я вдруг весь вспотел и ослаб, чемодан чуть не выпал у меня из руки. На улицу я вышел другим человеком: худым и сутулым еврейским мальчиком, снова ни в чем доподлинно не уверенным, опасавшимся всего.

Петровское кладбище тянулось на целую улицу, занимало одну ее сторону, а на другой стороне было много домов, и в каком именно — поди угадай! Нельзя же было обойти все. "Здесь живет Тамара Карелина?" — "Нет, не здесь". — "Здесь живет Тамара Карелина?" — "Нет тут никакой Тамары!" — "Здесь живет Тамара Карелина?" — "Нет, ты ошибся, мальчик". — "Здесь живет Тамара..." — "Здесь, здесь!" — "...Карелина?" — "Какая, какая? Нет, Иванова Тамара здесь живет, это точно. На работе сейчас, скоро придет, ты подожди, посиди..." "Во-о-н парнишка ковыляет, черненький такой, видите? Это он по домам ходит и все какую-то Тамару спрашивает". — "Свихнулся, что ли?" — "Может, и свихнулся. Он и весь какой-то дерганный, странный такой парень..."

Нет, это не для меня. Остается ждать — встречу же я ее когда-нибудь, не может быть, чтоб не встретил! Да вот — танцы у Ривы! Как же я мог забыть? Я буду ходить туда каждый вечер. Два раза ее не будет, но на третий — она непременно появится. Я буду ждать, буду стоять один у окна и менять пластинки. "Что с тобой стряслось, — спросит Рива, — ходишь, как на дежурство, но уже третий день не танцуешь? Ты что, поспорил с кем-нибудь? Или зарок какой-нибудь дал?" — "Зарок, — скажу я. — Точно, зарок, как ты угадала?" — "Ну, ну, это было нетрудно. Не скажу много, но немножко я вашего брата знаю. Все вы, мужчины..." — И так согреет меня это слово в дурацкой испытанной фразе, такие сильные крылья прицепит мне на лопатки, так по-новому посмотрю я Риве в глаза... И она вытащит мягкую руку из-под груди и погладит меня по щеке — аккуратно, внимательно, ласково и подробно — совсем не как мать... Медленно, медленно, тридцать градусов, двадцать градусов, еще десять, еще пять — повернусь я к ней спиной, я буду уже не тот, иной, изменившийся, что-то чужое присвоивший и несущий в себе, как свое, что

делать, раз мне это надо!.. Я уже буду сильным и точным и не стану крутить головой, как в тумане, не стану пялить глаза во все стороны, а взгляну прямо туда, на угол сарая, на обитый ржавым железом угол, откуда сейчас, сию минуту выйдет Тамара. Она будет в розовом — нет, в голубом платье, и так оно будет ее облегать, и такие длинные белые руки, только чуть розоватые — впрочем, в сумерках я этого не разгляжу... Она сразу увидит меня... нет, лучше не сразу, пусть она пройдет нерешительно, слегка смущаясь, внутренне выстраиваясь, еще только готовясь как-то себя вести, так пройдет середину двора, слегка спотыкаясь на выбоинах и камнях, — и тогда уже вскинет глаза и увидит... И — "Ого, — скажет, — Саша, вот это случай!" — "Здравствуй, — скажу я, — это не случай. Это я тебя ждал". — "Ждал? Вот молодец! Как же ты знал, что я приду?" — "Знал. Я все про тебя знаю..." Впрочем, нет, эту пошлость я не скажу. Просто: "Знал". — "Я тоже рада тебя видеть, — скажет она. — Я жалею, что осталась на эту вторую смену. Такая была тоска..." — /"Без тебя", — чуть не скажет она./ — Я возьму ее за руку... Тут я должен перевести дыхание... Я возьму ее за руку: "Потанцуем?" — "А ты любишь танцевать?" — "Люблю, — скажу я, вложив в это слово особый, дважды усиленный смысл. — Люблю! Ты видишь, если б не танцы, мы могли бы с тобой никогда и не встретиться". — "Страшно подумать!" — скажет она...

5

"О! Наконец-то!" — глаза у мамы были тревожные, красные, лицо невыспавшееся. — "А что случилось? Ты что, волновалась? Да что со мной могло..." — я осекся. Дело было не во мне. Что-то действительно произошло. В доме переполох. Яков ходит в пижаме, роется в шкафу, открывает и закрывает чемодан. "Вторник, — подумал я. — Будний день..." На меня он даже не взглянул. "Дай ему, — бросил он маме, — пусть он отвезет..." — "Он устал? — полусказала, полуспросила мама. — Пусть, может быть, чаю попьет?..." — "Нет, вы послушайте! — взвился он гнусавым фальцетом. — Нет, вы послушайте,

что она говорит! Мне уже — все, мне конец, мне крышке, а он будет сидеть и жрать. Что ему, плохэ? Что ему, жалке? Я буду лизать гомно, а он будет пить чай. Гит! Хорошо! Погладь его по головке..." — "Ну, ладно, — сказала мама решительно-примирительным тоном. — Ну, ладно, перестань. Сейчас он поедет".

Сейчас я поеду. Я уже приехал. Теперь я поеду. Куда? "К Марии Иосифовне, — сказала мне мама, подчеркнуто твердо, так, чтобы он слышал и не очень-то на нее обижался. — Ответь вот этот чемодан. Не задерживайся. Туда и обратно".

Больше я не спрашивал, что случилось, не спросил и что лежит в чемодане, не спросил ни о чем и у Марии Иосифовны, а только поддакивал ей и пожимал плечами, так, как будто знаю не меньше ее, но не хочу говорить лишнее. Опять, как и прежде, все разумелось само собой. Молчаливый всеобщий наш договор действовал — я был не в силах его нарушить.

Всю ночь они с мамой не спали, ждали, когда придут. Пришли уже под утро, я проснулся от стука в дверь и как-то сразу понял, что просыпаться не следует. Я лежал, повернувшись к стене, старался ровно дышать, и меня не потревожили: обыск был чисто формальный, они знали, что он предупрежден. Две соседки были понятыми, сидели молча, подавленные. Те трое ходили по комнатам, переговаривались — в общем, набралось достаточно много народу. Он держался спокойно, не суетился, не причитал, ни о чем не просил. "Одевайтесь", — сказали ему. Он оделся, обнял маму, сказал "Не волнуйся" — и вышел.

Как это так получилось? Я не радовался его уходу. И не потому, что мне было жаль, это потом уже, через годы, стал я его жалеть — я не мог радоваться, потому что не должен был радоваться.

Моего отца /так говорили соседи, так говорили ребята во дворе, так говорилось у нас дома чужим, непосвященным людям, посвященным в его — не в мои — дела/, моего отца

постигло несчастье — нельзя же было этому радоваться. Это был единственный и бесспорный запрет — а запретов я не нарушал.

Разумеется, и свободу, которую я вдруг получил, и легкость, которая воцарилась у нас в доме, я не мог не почувствовать и не оценить — но и в этом я не давал себе воли, жизнь моя должна была отравляться мыслями о бедственном его положении — и она этими мыслями отравлялась.

Участвовало ли здесь ну хоть самую малость некое доброе начало, находило ли пищу, развивалось ли? Вряд ли. Не думаю. Ни на секунду не чувствовал я мучений Якова, никаких его страданий не мог вообразить, а только знал доподлинно, что ему плохо, а раз плохо — то не хорошо. То есть, раз человеку плохо, то не может быть от этого кому-нибудь хорошо. Мне, например. А то, что мне самому было плохо при нем, — это теперь тоже стало запретной темой, и не темой даже — а мыслью. Удивительно! Даже в сердце своем не мог я нарушить.

Впрочем, это можно истолковать по-разному. Не таковы ли, скажем, вообще истоки морали? Как там у Ницше? Стадо боится личности и защищает себя моралью. Я — стадо, он — личность. Ну, я, допустим, стадо. Но он?! А что ж, почему бы и нет? Очень даже может быть!..

Но так или иначе, а легкость я ощущал. У себя дома я стал, как у себя дома: спал спокойно, читал за обедом, паял и клеил прямо на столе /разумеется, сняв скатерь, постелив клеенку, положив фанерку/... Ко мне приходили. И девочки тоже. Это были из нашей компании, свои, домашние девочки, но все равно — раньше об этом и думать было нельзя. Хотя и то справедливо, что немногим раньше я и сам не очень-то об этом думал...

Каждый месяц двадцать третьего числа мы с мамой отвозили в тюрьму передачу. Двадцать третьего принимали на букву "Р". В этот день я на всю катушку растревлял свою грусть и свое сочувствие — не для внешнего вида, а искренне, по душе. Но была эта грусть беспредметна, а сочувствие это было без-

лично, как в день поминаения усопших — не каких-то конкретно, а так, вообще... И вот что еще любопытно: при всей пресловутой своей впечатлительности я не запомнил ни здания тюрьмы, ни дороги к ней от метро, никого из людей, ожидающих очереди, ни самой процедуры приема. Помню только запах — колбасы и яиц. Да еще лоток перед окошком, широкий лоток, обитый белым оцинкованным железом. Надо было упереться в него животом, перегнуться и вытянуться вперед, и толкать и подсовывать пакеты и банки, и протискивать их в глубину окна, пока хватало кончиков пальцев.

Показалось мне в эти дни, что и мама тоже, не столько что-нибудь там такое, сколько честно и добросовестно выполняет свой долг. У меня же и долга перед ним никакого не было, никакой вообще между нами не было связи.

Не было — но вдруг она обнаружилась.

Посадили не только его одного, загремело все руководство его артели, а среди остальных — и Яшка, Ривин чудаковатый муж.

В пионерских лагерях еще не окончилась вторая смена — а танцы у Ривы прекратились навсегда.

6

Не могу сказать, чтобы я "жил одной этой мыслью". Много всяких других бродило у меня в голове. И не то, чтобы та была ярче и резче очерчена. Скорее наоборот, это был неяркий, слегка расплывчатый рисунок — но занимавший все пространство сцены, от одной кулисы до другой, расписной задник, на фоне которого все и происходило. Другие события, другие чувства поглощали мое внимание, и казалось порой, что все, что ничего того уже нет — но расслабишься на секунду, соскользнешь в сторону взглядом, и смотришь: вот оно, тут, присутствует постоянно.

Но что за рисунок, какие картины, или чувства, или мысли, или что там еще?.. Трудно сказать. Странная светловолосая девочка, с которой я не проговорил и часа, белые ноги, черная футболка, и это неотвязное движение рукой... Что-то все же

произошло, какое-то прошлое случилось в моей жизни, это была как бы модель взрослого состояния: с прошлым, которое важнее и ближе настоящего. Я переходил в другой разряд.

Кое-что я, конечно, рассказал другу Ромке, не все, но кое-что рассказал /что там вообще-то было рассказывать?/, и Ромка выслушал с интересом, покивал головой, посерьезнел, даже чуточку потом помолчал, но от похлопывания по плечу все же не отказался. Это уж было так заведено, ритуал такой, где роли распределены раз и навсегда. Тут тоже нарушать не полагалось. "Все ясно, — сказал Рома, — я тебя понимаю. Но, знаешь, — плюнь! Ну ее на х... Мало ли баб по улицам ходит! /Он уже твердо и уверенно говорил "баб". / Хочешь, пойдем сегодня на веранду, подцепишь себе, кого надо, лучше твоей Тамарки в тыщу раз". /Черт меня дернул сказать ему имя! /

Почему-то я легко поверил его словам, и так и представлял себе танцверанду, где еще ни разу не был: волшебная музыка, полумрак и целая толпа приветливых девушек, каждая из которых ну не в тыщу раз, но что-то вроде Тамары. С такой, другой Тамарой я готов был ей изменить.

Полумрака не было — ярко светили огромные лампы, обнажая мою растерянность и полную беззащитность. Волшебную музыку изображал один аккордеонист — по средам у оркестра бывал выходной, сегодня была среда. Я сразу же вспомнил лагерь, не Тамару, а именно лагерь во всей его для меня совокупной прелести. Запахло общей столовой, хлебными шариками в супе... Это чей там?..

Полной свободы тогда еще не было: на один "современный" танец полагалось два балльных. Аккордеонист держался за место и не отступал от инструкции. Все эти падеспани и краковяки разрезали центр и сгущали кольцо вдоль стены. В центре, взявшись за руки, трепыхались девушки. На вальс кидались решительно все, но делали вид, что это танго. Когда же действительно наступала очередь танго или фокстрота /это называлось "медленный танец" и "быстрый танец"/ — вся огромная круглая клетка начинала кишеть и роиться, шарканье

ног заглушало музыку, а запах пота стоял, как в спортзале во время занятий по вольной борьбе.

Хотелось домой, но уйти я не мог. Почему? — не знаю. Все потому же. Я пришел сюда, чтобы познакомиться, и должен был это делать. Познакомлюсь — тогда уйду, а раньше никак нельзя.

Понемногу я осматривался. Наврал мне Ромка. Ничего похожего на... известное нам лицо не наблюдалось. Попадались изредка симпатичные, но и к ним не испытывал я никакого чувства. Впрочем, все они были заняты, все, что достойно внимания, было уже этим вниманием окружено. И заботой — чтоб не увели. Ромка, впрочем, нашел себе что-то приличное и ходил вокруг этой своей находки, и тоже — лелеял ее и берег.

Я же танцевал с какой-то дурнушкой, даже с двумя, устроил себе разнообразие и каждой застенчиво врал, что учусь в институте. Этому нельзя было поверить: они и не верили. Говорил я с трудом, по одному выталкивая наружу сухие и шершавые слова.

Они стояли рядышком, прижимаясь друг к другу, держась под ручки, непрерывно разговаривали, оживленно жестикулируя и артикулируя, так, что могло показаться, будто никто им, кроме самих себя, не нужен, будто они специально пришли на эту веранду, чтобы встретиться и наговориться. Я вставлял какое-нибудь слово, не глупее и не умнее ихних, такую же отвлеченную, ничего не означающую муру, они делали вид, что не слышат, смотрели исключительно друг на друга, и даже если замолкали, и даже если хихикали на что-то, имеющее быть остроумным, то как будто хихикали и замолкали в ответ друг другу на какие-то свои, а не мои слова.

Одна была потемней и повыше, коротко остриженная, с частыми и крупными веснушками, сплошь покрывавшими невыразительное лицо, худую шею, длинные костлявые руки... "и все остальное", — бочком проносилось у меня в голове. "Хоть бы, дура, рукава надела длинные..."

Другая, посветлей и пониже, полная, но не круглая, а какая-то при этой полноте угловатая, кубическая, несла на спине своей длинную косу, но даже коса ее не украшала, казалась

отдельной и лишней, я старался на нее не смотреть. Когда я танцевал с ней, поместив правую руку ей на спину, коса терлась о тыльную сторону моей ладони, ползала по ней, как толстая волосатая змея, ладонь чесалась, хотелось схватить, оторвать и выбросить.

Да что там говорить — обе они были мне ненавистны!

"Так вам и надо! — повторял я про себя. — Так вам и надо..."

Но когда, ближе уже к концу, вполне взрослый мужчина, лет, может быть, двадцати пяти, вдруг подошел к нашей группке и уверенно протянул руку полненькой — я растерялся вместе с ней и вместе с ней обрадовался: как-никак это было событие, выведившее ее /и меня/ из замкнутого круга одиночества и уродства, ставившее нас с ней в какой-то, пусть минимальный, но все-таки — ряд.

Но вернулась она одна, он даже не проводил ее до места, и все осталось по-прежнему, и продолжалось так еще с полчаса: я танцевал то с одной, то с другой, иногда лишь, для разнообразия — два раза подряд с одной и той же. Все же с полной было лучше, как-то теплей и уютней, она была приветливей, чем ее костлявая подруга, и даже к косе ее я в конце концов привык, так что перестал ее замечать. Да и они обе понемногу привыкли ко мне, перестали, как говорит Рома, строить из себя... и хотя в основном по-прежнему обращались друг к дружке, кое-что перепало теперь и мне. Я же радостно подхватывал каждое брошенное мне слово, проглатывал его, не пережевывая, не разбирая вкуса, и немедленно выдавал в ответ благодарную тираду, конец которой растворялся и таял в пустоте.

Танцы кончились, я пошел их провожать, бодро махнув рукой Ромке, заботливо склоненному к своей, но урвавшему все же миг, чтобы посмотреть в мою сторону. Друг есть друг, ничего не скажешь!..

В расшатанной рыхлой толпе прошли мы по темному парку к выходу. Тротуары блестили: пока мы топтались там на пыльных досках, здесь, в открытом мире прошел дождь. Посвежало. Жаль, на мне не было пиджака, я бы мог накинуть

его на плечи одной из них. Это бы нас, наверное, сблизило. Меня — и... Ну, допустим, полную... но нет, она бы не согласилась, не захотела бы обижать подружку. А если бы даже и согласилась, все равно, как бы я сам открыто показал свое предпочтение одной и пренебрежение — другой. Хотя, конечно, и в пиджаке идти было бы неудобно, когда они обе — в легких платьицах... Вот задача... Дурак! — опомнился я. — О чем ты, нет же никакого пиджака!.. Все в порядке, если не считать того, что холодно... Я взглянул на часы — немецкую штамповку, купленную за бесценок перед девальвацией — половина двенадцатого. Как же им родители позволяют так поздно?.. Этим вопросом я заслонил другой: как же позволяют мне? Мне никак не позволяли, и сегодня опять был один из тех немногих случаев, когда я нарушал. Я обрекал себя на неприятности. И ради чего, Господи, ради чего?! Я оглянулся, наконец. Мы шли уже довольно долго, минут пять или семь, они — держась под руку и разговаривая, я — чуть в стороне и молча. Я как-то забыл заговорить после выхода из парка, теперь же было поздно, всякое вступление выглядело бы неуместным. И слава Богу, — подумал я. — Сейчас попрощаюсь — и бегом домой. Может, еще как-то обойдется. Наверняка обойдется, если успею до двенадцати. Двенадцать — это граница. Домой, домой, хватит с меня, сегодня я свое отработал...

...И я раскрыл уже было рот, чтобы попрощаться, но тут же закрыл его — и вовремя. Странное такое слово, чрезвычайно важное для меня сочетание звуков начало вдруг выплывать из дурацкого их щебетания. О чем они говорили? О девчачьих своих делах, о каком-то дешевом и красивом платье, которое "всем идет" и фасон которого взят у...

— У ка-кой Ка-релиной? — спросил я, дрожа от холода. — У Тамар-ки Карелиной? /Никогда, даже мысленно не называл я ее Тамаркой, но здесь — животом почувствовал уместность./

— У Тамарки, — удивилась полная. — А ты ее знаешь?

— Знаю, — ответил я. — Конечно, знаю, мы с ней в лагере были вместе. /Дурак, а институт как же? Но они даже не заметили./ А вы что, живете с ней или учитесь?

— Да нет, — сказала она, — мы в разных школах. А Маринка, — она кивнула на подружку, — в одном доме с ней живет...

— Где, где, в каком доме?!

Зло, очень зло посмотрела на меня Маринка, и я не обиделся, а в первый раз ее пожалел.

— Ишь ты, в каком доме! Много знать будешь — составишься.

"Умница!" — усмехнулся я про себя, а вслух сказал:

— Да нет, это я так. Я знаю, где, — напротив кладбища, верно?

— Верно, сказала Марина, отворачиваясь. — Если знаешь, так и нечего дурака валять...

"Напротив" — означало для меня — с другой стороны улицы, там я и предполагал искать, если бы когда-нибудь решил. Мое счастье, что не пришлось этого делать, потому что дом, где жила Тамара, находился не напротив, а рядом с кладбищем, на той же стороне, и хотя от кладбищенской решетчатой стены его отделяло изрядное пространство: палисадник, пустырь, развалины церкви — все же это была не улица, и этот именно дом я бы никак не принял во внимание.

Знал ли я, видел ли его раньше? — Господи, да тысячу раз! Это был длинный двухэтажный барак, топырившийся в обе стороны множеством разнотипных крылечек. Квартиры там были с отдельными входами, небольшие, каждая — на две-три семьи.

— Ну вот, — сказала Марина, — вот мое крыльцо.

Мы остались с ней одни, толстая наша коса десять минут назад юркнула в подъезд кирпичного дома на Потемкинской. Эти последние десять минут были мучительны для нас обоих, мы шли рядом, то касаясь друг друга локтями, то расходясь далеко в стороны, она что-то напевала, я что-то бормотал, шагал неуклюже, спотыкался на ровном месте, лихорадочно ворошил в мозгу все известные мне интонации и, назначив себе наиболее, как казалось, подходящую, разворачивал жиденький диалог на ближайшую и естественную тему: не страшно ли жить возле кладбища. Я открывал рот, я закрывал рот, я

слушал с бесконечным вниманием, я готовил ответ, я мычал, вспоминая веселые шуточки о покойниках — и от этих шуточек тошнило меня, как от английской соли, и я говорил уже почти беззвучно, почти не размыкая губ, так что она по нескольку раз переспрашивала, но это было как раз хорошо, потому что на это уходило время, а оно теперь шло не зря: мы приближались к дому Тамары...

—...Ну вот, — сказала она, — вот и мое крыльцо. А Тamar-кино — вон, последнее, знаешь, наверно? Она на втором этаже, а я на первом.

— Знаю, — кивнул я не глядя. — Она на втором... А ты, значит, на первом? Та-ак, ну что ж, буду к тебе теперь в гости ходить. Можно?

— Конечно, можно. Мама не ругается, когда приходят.

— Да? И часто к тебе приходят?

— Бывает. Мы у нас танцы устраиваем. Комната большая, места много.

— Хорошо. Приду. Когда вы теперь?..

— В субботу. Мы по субботам обычно...

Через два дня, подумал я. А Тамара приедет через две недели...

— Хорошо, — сказал я. — Приду.

Как это так мы с ней подружались? Общая, что ли, мука нас объединила? Так сказать, тяготение друг другом перешло в тяготение друг к другу? Нет, тяготения к ней я не испытывал, но и раздражения тоже не было, даже теплота какая-то появилась. Ко мне, как будто, хорошо относились, а я не был этим избалован, да и она, видимо, тоже. Мы стояли с ней по обе стороны крыльца, каждый опирался на свое перило, никому нам уже не надо было идти вместе, ни минуты времени не должны мы были друг другу, не обязаны были длить его и тянуть, заполнять пустоты, зачернять пробелы, могли оборвать разговор в любом месте — и оттого не обрывали, а стояли вот так и говорили запросто, радуясь взаимному расположению.

Я предложил пойти завтра в кино. Она согласилась с готовностью. Я сказал, что сейчас уже поздно, что холодно, что ей

нужно идти, — она опять согласилась, попрощалась вкрадчиво, но не уходила, стояла молча, смотрела в сторону. Я, кажется, догадался, придвинулся, потянулся губами к ее щеке, безо всякого желания, просто зная, что так надо. Она сразу поняла, пробормотала "что ты, что ты...", но не отодвинулась, а повернула голову, так что я попал на уголок ее рта. Ну вот, свершилось!.. Губы ее были сухи и безжизненны.

7

"Ничего, — сказал Ромка, — не унывай! Мымра, конечно, первый сорт, что и говорить, — но ничего, морду можно полотенцем закрыть, а остальное у них у всех одинаково..."

Совсем недавно он узнал, каково это остальное. Опыт его был небогат, но делился он им с большим удовольствием. Надо отдать ему должное — он провел всю операцию с искусством и хладнокровием. Заранее выбрал объект, рассчитал все этапы, разделил задачу на ряд примеров и каждый выполнил с высокой точностью. Она была продавщицей в овощном киоске, и разглядеть ее привлекательность и готовность мне лично помешали бы вечно грязные ее руки, замызганный передник и хриплый голос, с утра до вечера выкрикивающий ругательства. Ему же это все не помешало, он — разглядел. Он обхаживал ее ровно три дня, каждый день приближаясь на определенное заранее расстояние, на четвертый день принес четвертинку водки и поставил на прилавок. Она молча кивнула, открыла ему дверь, закрыла ставни, и в душевой полутьме, в прелой картофельной пыли, сидя на ящиках из-под яблок, обмениваясь редкими репликами, они распили четвертинку и закусили зеленым огурцом. Затем она встала, побросала в узкий проход позади прилавка кучу мятых пустых мешков... и тут уж Ромка не скупился на подробности. И как она то, и как она это, и что говорила, и что приговаривала, и как потом хвалила его и упрашивала на ней жениться и обещала золотые горы, а он сказал, что подумает, но чтоб она к нему пока не приставала...

Итак, дружок мой поднялся на ступеньку выше, перешел в другую весовую категорию. Я оставался далеко внизу, и если иногда все же он, прищурившись, замечал меня невооруженным глазом, то проявлял теперь несравнимо больше доброты и отеческой заботы: его преимущества были неоспоримы.

Я понял это окончательно, когда однажды мы втроем — я, он и Марина — пошли гулять в парк, в детский парк, примыкавший к кладбищу, а вернее, расположенный на старой его территории, — мы еще помнили, как оттуда вывозили памятники и как бульдозеры разравнивали площадки над могилами. Развлечений здесь было немного: зимой — каток и горы, летом — игротка и тир. Мы ходили по аллеям, пили воду, сидели на скамейке. И если в прежнее время друг мой Ромка не упустил бы случая — мымра, не мымра — показать себя с наилучшей стороны, а меня, соответственно — с наихудшей, не обидеть, не унизить, ничего плохого не сказать — но наметить незаметно, как бы случайно, два-три направления разговора, где бы я попадал в тупик, упирался в глухой забор, стучался лбом и растерянно останавливался — и где он проходил бы с легкостью, проскальзывал в одному ему ведомую лазейку, или, того лучше, красиво и с разбега перепрыгивал и шел дальше как ни в чем не бывало — то теперь он вел себя тишайшим и скромнейшим образом, выказывал мне различные знаки уважения и даже в тире мазал по всем мишеням и в конце концов отказался стрелять, сокрушенно махнув рукой, хотя стрелял-то он, вообще говоря, хорошо.

Результат, впрочем, получился тот же, что и всегда. "Не нравится мне твой Ромка, — сказала мне она на другой день. — Дурак какой-то. Он что, учится вместе с тобой?.." И тут же стала о нем подробно расспрашивать. О чем было говорить — он нравился ей бесконечно!

Я уличил ее в этом и воспользовался поводом, чтобы поссориться. Она быстро становилась мне в тягость. В нашем общении не было ни малейшей остроты — я ожидал вначале что со временем она появится, но она не появлялась. Ни остроты, ни интереса, да к тому же еще — она мешала мне думать о Тамаре...

Казалось бы, наоборот, я многое мог от нее узнать, они ведь были соседки, но никакой разговор на эту тему с ней не получался. Обычно такая болтливая, она становилась на редкость немногословной.

"С кем живет? — переспрашивала она и делала длинную паузу, и поправляла куцую свою прическу, и перепрыгивала через лужу, изображая легкость и грациозность, при этом кривоватые ее ноги неестественно выгибались в разные стороны и левая забывала догнать правую, она неловко топталась на месте, выравнивая походку, брала меня под руку и, наконец, отвечала: — С матерью живет. Нет отца. Не знаю. А тебе зачем знать?" Следующий свой вопрос я оставлял уже на следующий день. Но это было еще хуже, потому что получалось — каждый день об одном и том-же, уж лучше бы я сразу выжал из нее все. "Та-ак, — тянула она на этот раз бесцветным, задуливым своим голосом, — та-ак, значит... Ну и ну!.. Вот это да..." и далее в том же духе. Этого я не мог выдержать, вскипал, она обижалась и, вместо того, чтобы воспользоваться ее обидой, и естественно все оборвать, я начинал убеждать ее, успокаивать — и всячески продлевать эту муку.

Только однажды она сама заговорила на эту тему.

— Наша-то Алексеевна, знаешь? — не живет уже у нас в доме.

— Какая Алексеевна?

— Ну как же, твоя Тамара ненаглядная.

— Что, что такое? Что — Тамара?

— Ничего. Не живет в нашем доме — и все.

— Как, почему?

— Переехала. Мать ее замуж вышла. За офицера.

— А где же она живет?

— Узнаешь, если захочешь, мне-то зачем? — Она начинала злиться, жалела уже, что затеяла разговор. — Девчонки говорят, видели ее у Самарского. Обойдешь все дома в том районе, расспросишь.

Мне стало не по себе от ее нечаянной пронизательности. Не могла же она знать, что когда-то я и вправду об этом подумывал. Но тогда мне не пришлось ходить по домам — я встретил

ее, Марину. Теперь не хватало сказочного повтора. Вот я пойду на танцы, познакомлюсь с первой попавшейся девушкой — это будет новая соседка Тамары... Но зачем мне это чудо, что я с ним буду делать? Буду встречаться с той новой, обязательно скучной и некрасивой, буду изредка видеть Тамару с другими и ждать, когда она в третий раз переедет...

Нет уж, не надо ни подруг, ни соседок. Упустил — значит, не судьба.

8

Так случилось, что это мое освобождение совпало с освобождением Якова. Энергичные жены, заседавшие у нас в субботние вечера, сумели купить кого надо /уголком уха я слышал что-то о семидесяти пяти тысячах, но, возможно, это была только часть общей суммы/, и вот уже моя мама ждала назначенного часа, чтобы ехать за ним, и нервно ходила по комнате, поблескивая прекрасными своими глазами, и с заметным внутренним усилием, как заглохший мотор, разогревала и поддерживала в себе давно забытую радость.

Как всегда, она здорово переживала, и можно было опасаться, что весь ее запал иссякнет задолго до встречи, на которой и надо будет его демонстрировать.

Что касается меня, то я был не более искренен, даже, может быть, еще менее: вполне возможно, что ей-то его приезд сулил хоть какую-нибудь радость; мне же — одни огорчения. Тем не менее я не позволял себе огорчаться, как несколько месяцев назад не позволял себе радоваться. И тоже — делал над собой усилие, стараясь припомнить все хорошее, что могло иметь к нему отношение, но, как назло, таких его черт, не то чтобы приятных, но хотя бы нейтральных, набиралось в моей памяти не более двух-трех, и не то что на образ — на простенькую схему не мог я ничего наскрести. Зато всякая горькая муть поднималась со дна от этих усилий и крутятся, как смерч, оставляла на дне воронки совсем иную фигуру, противоположную той, что привиделась мне в моих добродетельных снах. И вот, не успевал я опомниться, как уже наслаж-

дался реальностью этой фигуры, забыв подумать, хорошо это или плохо, любоваться четкостью ее линий, чуть дрожавших под напором моей ненависти — такого странного, такого сладкого чувства, так давно я его не испытывал!..

— Был ли я к нему справедлив? — спросите вы сегодня. — Нет, — отвечу я вам сегодня же, — я не был к нему справедлив. — Так ли уж был он ужасен? — спросите вы вслед за этим. — Нет, — отвечу я вам, не помедлив, — нет, он не был ужасен. Жалкий сутулый еврей с крючковатым носом... Да: скупой!.. Но, уж это просто смешно, это просто нелепо, это, я бы даже сказал, унижительно — заводить сегодня всерьез разговор о скупости, и не так мы просты, чтобы вовремя не понять, что скупость Якова — есть лишь внешнее проявление чего-то иного, лишь некий конкретный символ, лишь поверхностный результат, доступный простому глазу, за которым стоит целый ряд глубинных процессов, связанных с самыми тонкими...

9

Гладкая прямоугольная восьмиэтажная коробка из крупных панелей в мелкую шашечку; тугие стеклянные двери туда-сюда; толпа робеющих родственников; соки, компоты, свертки, букеты; мокрая, расползающаяся бумага: полиэтиленовые мешочки были еще в новинку...

Мы прошли беспрепятственно: он считался тяжело больным, к нему был выписан пропуск. Мы поднимались в лифте на пятый этаж, мама смотрела прямо перед собой, в свое отражение на пластиковой стенке, и молчала. Я тоже — не знал, что сказать, перекладывал из руки в руку ее тяжелую черную сумку, в которой были такие же, как у всех, компоты, свертки, пакеты, никому уже не нужные, хотя тогда еще в этом не было полной определенности.

Я давно уже жил отдельно от них, две недели тому назад у меня родился сын, и сейчас каждый мой день до краев был заполнен заботами, насыщен подробностями и деталями той странной, напряженно-праздничной жизни, где нет мелочей, а

все одинаково важно. Маленький крикливый зверек, странным образом имевший ко мне отношение, оказался в центре мира, все же остальное, и люди и предметы, играло лишь вспомогательную роль, было лишь средством для его существования и исправного функционирования. И если раньше, когда я жил для себя и отчасти для другого, эта самая часть взаимно перекрывалась и была оттого незаметной и вроде бы как и не обязательной, — то теперь жизнь для другого становилась безоговорочной необходимостью, я уже не мог не отдавать свою часть, он не мог ее у меня не брать — от этого зависело все.

Он лежал на спинке, работал беспорядочно своими тонкими паучьими лапками с красными, подопревшими пальчиками, — и орал... Я ложился рядом с ним, рассматривал вблизи сморщенное его личико и не уставал поражаться его сходству с моим. Не может быть, — думал я часто. — Не может быть, чтобы так точно! — Я — это я, никто не может быть мной, кроме меня. Но ведь вот же, пожалуйста! Как же так? Да, да, не во всем, да, да, он будет меняться, пусть так, пусть с любыми мыслимыми оговорками — но вот я смотрю на него и вижу: это я! Как-то сразу, в несколько дней, я почувствовал, что получил, наконец, самое главное, то, чего мне еще не хватало: и смысл жизни, и бессмертие, и стабильную, верную точку опоры, ни от чего не зависящую, никаким не подвластную случайностям...

И так я был полон этими заботами и этими мыслями, что ни для чего другого не было во мне места. И вот теперь это место потребовалось, приходилось потесниться, и вот уже я стоял в лифте, вертел сумку с компотами и не очень-то понимал, где я и зачем.

"Возле третьей палаты", — сказали в справочном. Он сидел на раскладушке в коридоре, и то, что сидел, а не лежал, было еще страшнее. В лежащем человеке не так видна беспомощность, лежит себе и лежит, то ли думает, то ли спит, то ли умер уже... Здесь нет почти никаких вариантов позы: ну руку

на грудь положить, ну голову вбок повернуть. У сидящего возможностей несравнимо больше...

Он сидел на раскладушке, и еще издали, еще до всяких всматриваний и оценок, пронеслось у меня в голове: труп! Именно так должен был бы сидеть труп, если бы его посадили. Но уже за десяток шагов начинало слышаться его страшное астматическое дыхание, хриплый свист, автономный, отдельный, бессмысленно холостой, скользящий туда и обратно без всякого зацепления.

Он сидел, опершись на подушку, лежать он уже не мог — задышался, грузное его тело глубоко прогибалось матрас, так что колени приходились на уровень груди. Руки были безжизненны, ногти на пальцах посинели. Простынь под ним была черна от какой-то невиданной блевотины — никто не подходил к нему, никто не убирал.

Он услышал нас, приоткрыл глаза, поймал промежуток между свистами и прошептал: "Драсти". — "Ну как?" — спросила мама, и он пошевелил немного губами и чуть-чуть качнул головой. Это должно было означать, что плохо.

Жить ему тогда оставалось два дня, и умереть он должен был не от астмы, которая мучила его уже много лет, и не от холецистита, который ему ошибочно диагностировали врачи, а от самого обычного аппендицита, который эти врачи проглядели.

"Все там будем, — сказал мне патанатом, — годом раньше, годом позже — какая разница!" — "Никакой, — ответил я ему, задыхаясь от злости. — Но вы-то наверняка предпочитаете позже". — "Ну, ну, — сказал он мирно, — ничего не поделаешь. Человек же не прозрачный, кто его знает, что у него внутри!.." — "Господи, — закричал я, — да что вам, душу, что ли, предлагают лечить? Уж кишки-то можно было прощупать? Что проще — аппендицит! Просто поленились — и нет человека!" — "Все правильно, — сказал он, отдавая мне справку о смерти /я взял ее нерешительно, сначала взглянув на его руки/. — Все правильно, только — не по адресу. Мы-то ведь не лечим, это

они лечат. — Он кивнул в сторону больничного корпуса. — То есть они думают, что лечат. Но мы-то, анатомы, хорошо знаем: вылечить человека невозможно. И пытаться не надо — все равно обязательно умрет. И поэтому мы не лечим, а режем то, что осталось. Уж вреда, по крайней мере, никому не приносим, смею вас уверить... Будьте здоровы, молодой человек! Не болейте!" — он широко распахнул передо мной дверь, и я вышел наверх, к похоронному автобусу, в котором уже стоял желтый дощатый, с дверными ручками по бокам...

Но тогда он был еще жив, сидел на раскладушке, вернее, находился в сидячем положении, и мама бросилась к сестрам — за простынями, уколами, кислородными подушками...

Мы остались с ним одни — если можно так сказать: весь коридор был уставлен разнокалиберными койками, и в раму его раскладушки упиралась тумбочка соседа. Но все же мы были с ним одни, как-то это сразу почувствовалось — и он поднял веки и взглянул на меня — не вообще взглянул, а именно на меня — и губы его снова зашевелились. Я не мог ничего разобрать, сказал на всякий случай "да, да", и кивнул головой. Но ему было важно, чтобы я понял, я увидел с ужасом, как слезы выступили у него на глазах — никогда раньше я не мог бы представить его плачущим, может быть, это было от чрезмерного физического напряжения, может быть — от отчаяния, но возможно, что и от другого. Он заметно напрягся, стал дышать еще громче, но и те звуки, которые он сознательно и с таким трудом пытался издать, стали складываться в нечто определенное, и вот — "Как там маленький? — услышал я, содрогнувшись. — Как маленький?.."

Что-то я бормотал в ответ, поспешно и благодарно, но он уже обмяк и потух и вряд ли меня слышал...

И вот, все, что я написал о нем раньше, — было ложью, хотя и правдой. Все это было ложью, так как было только частью правды. Я писал так, будто и сейчас, в момент писания, жил

в том далеком гремени, будто и сейчас не знал этой последней сцены, этого его последнего ко мне обращения, на которое он истратил свои последние силы. А ведь я уже знал, когда писал. Как же я мог?!

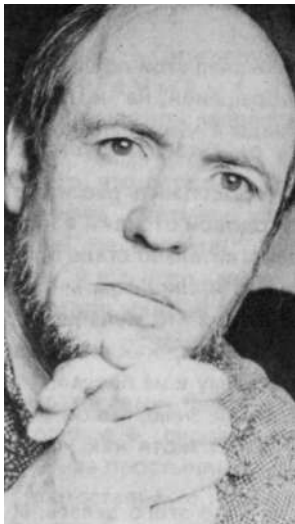
И теперь я должен вернуться назад и продолжить рассказ о том, как он приехал домой после полугодовой отсидки и как стало мне плохо жить на свете /а мне действительно стало плохо/; как уже ежедневно повторял он, что я слишком много ем, и снашиваю обувь, и протираю одежду, и что куча денег, на меня истраченная, никогда уже не окупится; как я рвался бросить школу и уйти из дому, но жалел маму и не бросал...

И опять я буду рассказывать так, будто не знаю, что он уже умер, как не знал в то время, что он умрет /хотя как же не знал? — не думал!/.

И вот есть у меня убеждение, что не надо этого делать. И как ни готов я к этому рассказу, как ясно ни чувствую я будущую его органичность, как ни соответствует он общему моему настрою — я не буду его писать вовсе и даже уточнять не стану, почему. Скажу только, что литература для нас хотя и главное, но все ж таки не единственное развлечение.

Есть и другие игрушки.

Окончание в следующем номере.



Юрий ДРУЖНИКОВ

ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ

1

В винном отделе, отгороженном стеной из ящиков с пустыми бутылками, дабы алкаши не омрачали взора более сознательной и реже пьющей части населения, как всегда в конце рабочего дня, ползла змея из человеческих тел до самой двери.

— Крайний?

— Так точно!

Кравчук поморщился, но занял пост за аккуратным старичком, бережно прижимающим к груди четыре пустых четвертинки.

Змея волновалась: водка была на исходе, а дело двигалось медленно. Или казалось, что медленно, потому что состояние у Кравчука весь день было озорное.

В отличие от большинства удачников, Альберт Кравчук мог праздновать день рождения только раз в четыре года, когда на календаре появлялось двадцать девятое февраля. В такой год он родился тридцать шесть лет назад, и с тех пор,

стало быть, ждал дни рождения в четыре раза дольше, чем прочие граждане.

Утром на работе он, естественно, никому не заикнулся о событии. Но расчетчица Камиля, которую все, упростив ее татарское имя, звали просто Миля, по неосознанному чувству заглянула в табличку, прилепленную у нее в столе на дне ящика. И точно: в графе "Наименование" значился Кравчук А. К., в графе "Должность" — экономист, в графе "Дата рождения" — 29 февраля.

Как Камиля действовала, всем известно. Она вынула из сумочки кошелек и в качестве уполномоченной месткома по вопросу дней рождения и похорон побежала по комнатам отдела оптимального резерва запчастей. Не только резерва, но и самих запчастей не было, тем не менее премии начальство отдела получало исправно и даже держало переходящий вымпел победителей соцсоревнования их ведомства, составляющего важную часть управления, входящего в министерство. Премии премиями, а собирать деньги уполномоченной было не просто. Склерцов, если сказать, что собираешь по рублю, сам вынет трояк. Шубин, зам. его, будет долго скрести по карманам и попросит зайти позже. Думает, Камиля забудет, но не на такую напал.

— Вам каждый год, а ему раз в четыре, — прямо ляпнет она. — Так что не жмитесь!

Шубин — трус, проглотит.

Рядовая масса несет по полтиннику. Куренцову, которую недавно муж бросил, Миля незаметно обойдет: у нее двое детей. За командированных займет в кассе взаимопомощи, а в следующий раз они отдадут вдвое больше — за старое.

Перед обедом Камиля сказала Альберту, что у нее сегодня разгрузочный день и очередь в буфет ей не занимать.

— Ты вроде бы в порядке, — оглядел ее Кравчук, будто не понял хитрости.

Камиля поправила юбку.

— Мне двадцать три. С половиной. А мать расплнела в двадцать пять.

Вернулась Миля через час, молча положив перед Кравчуком сверток.

Пока змея поглощала алкоголь, Алик открыл портфель. В нем лежал этот сверток с тремя галстуками. Галстуки широкие, как еще недавно было модно, и к каждому платок. Этих галстуков Кравчуку хватит до гроба, тем более, что он их не носит. Они душат. Надевал он галстук три раза в жизни: защищая диплом, в ЗАГС и на похороны отца.

— Экономически ты нецелесообразно родился, — Камила с улыбкой наблюдала примерку. — Даришь вчетверо больше, чем получаешь.

— А чего же мне — день зачатия отмечать?

— Детей находят в капусте, — объяснила она, хлопнув длинными ресницами... — Слушай, правда, что у тебя жена еврейка?

— А что?

— Ничего! Из-за этого тебя и не повышают. Ты бы в партию вступил, перекрыл...

— Да я храплю сильно. На собрании не высижу.

— Ужас! Как можно любить храпящего мужчину? Кстати, с вас причитается!..

Нужно было сгонять за бутылками и тортом. Все придут со своими стаканами, запрут дверь и вернут с лихвой расходы на подарки. Но у Алика денег только на одну бутылку сухого.

Старичок выставил на прилавок четыре четвертинки и забрал одну полную. Он повертел пальцем головку, проверяя ее неприкосновенность, и сунул пузырек в карман. Продавщица стучала монетой по прилавку, торопя змею.

— Гурджаани! — выпалил Кравчук, став ее головой.

— Еще чего?

— Больше ничего.

— Еще, говорю, чего? Гурджаани нету!

— Нету? А ведь было...

Кравчук видел в окне гурджаани, но утром вино не продавали.

— Было да сплыло! Думай быстрее!

— Тогда это... алжирское, — Алик указал на ряд бутылок с одинаковыми красными этикетками.

Он двинулся к метро, но на углу остановился у объявления. Обмен их комнаты в коммуналке на однокомнатную обсуждался давно. И хотя фантастических денег для неофициальной уплаты разницы не предвиделось, Евгения настойчиво искала варианты, и Алик посматривал на щиты.

Ему больше нравилось читать объявления, которые его не касались. Он их запоминал и цитировал. Камила смеялась:

— Боже, сколько у нас идиотов!

Евгения сердилась:

— Делать тебе нечего!

Она была практичной, а это большое достоинство и огромный недостаток. Он читал:

"Ребенку требуется няня, говорящая на английском и французском. Жилищные условия имеются. Адрес: Тбилиси, проспект Руставели..." Языков Кравчук не знает и няней к большому начальнику в Тбилиси не потащится.

"Киностудии "Мосфильм" требуются монокли, веера, трости, табакерки, фальшивые драгоценности девятнадцатого века." Фальшивых драгоценностей у Кравчука тоже не было.

"Утеряны золотые часы "Заря" с браслетом — память погибшего мужа. Нашедшего прошу звонить для получения благодарности." Часов Кравчук в последнее время не находил, а нашел бы — продал, чтобы раздать долги.

"Студия клоунады при Московском государственном цирке объявляет набор. Прием до первого марта."

Альберт хмыкнул, что-то теплое вспыхнуло в сознании. Он переложил портфель с тяжелой, как бомба, бутылкой алжирского в другую руку, еще побродил глазами вдоль щита. Все меняющиеся почему-то предлагали худшее и хотели получить лучшее, а ему надо было наоборот. Попалось бы сейчас подходящее, Евгения воскликнет:

— Ох! Самый лучший подарок к твоему рождению!

Зря квартиры не разыгрывают в спортлото. Большая политическая ошибка. Глупо играть с государством в азартные игры. Альберт все-таки экономист. А так бы покупал. Вероятность ничтожна, но все же...

Он уже стоял сжатым в метро и ехал на свою Преображенку. Надо было бы выйти на Дзержинской, заскочить в "Детский мир" и купить подарок Зойке, но он протолкается битый час и все равно ничего не купит: не игрушки, а утиль.

Голод торопил домой. Но на пересадке у эскалатора был затор, как всегда в часы пик. Он еще лет двадцать назад читал, что скоро в Москве будут монорельсовые дороги и воздушные такси. Он проглотил слюни.

2

Ключ заело в скважине замка, который давно надо было заменить. Евгения выбежала в коридор.

— Режь хлеб, все готово!

Держа вымазанные руки на весу, она чмокнула его в щеку. Зойка прыгала вокруг на одной ноге. Их часто нет, блаженство. В коридор выкатилась колобком Зойка.

— Заяц, не подходи, я холодный. Новости в школе?

Зойка прыгала вокруг на одной ноге.

— Одна новость отличная, и одна посредственная.

— За что посредственная?

— За устный счет. Нас по очереди директор проверял... Мама говорит, я замедленная, как ты!

— Я? В семье два экономиста, а дочь не умеет считать...

Алик протянул ей бутылку.

— Не урони.

По случаю отсутствия соседей они выпили и ели жареные пельмени на кухне. Пельмени они ели всегда, только способ приготовления менялся. Потом Евгения отнесла Зойку спать. Альберт хотел налить еще.

— Ты меня споил. Я — в стельку! В прошлое рождение, — глаза у нее ехидно засветились, — тебе было тридцать два. А сейчас? Неужели тридцать шесть? Смотри, сколько стало седых волосков! Мне надоело их у тебя выдергивать.

Упрекая Альберта в постарении, Евгения утешала себя. Хотя Плехановский они кончили в один год, ее день рождения был осенью. Ближайшие полгода она могла считать себя моло-

же. С возрастом у нее становилось больше иронии. Она совершенствовалась в поиске черт старения у других, отвлекая внимание от себя.

— Тридцать шесть, — продолжала она. — Следующий раз будет сорок.

— А через раз — сорок четыре.

— Все чего-то добиваются, а мы?

Этим "мы" она деликатно смягчила укор. Но направление его было ясным.

— С чего ты взяла, что все?

— В газетах пишут...

— Верь больше!

Он решил, что лучшего времени ее обрадовать не будет.

— Кстати, завтра я кладу Склерцову заявление об уходе.

Евгения смотрела на него с недоверием.

— Шутка?

— Серьезно.

— Хаимов?! Неужели Хаимов не трепался тогда? Значит, сдержал обещание и берет? У него командировки заграничные... Что я говорила? Хаимов — деловой. Чувство долга у него есть.

— Чувство долгов...

— Не смейся!

— Он же за тобой увивался.

— Чепуха! Ничего не было. Был только ты.

— Жалеешь?

— Перестань! Хаимов пойдет еще выше, пока не узнают, что его папа был Хаймович.

— Откуда ты знаешь? Значит, все же было?

— Привязался! Да он это всем евреям рассказывал.

— Что-то я не слышал...

— Русский, вот и не слышал. Ну, сто восемьдесят они точно отвалят, а может, и двести. Пылесос купим... Нет, вы подумайте! То-то смотрю, ты такой тихий...

— Нет, я не к Хаимову.

— Не к Хаимову?! — Глаза ее расширились.

— Мама! — крикнула из комнаты Зойка.

— Зоя, спи немедленно! Я занята... Альберт, не терзай душу, куда?

— В студию клоунады.

— Наконец-то нашли, кому подчинить экономику!

— Ничего не подчинить! Я учиться. На клоуна.

Она обошла вокруг стола, руку приставила к уху, отдавая честь, стукнула пятками.

— Я с тобой, как верная подруга!

— Туда женщин не берут.

— Ты что, серьезно?

— Серьезно — не берут.

— Я не о том: ты — серьезно? А зарплата?

— Не спрашивал...

— Не спрашивал?!. А тут платят сто пятьдесят. И с национальностью у тебя все в порядке. Дадут старшего...

— Понимаешь, я еще в детстве мечтал. Ну, раз в жизни рискнуть. Так ведь и умрем в трясине... Достань сигареты в портфеле.

— Рискнуть? — донесся ее голос из коридора. — А это что?

Она вернулась с галстуками, разметававшимися у нее по рукам.

— Что?! — повторила она с отчаянием, тряхнув галстуками. — Твой реквизит, или как там называется?! Это же наши! Хоть бы на польские разорились. Безвкусица такая, что держать противно!

Она швырнула галстуки на стул. В глазах стояли слезы.

— Ну, чего, чего? — растерялся он.

— Ты забыл, как стал ходить по вечерам играть в хоккей? Сколько денег вылетело на амуницию? А что говорил? Что чувствуешь силы войти в сборную. Полтора года я с Зойкой на руках помогала в нее войти. А результат?

— Ты же знаешь, у меня реакция — будь здоров! Для вратаря — незаменимое качество!

— Да тебя на матчи дальше трибуны не пустили!

— Пустили бы! План у меня изменился...

— На балетную студию в этом дурацком Дворце культу-

ры?! "У меня все данные! Отсюда уходят в профессионалы!" Не ты два года твердил?!

— Я же не виноват, что бездарности в искусство пробиваются легче. Они нахальнее, им нечего терять. Зато знают, что приобретут.

— Ты у нас талант!

— Они сами говорили, что у меня гибкость!

— С твоим ростом! Тоже мне Лиэпа!

— Слушай, Евгения! Клоунада — я понял — абсолютно серьезно! Ну, не подыхать же мне за полторы сотни в этой артели с подонком Шубиным! Гори они синим пламенем, запчасти, которых все равно нет, одна лиэпа.

А мне опять жить одной и на тебя не рассчитывать? А после еще что-нибудь, и снова абсолютно серьезно? Это называется мужчина, кормилец семьи... Оглянись! Вон Софа — у нее муж замдиректора комиссии. И как живут?

— Спекулируют и живут.

— А Ликуты, тоже наш институт...

— Воруют, знаешь ведь...

— А кто теперь не ворует? Жить надо. Не из кармана воруют. У них берут и они берут. Кто бы воровал, если б зарплата была, как у людей?..

Она встала посреди кухни, задрав халат на бедре, по которому ползли полосы шитых-перештопанных колготок.

— Тебе плевать, что мужчины о твоей жене думают.

— Им туда заглядывать не надо!

— А это и так видно. И между прочим, эти колготки мне Софа отдала, свои, старые...

— Слушай, Евгения, я хочу в искусство. Там обеспечивают...

— Иди, куда хочешь!

— Не веришь?

— С меня хватит! Устала жить с ничтожеством.

— Я ничтожество?! Да вокруг погляди. Я хоть не пью...

— А ты пей. Пей, пой — мы с Зоей переезжаем к маме.

Она поставила стул к антресолям, сняла пустой чемодан и унесла. Потом вернулась, швырнула старое ватное одеяло и захлопнула за собой дверь.

А Камиля жила бы с этим ничтожеством и была бы счастлива. Кравчук рассеянно бродил по кухне. День рождения будет неполным, если не попить чаю. Он заварил покрепче, высыпав остатки заварки, взял с подоконника соседский транзистор и, пользуясь отсутствием хозяев, стал крутить. Забывали все, что можно, даже свое. Или погода была плохая. Кроме треска глушилок, которые на работе называли чека-джазом, ничего слышно не было.

Альберт раздвинул раскладушку и, не раздеваясь, забрался под одеяло. Зачем простыни, когда без них лучше? Это была его последняя в тот вечер значительная мысль.

3

Окно кухни выходило на восток. Бок никелированного чайника ослепил, и Альберт открыл глаза. Солнце заливало всю кухню. Вчера была зима, а сегодня появилась уверенность, что дальше всегда будет весна.

Никто его не разбудил. Соседи — золото, цены им нет. Евгения с Зойкой тоже ушли. Даже если уже построили монорельс, на работу Алик все равно опоздал.

Он сладко потянулся на скрипучей раскладушке, шевеля пальцами ног и жмурясь от солнца. Потом вынул из холодильника яйцо, ударил по нему ножом и вылил в рот сырым. Положил на язык кусок сахара и стал сосать из чайника холодную вчерашнюю заварку. Позавтракав таким образом, он остановил первую попавшуюся казенную легковую машину, которая за рубль довезла его до работы /"Как же ты можешь? Ведь это почти кило яблок для ребенка!" — говорит Евгения/. А он опять смог.

— Ой, как же теперь?! — испугалась Камиля. — Заходил Шубин, я сказала, что ты у смежников и будешь после обеда.

— Я плевал на Склерцова, Милька! — слегка приподнявшись на носках, произнес Кравчук. — Я видел в гробу Шубина с его занудством! Дай мне чистый лист.

— Увольняешься?! Тебе всегда везет. А мне — никогда! Я расплачиваюсь за татаро-монгольское иго.

Присев на край стула, он нарисовал размашистым почерком слово: "Заявление" и приписал: "Прошу... по собственному желанию". Он широко расписался, прочертив элегантный зигзаг, состоящий в основном из двух больших букв А и К.

В ее глазах светилась нежность и еще нечто, наверное, преклонение перед смелостью Кравчука. Он подмигнул и вышел вразвалочку.

Возле склерцовской секретарши Кравчук потряс листочком, дав ей понять, что дело важное. В кабинете возле Склерцова склонились двое из исследовательского сектора. Улыбаясь, Кравчук постучал по локтю коллегу, чтобы тот отодвинулся. Альберт протянул руку Склерцову.

— Все те же нормативы? Ну и темп! Давно пора утвердить!..

Склерцов удивленно поднял брови.

— Ты это что, Кравчук?

— А чего трусить? В газетах пишут: руководитель должен быть смелым.

— Шутишь, что ли? По-моему, неуместно.

Альберт не ответил, положил листок.

— Подпиши, меня время поджидает.

Начальник нехотя скосил глаза, а прочитав, вскочил и заходил по кабинету, натыкаясь то на телевизор, то на селектор.

— То есть как? Нет, подумайте, Кравчук хочет уйти...

— Не хочет, а уходит, — уточнил Альберт.

Склерцов оглядел двоих других, словно впервые увидел.

— Идите, я позже вас вызову.

Он подошел к селектору.

— Василий Иванович, сколько у вас получает Кравчук?

Кравчук вдруг подумал, что бухгалтеров и начальников отделов кадров всегда зовут Василиями Ивановичами. Внуки они все Чапаева, что ли?

— Не помню точно, — замялся Василий Иванович, — сейчас взгляну.

— Какой же ты кадровик, если не помнишь?

— Вот, пожалуйста, Кравчук... Сто пятьдесят.

— А вакантное что есть?

— Понял. Э... если по сусекам поскрести, найдем должностенку рублей... э... на сто шестьдесят...

— Больше! Спусти очки со лба-то!

— Да они у меня и так уже на носу... Вот... Сто восемьдесят. Но это...

— Сам знаю, что — это! Готовь приказ на Кравчука. И собирайся в министерство, утвердим.

Склерцов отключил его и соединился с секретаршей.

— Элеонора? Где шофер?

— Пошел в буфет чайку попить.

— Сбегай, я еду в министерство. Возьми в кадрах приказ на Кравчука, перепечатай и на подпись...

— Зря вся суета, — с улыбкой заметил Кравчук.

— Нет, не зря, Альберт Константинович. Мы перед тобой виноваты. Сколько лет ты у нас?

— Одиннадцать.

— Точно, одиннадцать. Я пришел — ты уже работал. Анкета у тебя в порядке, беспартийный, правда, но зато непьющий, а вот упустили рост из виду. Ты уж извини!

— Да чего там! — Альберт махнул рукой. — Только я все равно ухожу. Меняю профиль.

— Вот что! Профиль... — заскучал Склерцов. — В каком же разрезе, если не секрет?

— Не секрет, но в стадии решения, — многозначительно произнес Альберт.

Камиля не работала, ждала его.

— Алик, куда? Я ведь умею быть немой, знаешь...

— Учиться...

— В аспирантуру?

— В студию клоунады.

— Цирк? Нет, серьезно.

— Разве я тебя обманывал?

— Еще обманешь! Кобели все одинаковые. Значит, не хочешь сказать...

— Клянусь!

Раскосые глаза Камили округлились и застыли.

— Значит, гениальность. Способности в любом возрасте просыпаются. Я на это уже двадцать три года надеюсь. С половиной.

— Считаешь, правильно?

— Еще бы! Запчастей все равно нету. А там искусство... С Никулиным будешь пить пиво!

— Почему — пиво?

— А я люблю пиво.

— Мне пора, — сказал Альберт.

—А я?

Миля подошла к нему вплотную, так что он почувствовал готовность, исходящую от нее.

— Знаешь? — поспешно зашептала она. — Ведь даже удобно, что ты женат. Хочешь, поцелую?

— В другой раз, — галантно произнес джентльмен Кравчук.

Камиля села, вытерла слезы и вытащила кошелек. Перед ней стояла важная общественная задача: обойти отдел и собрать деньги на подарок по случаю ухода экономиста Кравчука.

Альберт остановил такси, сел на заднее сиденье и велел шоферу гнать к старому цирку. Он вынул из кармана сверток и разложил на сиденье галстуки. Выбрал из них самый яркий, обмотал вокруг шеи, завязал двумя узлами. Галстучные узлы он завязывать не умел, но так будет смешнее.

Ему показали, куда пройти. Он открыл дверь и снял старую ушанку из полысевшего кролика.

— Здравствуйте! — сказал Кравчук.

Не подымая головы, пожилой человек протянул палец вперед и ткнул им в стену возле двери. Там висело объявление о приеме в студию клоунады, точно такое, какое Альберт прочитал накануне на щите. Объявление было перечеркнуто крест-накрест, и внизу размашисто написано: "Прием окончен".

— Простите, — Альберт помял шапку. — А может, вам требуются экономисты?

— Кто-кто?

— Я говорю, экономисты не нужны?

— Хм... Смешно!

— Я серьезно.

— Это еще смешней. Чем вы занимаетесь?

— Запчастями.

— И можете их достать?

— А вам нужны?

— Мне? — старик оглядел себя. — У меня почти все работает... Вы что умеете? Жонглировать, ходить по канату?

— Откровенно говоря, не пробовал...

— Так я и думал!

Он встал, оглядел Альберта и вдруг закричал:

— Пройдитесь! Блестяще! Типичная походка экономиста.

Альберт шел к зеркалу и увеличивался в размерах. Он не принужденно улыбался. Черная оправа на бледном лице.

— Bravo! — захолопал в ладоши старик. — Экономист! Ха-ха!..

— Ну и чего смешного? — рассердился Альберт. — Без экономики жрать было бы нечего.

— А с экономикой?

Старик весь затрясся в смехе и снял телефонную трубку.

— Эй там, беру еще одного. Новый тип, представляете, выходит шталмейстер: "На манеже экономист..." Как вас зовут?

— Кравчук, Альберт Константинович!

— Понял?!.. На манеже — экономист Кравчук. Альберт Константинович. Ага... Выходит и шутит в экономическом плане. Кого посадят? Я что — первый день в цирке? Записал?

Старик ласково положил трубку.

— Такие дела, дорогой. Завтра на занятия. Единственная просьба — поменьше слушать чепуху, которую вам будут преподавать. Сохраните себя для манежа таким, какой вы есть. Быть клоуном разрешается не всякому. Это, возможно, самая почетная должность на земле. Привет семье!

Из автомата Кравчук позвонил Евгении.

— Приезжай быстрее! Я у памятника Пушкину.

— С ума сойти. Взяли?!.. Как же мне отпроситься?

— Соври. И не забудь занять двадцатку!

К Пушкинской он двинулся пешком. Евгения уже высматривала его близорукими глазами, но очки не надевала. Она по-деловому обняла его, взяла под руку, и они перешли площадь к ресторану ВТО. Швейцар открыл дверь и поклонился.

— Надо привыкнуть, что у меня муж — известный артист, — сказала Евгения, когда они в такси мчали домой. — Куплю веник выметать поклонниц. Хоть бы на афишах тебя изображали менее красивым, чем ты есть!

— Я распоряжусь, — кивнул Альберт.

Теща надевала сапоги. Она приволокла Зою с продленки, и теперь собиралась уйти.

— Наконец-то! — воскликнула она. — Ребенок сам по себе, родителям дела нет!

— Заяц! — крикнула Евгения. — Потрясающая новость! Наш папка — клоун!

Зойка вскочила с постели в ночной рубашке до пяток и бросилась Альберту на шею.

— Правда?! И работать не будешь, а каждый день в цирк ходить? А мне с тобой можно? Вместо продленки? Там буду уроки делать.

— По воскресеньям, ладно?

— А Иру и Марину позову?

— Все с ума посходили. Все! — сказала теща. — Хоть бы мне сдохнуть скорей и этого не видеть. Завтра приеду, как всегда.

Они легли. Евгения шепотом, боясь разбудить спящую рядом Зою, мечтала о том, как изменится их жизнь. Все осуществилось, ну просто все, если не считать монорельсовой дороги. Ну и черт с ней! Машину купим, в кооператив вотремся: две изолированных комнаты, кухня и все — свое! Обняв его обеими руками, прижавшись всем телом и засопев, она вдруг почувствовала, что любит его, как раньше, и заснула, усталая от счастья.

Так закончилось у Кравчука тридцатое февраля.

4.

Утром первого марта он проснулся от того, что у него замерзли ноги. Одеяло сползло с узкой раскладушки на пол.

Хотя окно кухни смотрело на восток, солнца не было. Таяло, а небо было затянуто беспросветными облаками. Но и в ясный день солнце на кухню не попало бы: его загоразживала двенадцатизатная коробка, которую крикливая бригада строителей уже давно подводила под крышу.

Кравчук согрел чайник. Вообще, он выпил бы холодного чаю, чтобы не возиться. Но Евгения говорила, что холодный чай утром пить вредно. Он накрошил в сковородку хлеба и вылил яйцо. Ты не тенор, говорила Евгения, яйца можешь есть и не сырые, не ленись.

На работу он ехал в метро. Воняло носками, и давили бесцеремонно, но зато метро было самым красивым в мире. Кравчук почти не опоздал, кивнул соседям по комнате, курившим в коридоре, и сел. Он отодвигал папки с материалами, ждавшими расчетов, когда вбежала раскрасневшаяся Камиля.

— Ой, господи, чуть не опоздала! Шубин попался, ужас, какой злой.

Она причесалась и, выдвинув ящик, стала читать.

— Камиля, почему никогда не работаешь? Из-за этого запчастей не хватает!

— И хорошо! — она кокетливо сощурилась. — Их и не должно хватать, иначе мы зачем? Так что не мешай, я дочитаю "Королеву Марго". А тебе Шубин велел зайти с отчетом к Склерцову.

— Слушай, мне бы смыться часа на полтора.

— Сходи, и после смоешься.

Кравчук отправился в кабинет Склерцова. В коридоре, возле щита со стенгазетой, которую писали, но не читали, и приказами о наказаниях, которые никого не огорчали, двое глазели на прошлогодний план обязательных занятий сети партийного просвещения.

— Все суетишься? — остановил Альберта коллега. — Между прочим, в России учреждение всегда называлось присутствием. Гениально: все присутствуют — никто не работает. А ты? Расти хочешь, что ли?

Секретарша к начальнику не пустила, велела ждать. Кравчук теребил в руках шапку. Наконец, раздался звонок.

Склерцов что-то писал и, не поднимая головы, знаком указал на стул. Он кончил писать, несколько раз перечитал, потом посмотрел на Альберта.

— Ты, Кравчук? Вроде не первый год у нас, не мальчик.

— А что случилось?

— И премию тебе давали. Почему медлишь? Может, трудности?

— Какие трудности?

— Так какого же лешего ты не подбьешь бабки? А из-за тебя не даем главку реальную картину причин перерасхода сальников. Мне шкуру спускают, а ему хоть бы хны! Альберт... как тебя по батюшке?

— Константиныч.

— Так скажи ты мне, Константиныч, мать твою за ногу! В чем дело?

Кравчук молчал. Он мог бы сказать, что поставщики дают сальники стопроцентного брака, что потребители запрашивают втрое больше, чем надо, на всякий случай. Не он, Кравчук, в этом виноват.

— Ладно! — Склерцов встал. — Сегодня должно быть готово. Иначе приму административные меры.

— Я могу идти? — спросил Кравчук, чувствуя облегчение, и уже двинулся к двери.

— Иди! Хотя постой-ка! Неси сюда всю документацию, садись вон за тот стол и не вставай, пока не будет готово.

Вот влип-то! Кравчук тихо выполз из кабинета. Раз в жизни представилась возможность взять судьбу за рога, так тут Склерцову приспичило.

— Чего он хочет? — подняв раскосые глаза от книги, спросила Камиля. — Ты бы ему сказал, что вчера был день рождения. В конце концов, имеет право советский человек, чтобы

ему хоть раз в год настроение не портило? Верней, раз в четыре. Алик, а чего тебе жена подарила?

— Отстань!

Евгения ничего не подарила. У них уже несколько лет договоренность ничего друг другу не дарить. Толкового подарка все равно не достать, и денег никогда нет. Но объяснять это Миле долго, да она по своим двадцати трем незамужним годам и не поймет.

— Чевой-то сегодня ты такой нервный с утра? С женой поссорился?

С папками, как с подносом, Кравчук пнул ногой дверь и с мрачным лицом отправился в кабинет начальника. Он сел в углу за просторный стол для заседаний и, обхватив голову ладонями, попытался сосредоточиться. Он старался не слушать разговоров и звонков, не обращать внимания на входивших. Успеть бы только подать документы в студию клоунады. Сегодня ведь последний день. Там, небось, сто человек на место, а то и больше. Но вдруг! Тогда на цирковую премьеру он широким жестом пригласит Склерцова вместе с его секретаршей. А лучше Камила соберет деньги и организует культпоход на Кравчука. Все пойдут, особенно если в рабочее время.

Альберт потряс головой, чтобы отрезвиться от посторонних мыслей. Дѣла в таблицах, в сущности, немного: свести данные по расходу сальников, усреднить, подставить коэффициенты и вывести по принятым формулам прогноз, который потом никто не вспомнит, но сейчас ждут от Склерцова в министерстве.

Склерцов уехал на совещание /после совещаний от него пахло хорошим коньяком/, и в кабинете стало тихо. Даже болтовня секретарши за двумя дверями прекратилась. Вскоре, однако, вошел Шубин. Он сел за стол Склерцова, полистал бумаги, откинулся на спинку кресла, усмехнулся. И тут заметил Альберта.

— Коптишь? — Шубин старался скрыть смущение. — За кругляйсы быстрее.

— Ладно...

Шубин вышел.

За окном стемнело, когда Кравчук, не зажигая света, тихо положил на середину склерцовского стола отчет, дважды подчеркнув цифры, которые требуются министерству. Он схватил в охапку папки.

— Развязался? — спросила Камила, задвигая ящик стола, в котором теперь лежали клубки от вязания.

Альберт бросил папки и стал надевать пальто. После такой напряженной работы за весь отдел пусть кто-нибудь упрекнет его, что он срывается раньше. Возле Мили он задержался.

— Поцелуй меня. В губы.

— За что?

— За день рождения.

— У! Он был вчера.

— Ну, тогда для удачи...

— Нет уж! Мужиков баловать — только портить. Вон Петронитова из отдела комплектации правильно делает: не вымыл муж посуду — и ее не получит...

— Тоже мне, Руссо.

— Подумай: какой смысл тебя целовать? Да еще в губы. Это неперспективно. Порядочная девушка должна целовать того, кто хотя бы обещает.

Она помахала ему пальцами и выдвинула ящик с вязанием.

Кравчук приехал в цирк троллейбусом. У подъезда было пусто. Народ, в основном восточный, толпился возле входа на Центральный рынок. Альберт двинулся вокруг искать служебный вход.

— Пропуск! — строго прохрипел вахтер.

— Мне... Где тут в студию клоунады принимают?

— В отделе кадров. Но все равно пропуск!

На заказывание пропуска ушло минут двадцать, не больше, но, поднимаясь по лестнице, Альберт чувствовал одышку. Может, он постарел? Нет, тут, главное, не сдаваться. В темном коридоре он остановился и стал считать: вдох-выдох.

Под лампочкой висела доска, Кравчук пробежал глазами объявление о занятиях сети политпросвещения, приказы о перемещениях в должности, стенгазету, в которой артисты брали соцобязательства делать то, что они и так должны были

делать. "Пятилетний план подготовки новых номеров", — прочитал далее Альберт. "Актера такого-то за выход на манеж в нетрезвом виде лишит того-то и объявить ему то-то". "За курение в ненадлежащем месте такому-то сделать то-то". Список задолженников членских взносов в местком...

Кравчук покружился, как от зубной боли. Вдохновение сморщилось. Уйти. Сразу, не ступая на вытертую поколениями цирковых артистов дорожку. Но это опять малодушие. Вся жизнь оно идет за Кравчуком, как тень, но, в отличие от тени, то и дело норовит забежать вперед, загородить дорогу, оттолкнуть.

Кравчук приоткрыл дверь с надписью "Отдел кадров" и, сняв шапку, заглянул. За старомодным столом, между двух сейфов, сидел пожилой человек и читал "Советский спорт".

— Извините, насчет клоунады...

Начальник отдела кадров отложил газету, снял очки и осмотрел Альберта.

— Кравчук? Анкету заполняли? А кто вас, собственно, рекомендовал?

— Я сам...

— Русский? Партийный? Выездной?

— Видите ли...

— Если "видите ли", то нечего и заполнять, бумага — дефицит. Вы кто по образованию?

— Экономист.

— Ну, а зачем в клоуны? И потом, — глаза кадровика потеплели. — Лет-то сколько?

— Тридцать пять, — сказал Альберт; он не соврал, вырвалось на год меньше.

— Чего ж вас учить три года? Чтобы проводить на пенсию?

Кравчук кивнул как-то рассеянно и тихо попятился из комнаты. В коридоре пахло лошадиным навозом.

На улице фонари едва пробивались сквозь сырую темноту. Альберт двигался, как в вате, не понимая, зачем и куда.

— Эй, мать свою поберег бы!

Альберт почувствовал, как нечто твердое уперлось ему в бок. Тормоза у самосвала взвизгнули, засипели. Шофер вы-

скочил, оставив дверцу открытой. Он вытащил Кравчука из-под колеса, ощупал его. Обнаружив, что тот цел, только зад и рукав пальто в грязи, шофер поднес кулачище к носу Альберта. Потом вскарабкался на подножку, остервенело захлопнул дверцу и газанул, обдав Кравчука брызгами мокрого снега и копотью.

Альберт постоял на краю тротуара, подышал, ощущая легкими бодрость от этого сырого воздуха. Хороший человек, этот шоферюга, ласковый. Мог бы сплющить — Кравчук пикнуть бы не успел, не то, что сказать последнее слово.

Остальной путь Альберт совершил, смотря налево, направо и даже вперед. Он долго вставлял ключ в прорезь. Евгения приходит раньше, слышит эту возню и сама бежит открывать: "Режь хлеб, все готово!.."

Никто ему не открыл. В коридоре было темно, у соседей тихо. Не раздеваясь, следя по полу своими туристическими ботинками на рифленой подошве, в которую забивался снег, Альберт прошел в комнату и зажег свет. На диване валялись Евгеньины кофточки, которые она давно не носила, на полу мятые газеты. На столе гора немытой, засохшей посуды.

Он сгреб со стола крошки, отправил в рот и обнаружил записку, прижатую пустой сахарницей. Запотевшие очки, протертые пальцами, приблизились к листку: "Я ушла. Больше откладывать не могу. Зою забрала мама. Посуду мой сам! Ж."

Не снимая ботинок, он прилег на диванчик, закрыл глаза. Вообще-то следовало ожидать, что это рано или поздно произойдет. Теперь он будет жить один и следить, где хочет. Посуду он вообще выкинет, а в кухню из комнаты будет ходить по канату. Любовницы будут приходить вечером, и он будет проверять, умеют ли они что-нибудь делать на канате.

Сколько он пролежал в темноте, неизвестно. В дверь звонили. Открыла соседка, и шел разговор, что давно пора отремонтировать замок.

— Ты оглох? Возьми сумку, еле донесла. И чемодан возьми.

Евгения сняла вязаную шапочку и отряхнула ее от снега.

— В химчистке очередь жуткая. А все равно самообслуживание дешевле. Целый чемодан перечистила. Посуду вымыл? Так я и знала!.. Неужели жрать не хочешь? Что у тебя с пальто? Надо было вчера упасть, сегодня бы вычистила...

Кравчук понес на кухню посуду. Думал: спросит Евгения про студию или нет? Она болтала без умолку про Зойку, которую мать забрала к себе на ночь, про свою сослуживицу Татьяну, которой упорно не везет: никак не может забеременеть. И Валентине не везет — опять беременна. Потом пошли рассказы про новые объявления об обменах, но все с доплатой. Спросила она насчет перерасхода сальников. А про клоунаду — ни-ни. И все-таки Кравчук пришел к выводу что она его любит. Он вспомнил недавно прочитанную статью. Социолог утверждал, что самые прочные семьи те, что находятся на грани развода. Так что, ссорясь, Евгения инстинктивно укрепляла их брак.

— Жень, — сказал он, — знаешь, о чем я думал?

— Знаю. Чтобы скорей поджарились купаты.

— Это само собой!.. Ты Бронштейна знаешь? Ну, из вычислительного... Он зачистил на ипподром.

— Верхом учится? Принцесса Анна покоя не дает? Так она замужем.

— Он сам женат, не в этом дело!

— А в чем? — Евгения посмотрела на него подозрительно. — И ты?..

— Езда — чепуха, Жень! Он собирает статистику по скачкам, чтобы составить алгоритм и рассчитать на компьютере, какая лошадь выигрывает. Представляешь? Лошади в мыле, жокеи кричат, тысячи людей психуют, тотализатор расpiraет от денег, а все заранее у нас в кармане.

— А в Испанию не хочешь? Попытать счастья в корриде?

— Брось, я же серьезно! Бронштейн предлагает программировать вдвоем.

— А компьютер?

— Компьютер у нас на работе паутиной зарос. Валюта все-таки, чего ей гнить? Завтра сорвемся с работы пораньше, и на ипподром.

Он подождал, что она ответит. Но Евгения молчала, склонившись над сковородкой с дымящимися купатами.

— Это серьезно, — сказал Альберт, и, чувствуя, что она его не хочет понять, прибавил: — Теперь — серьезно!

Вошла соседка, спросила:

— Кухню скоро освободите, а то посуду никак не помою из-за вас?..

И улыбнулась.

Евгения смотрела на мужа, словно колебалась: закричать или тихо заплакать. Но, поскольку и то, и другое было бесполезно, она только закрыла глаза и резким движением выключила под сковородкой газ.



Александр ТУЧКОВ

ШИНЕЛЬ

"Свобода, бля, свобода..."

Из песни пьяных искусствоведок

В некотором царстве, в некотором государстве жил Интеллигент. И была у Интеллигента мечта. Даже не мечта, а мечтенка. Жалкая мечтенка об получении туристической путевки за рубеж, на десять дней...

Впрочем, разогнавшись было, Автор считает своим долгом тут же и притормозить, чтобы честно предупредить о том, что в этой правдивой истории читатель не найдет такого, что ли, захватывающего действия или хитросплетений сюжета. Не будет также никаких тайн или завлекательной фантастики. Но вовсе даже наоборот — спокойное и достоверное описание того, как быть должно и как есть. Потому что жизнь, по мнению Автора, до прискорбия проста и незамысловата, настолько, что любая фантазия, тайна или какое-нибудь там удивительное волшебство неизменно разбивают об нее свои лица.

Иной из догадливых, конечно же, махнет ручонкой, а, мол, старая песня. Интеллигент, собирается сбежать, по причине несогласия с властями и на предмет получения политического

убежища. Опосля он, конечно, напишет нашумевший бестселлер и наконец купит себе дом в Нью-Джерси... И этот самый, с ручонкой, очень даже ошибется. Потому как Интеллигент действительно хотел просто съездить, на границу глянуть. И вернуться обратно. Никто, в наше время, в такое не поверит, но это так.

Которые серьезные, например, капитаны заграничавания, боцманы, номенклатурные работники или ученые в штатском, так те просто жалостливо улыбались, глядя на таких, как Интеллигент. Чего с него спрашивать, с этой овцы. За десять дней в строю, да за гроши и портянки приличной не достанешь, не то чтобы сервис или благородное шмотье. "А ему, видите ли, и не надо всего этого. Ему Акрополь или Лувр посмотреть бы", — сплевывали они презрительно.

И, надо признать, они были правы. На фоне Интеллигента даже классический Акакий Акакиевич со своей шинелью выглядел солидно. Потому шинелка, если б не отобрали, особливо добротного николаевского пошива, — это навсегда. И сын Акакия донашивал бы и внуку на натирку полов осталось бы... А тут — путевка, да на десять дней.

И вот, в тот самый исторический отрезок, когда кругом велась решительная борьба, происходили начинания и принимались повышенные обязательства, в то же время Интеллигент, эта случайно сохранившаяся былинка промеж путей построения, этот потомок ископаемых Акакиев и Макаров Девушкиных, мечтал об своей путевке. И в силу этого, конечно же, не принимал, не участвовал, отделялся от коллектива и вообще ушел в башню из слоновой кости. В то самое время, когда другие, подминая под себя сослуживцев, женщин и вообще жизнь, стремились вперед, к прогрессу, он, к примеру, просиживал в захудалом театре документального кино. И был хоть тих, но хитер. Потому, пусть даже в полупустом зальце все, кроме него, были бы зрителями в штатском, все равно ни об чем бы не догадались. Даже не заподозрили бы того, что Интеллигент среди грома и скрежета достижений тяжелой индустрии или долгих и несмолкающих аплодисментов, низвергающихся с экрана, ждал, с замиранием серд-

ца ждал двух-трех кадров о борьбе французского рабочего класса с капиталом. И снова и снова он бежал покупать билет, и снова ждал, чтобы потом, придя домой, перед сном, спрятавшись под одеялом, много раз прокрутить перед собой эти мелькнувшие кадры. Вид французской улочки, с лавчонкой на углу, с полосатыми навесами и с желтым, диковинной конфигурации, велосипедом, прислоненным к стене, поросшей плющом...

Или же в библиотеке, с тишиной залов и толстыми мелованными страницами фолианта, скрипящими под ногтем... Со стереоскопической ясностью старинные коричневые фото разворачивали перед ним панорамы римских и афинских руин, храмов, кривых улочек, с каким-либо мелким, но отчетливо видным господином в котелке, усах и с тростью, стоящего у подножия руин...

Если Интеллигент, например, мотался под колоннадой Казанского собора, то золотистость ее и гулкое эхо сводов прочитывалось для него собором святого Петра, а в набережной Мойки, идущей к Храму На Крови, он угадывал Париж. Да, это, без сомнения, был Париж времен "Отверженных". Больницы или приюты на берегу Сены...

Иногда, блуждая по Петергофу или Гатчине, он с печалью думал о нем, понимая думал. И даже осмеливался хоть и горько, но дружески подмигнуть, как бы говоря: "Да, братишка, коли тебе не удалось "в Европу прорубить окно", каково же мне. Нет, не видать мне путевки на десять дней за рубеж..."

Короче, был мечтатель. Автор испытывает даже некоторую неловкость, описывая сегодня такое нездоровое и несозвучное явление. Испытывает некое неудобство, как если бы он громко икнул на торжественном заседании или совершил бы какой другой аморальный поступок.

С одной стороны, Автор горячо сочувствует читателю, которому охота полистать на досуге какие-либо обличительные материалы, взятые из жизни или же развлечься захватывающим описанием отношений между полами. Которому, короче, охота современной литературы, а тут ему пытаются

подсунуть некий неясный образ неврастеника под внешностью интеллигента, скрывающего дряблые инстинкты и нездоровые влечения.

Но с другой стороны, образ, так сказать, просится, требует воплощения и вообще напоминания о себе. Тем более, что образ Интеллигента, хоть и не срисован досконально с какого-то определенного гражданина, однако, взят с натуры. Образ, конечно, не типичный, но редкий, среди нынешнего однообразного паноптикума образов, и потому требующий упоминания и даже помещения в коллекцию древностей.

Может, некоторые из прочитавших, исполненные высокой гражданственности, и взовьются: "Вот, мол, вы какие пессимисты, нытики какие. И вообще, что вы хотели сказать этим художественным произведением? А великого русского писателя Гоголя приплели зачем? А знаете ли вы о том, что в том мире, в мире Пришибеевых, у таких, как Акакий Акакиевич, было лишь два выбора — шинель или смерть...?"

На что Автор, полный сознания своей правоты, отвечает спокойно: "Да, уважаемый патриот, вы совершенно правы. Времена Пришибеевых были старыми наивными временами. Автору смешны и даже симпатичны опереточные образцы злодеев тех времен в сравнении с нашими днями. Автор слегка грустит по тем простым временам, когда белое было белым, а черное — черным. Уважаемый Николай Васильевич Гоголь ни в жизнь бы не подметил своим зорким глазом гения образ Акакия, если б не тот мир. Не увидел бы свет, если бы не было тени..."

Однако времена меняются, и теперь на фронте света и теней — прогресс. Где свет, а где тень, разобрать нет никакой возможности. Сумеречное состояние налицо.

А что касается выбора, так такие, как Акакий, Макар Деушкин или Интеллигент, имеют в настоящее время лишь один — поскорее вымереть, для своего же спокойствия, как несвоевременный и несозвучный элемент.

В этой связи Автор хотел было даже назвать свое произведение "Последний из могикан", но вовремя одумался. Потому как могикане и поныне живы и давно уже сменили перья

на костюмы от Ливайса, а томагавки — на "Америкен Экспресс", а описываемый Интеллигент был действительно последним.

В свое же оправдание Автор спешит добавить, что Интеллигент не был таким уже окончательно дряблым гражданином. Интеллигент предпринял даже кое-какие действия, только что на своем уровне. Он, к примеру, отправил куда надо свое заявление по поводу путевки. Когда это было, он, по правде, не припомнит, месяц ли назад, десять лет ли, но как бы там ни было, пару месяцев спустя он осмелился узнать о ходе дела. Робея и покашливая, он вежливо спросил в окошечко об своем заявлении. Оттуда ему так же вежливо ответили, что решение по поводу его заявления еще не принято. После чего Интеллигент торопливо вышел вон, на улицу, почувствовав от этого огромное облегчение и гордость за свой маленький подвиг.

Это был солнечный день, срединный день лета. Зима осталась далеко позади, осень предстояла далеко впереди. И потому все было легко и все было светло. Все было ясно видно, до последней песчинки, скрипнувшей под ботинком пешехода. И вообще, этот день, со всеми своими небесами, зеленью и ветерком, являл собой как бы легкое перышко, мотающееся в воздухе...

А может, это было просто настроение, праздничное настроение Интеллигента, беспокойно сидевшего на садовой скамейке. Весь интеллигентов организм зудел теперь от счастья. Ему охота была шутить, веселиться, может, например, встать и спеть что-нибудь такое на глазах у всей публики. Даже сердишко его билось слышнее и ритмичнее, чем всегда.

"Ах, паразит, ах сволочь", — с нежностью думал Интеллигент об Прохожем. "Не соврал, собака. Как сказал, так и вышло. Ведь сказал же, что придет письмо, положительный ответ на его заявление. И пришел..." "В связи с вашим заявлением от такого-то и такого-то и положительным решением, вы приглашаетесь.... и вам предлагается..." И кто бы мог подумать, что он может вытворять такое, этот курносый. С ви-

ду-то, с виду — нос крючком, жопа ящичком, бобочка и брючата. Да и не брюки, а так, портки за пять рублей. Ну, прямо от пивного ларька. И сандалии. А чего вытворяет. Ведь сказал же, в среду, в час дня... и точно...."

Интеллигент просто сгорал от нетерпения, возился и елозил по скамье и ежеминутно взглядывал на большие уличные часы. Он испытывал такой прилив энергии и отваги, что мог бы сейчас даже познакомиться с девушкой. И очень даже свободно.

Но вот стрелки сомкнулись на времени и Интеллигент полетел. Полетел навстречу борьбе и свершениям. И это вовсе не какой-то такой изящный оборот, которым Автор пытается украсить свое произведение. Буквально с первого визита к Начальнику Интеллигент понял, что ему придется в срочном порядке покинуть башню из слоновой кости и переселиться поближе к коллективу и вообще мобилизоваться, перестроиться и включиться.

— Да, — подтвердил Начальник, — имеется положительное решение о вашей поездке за рубеж. Даны соответствующие указания. Оказано доверие. Ваше дело это доверие оправдать. Согласитесь сами, что было бы крайне безответственно отпустить вас в мир чуждой нам идеологии без должной подготовки. Хотя бы и на десять дней. Долг каждого советского гражданина — не уронить своего достоинства и чести перед миром капитала,

И что бы вы подумали? Этот самый Интеллигент, который до сего дня считал непосильным для себя подвигом выстоять, к примеру, десятичасовую очередь за румынскими полусапожками, который страдал от частых перемен нежных чувств и трагических настроений, изменился неузнаваемо. Решительный и бесповоротно встал на путь перековки характера.

Отработав, бывало, свои восемь часов, он уже мчит за соответствующими справками, свидетельствами и характеристиками, иной раз даже в обеденный перерыв, что вызывало недовольство его непосредственного начальства, которое /недовольство/ впрочем, сменилось вскоре удовлетворением, потому что Интеллигент уже через пару месяцев "встал на

ноги, стал полноправным членом партии и принял активное участие в многогранной жизни коллектива", по определению того самого начальства.

Мало того, что вскорости он вступил в ряды, кроме того, он стал организатором, инициатором, а также оформлял стенгазету, в которой бичевал, невзирая. На собраниях он требовал дать по рукам и призвать к порядку. Участвуя во всех собраниях, он неизменно боролся за широкий охват, проведение в жизнь и всемерное привлечение. А в кружке песни и пляски он укрепил свои жидкие интеллигентские ноги и голос до невозможности...

Конечно же, в глубине души Интеллигент плакал и отбивался и отворачивал лицо от действительности, но мечта, т. е. красивая французская улочка и прочие, поразительной стойкости, образы не давали ему покоя и настоятельно призывали к действию.

И надо признать, изменился человек поразительно и в ударные сроки, настолько, что Секретарша Начальника, к которому он некогда пришел на первый прием и которая вовсе не замечала его, не видела в упор, переменялась к нему полностью. Эта красивая женщина встречала его теперь приветливо, как своего. Ласково называла по имени и приглашала обожать. И Интеллигент, глядя на ее выпуклости, думал о гармонии внешнего и внутреннего содержания, думал о новом человеке, чувствовал себя в едином строю и невольно для себя самого тихо напевал полюбившиеся строки: "Дружба всего дороже, дружба — это знамя молодежи...", ощущая приятность от своей причастности и неустанной заботы...

Короче, через год он предстал перед товарищем Начальником свежим, крепким молодым человеком, в скромном, но чистом костюме, с "Правдой" под мышкой, со значком ГТО и в легкой белой рубашке, выгодно оттенявшей смуглость его кожи. Он предстал сознательным и политически грамотным гражданином, способным дать отпор любым проидам. Он положил на стол самый последний документ.

Интеллигент ждал. Он был торжествен и слегка возбужден, не невротично, как раньше, а лишь слегка, что было

естественно и что придавало его лицу выражение здоровой одухотворенности.

— Поздравляю вас, — радушно приветствовал его Начальник. — Итак, все готово, кроме разве что одной крохотной формальности. Дело в том, что по ходу проведения всех этих нужных и полезных мероприятий срок вашего заявления истек. Вам необходимо будет оформить новое заявление, получить на него новый положительный ответ и обновить соответствующими датами собранные документы...

На дворе стояло лето, жаркое, веселое. Гремели птичьи хоры в листве, доносились крики детей с улицы. Кабинет Начальника был залит солнцем, но свет померк в интеллигентских глазах.

— Позвольте, вы же обещали!— только что и мог прошептать он.

— Необходимая формальность, товарищ, таков порядок. Видно было, что Начальник сочувствует, но, будучи человеком принципиальным, на уступки не пойдет.

В считанные минуты загар Интеллигента сменился прозеленью, лоб покрылся испариной, и вдруг он с необычайной силой отчаяния подумал: "А чтоб ты превратился в жабу!"

Полностью обмякший и потерявший всякий лоск, сидел Интеллигент на стуле, опустив голову и ничего не соображая. Когда же наконец поднял голову, то Начальника напротив себя не обнаружил. Он даже не удивился. Видимо, он потерял сознание, а начальство выбежало за скорой помощью, либо ему вообще все это приснилось и сейчас он проснется и поедет побродить по Ораниенбауму. Интеллигент встряхнулся, но дурной сон не проходил. Продолжало быть безмятежное лето за окнами. Кабинет, почетные грамоты, знамя, бюст в углу и непонятное отсутствие Начальника. Озираясь кругом, Интеллигент встал, обошел стол... и тотчас сильно вздрогнул... На стуле сидела огромная жаба и тяжело дышала...

Потерявший самообладание Интеллигент заметался по кабинету, поняв наконец, что произошло. Он выбежал наружу, в секретарскую, неловко соврав, что прием окончен и он вскорости зайдет снова. Однако его блеклый и взъерошенный вид встревожил бдительную Секретаршу...

Автор не будет приводить в подробностях душераздирающие картины секретаршиних рыданий, переполоха, задержания Интеллигента дежурным милиционером, а также прибытия следственных органов на место происшествия, чтобы не расстраивать читателя тяжелыми описаниями. Скажет только о том, что вскорости Интеллигент был увезен куда положено, дабы поразмыслить и отдохнуть от пережитого потрясения, до поры.

Скоро сказка сказывается, а еще быстрее дело делается — в наше время. Потому что уже через несколько дней Интеллигент был доставлен в кабинет Следователя, ведшего его дело. Следователь оказался симпатичным и любезным молодым человеком. Распростерши локти по столу и по-куриному вглядываясь в бумаги, он старательно усеивал буквами ведомости. Следователь вежливо поздоровался с вошедшим и севшим на стул Интеллигентом и через некоторое время, не меняя позы и едва глянув на посетителя, стал задавать ему вопросы, продолжая ловко и спорно заполнять соответствующие графы протокола.

Все шло по-деловому, легко и быстро, настолько, что вскоре в четких и сухих определениях была изложена вся картина происшедшего, из которой следовало, что Интеллигент, вызванный в кабинет Начальника такого-то числа и в такой-то час, побеседовал с ним некоторое время, после чего Начальник вышел на минутку и не вернулся вовсе.

Неловкое предположение Интеллигента о том, что, может быть, начальник пошел выкупаться на Петропавловскую крепость и утонул или занял очередь в Гостинном за польскими колготками, было отвергнуто решительно.

— Только факты, товарищ. Никаких предположений, — заявил Следователь. И продолжил описание того, как обеспокоенный и удивленный Интеллигент вышел было из кабинета спросить товарища Секретаршу об Начальнике, но вместо ответа получил испуг, подозрения и даже панику, в результате которой был подвергнут незаконному аресту. На определении "незаконный" Интеллигент робко настоял, а Следователь снисходительно согласился.

— Вот и все, товарищ, — потер руки Следователь. — Мы вызовем вас, если еще понадобится, и по такому случаю будьте добры, не отлучайтесь из города, в чем и подпишитесь.

Интеллигент начал было отходить и даже осмелился хихикнуть глубоко внутри себя по поводу бездушной бюрократии, которой ни до чего нет дела, кроме бумажной волокиты. Как вдруг, уже протянувший для прощания руку, Следователь попросил его присесть на одну минуту, на один лишь вопросец.

Порывшись в ящике стола, он неожиданно поставил на стол литровую стеклянную банку с жабой:

— А зачем вы это принесли с собой в кабинет Начальника?

И Интеллигент, этот совершенно не закаленный в житейской борьбе субъект, чувствуя, как холодеют его ноги, ляпнул: — Я не приносил ее. Она там была.

— Где?

— На стуле, — отвечал он, глядя на огромную банку буквально заполненную жабой, и с ужасом думая, что погиб.

— Ага, так и запишем, на стуле, в банке, — сказал Следователь.

— Да, в банке, — повторил Интеллигент, пытаясь вырваться из заколдованного круга хоть какой-то неправдой.

Тут Следователь выпрямился и впервые пристально глянул ему в глаза.

— Как же так, неувязка получается, товарищ? Банка-то наша. И вообще, как-то нескладно выходит. Что же это такое, товарищ Начальник, выходит, на жабе сидел? У каждого, конечно, свой почерк в работе. Мы не против этого. Мы за творческий подход к труду. Но тут уж как-то совсем противостоестественно — сидеть на жабе в приемные часы. И товарищ-то человек проверенный и все его качества и недостатки нам известны, а о таком впервые слышим. Может, он, к примеру, тайно разводил жаб у себя дома или особую любовь питал к этим животным?.. Не знаю, не знаю. Нами наведены самые точные справки и кроме того, что как-то раз, в интимной беседе с Секретаршей, товарищ Начальник назвал свою жену старой жабой, ничего не обнаружено.

Интеллигент молчал и вообще замер, подавленный фактами и логикой.

— Ну, хорошо, — совсем по-домашнему махнул рукой Следователь, — пусть будет по-вашему. Товарищ Начальник имел такую, что ли, склонность к этим насекомым. Пусть эта жаба, животное хотя и не крупное, выдержало на себе вес Начальника, человека широкого, если не сказать просто тяжеловеса. В юности штангой баловался. Пусть, в свою очередь, товарищ исчез из помещения через посредство тайного люка под стулом, наличие которого нами пока не установлено, поскольку других дверей, кроме как в секретарскую, нет. Пусть жаба была принесена товарищем Начальником в качестве подушки или пусть ее подбросили враги. Пусть. Обратимся непосредственно к предмету. Давайте познакомимся ближе с этой самой жабой. Так сказать, соприкоснемся с природой. А то, знаете, все заседания, отчеты, работа. Листочка зеленого иной раз за все лето не увидишь. А тут фауна и флора на дому.

Следователь опрокинул банку и громадной оладьей вывалил жабу на стол. Жаба сидела, затаившись, дыша шумно, как астматик.

— И чего делать с ней, не знаю, — жаловался Следователь, — не жрет ничего. Апатичное такое насекомое. Какие там мухи и комары, осетрину и икру предлагали, не желает и пасть раскрыть. Сидит, скучает. И все-таки мы попробуем ее расшевелить. Мы не должны ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача.

Товарищ Следователь, улыбаясь и непрестанно подмигивая Интеллигенту, выложил на стол кучу предметов, среди которых были отрывной календарь, самые различные деловые бланки, набор авторучек, портфель и могучий монумент из стали и хрусталя, с никелированным оленем наверху. На постаменте имелась надпись: "Уважаемому и любимому товарищу Начальнику в день тридцатилетия плодотворной деятельности, от друзей и сотрудников".

Затем он включил радио, пояснивши:

— 10. 30 утра — в эфире песни советских композиторов.

Бодрые звуки хора и отдельных солистов, а также оркестра радио и телевидения наполнили кабинет.

И тут началось интересное. Жаба вроде как стала просыпаться. Во всяком случае, печальные глаза ее наполнились смыслом. Бывшая мутной, ее кожа пошла продергиваться керосиново-радужными пятнами. Жаба заметно оживала. Она даже пыталась пошевелиться.

"Будет людям счастье, счастье на века", — заливался соловьем солист.

Жаба подпрыгнула раз, другой и вдруг стала любовно накидываться на набор авторучек, на деловые бумаги и на портфель.

"У Советской Власти сила велика", — гремел хор мужчин в поддержку солисту.

Совсем развеселившаяся жаба, радуясь и раздуваясь в такт песне, пыталась было напрыгнуть на юбилейный монумент, подарок друзей и сотрудников. Но, не рассчитавши, перевернулась на спину. Пока жаба трудилась, чтобы встать на ноги, по знаку Следователя ввели Секретаршу.

То, что произошло потом, превзошло все ожидания. Жаба, увидевши Секретаршу, стала подпрыгивать высоко, как терьер. Разбросала все бумаги на столе, нагадила на монумент и вообще вела себя настолько вызывающе и разнузданно, что рыдающую Секретаршу поспешили увести, а Следователь, призвавши на помощь Интеллигента, пытался совладать с вконец разволновавшимся пресмыкающимся...

Уставший при запихивании в банку разбушевавшейся жабы, Следователь сел, отирая пот, и в упор глянул на ни живого, ни мертвого Интеллигента:

— Узнала, ведь непременно узнала. Предметы-то, что я на стол выложил, это ведь ничто иное, как инвентарь с рабочего стола товарища Начальника. Узнала. А десятичасовая передача "песни советских композиторов" — любимая передача товарища. И опять узнала. А про Товарища Секретаршу и говорить нечего. Вот ведь сказано — собака лучший друг человека. А на поверку выходит — не только собака. Пресмыкающееся, — а тоже друг, верный друг. — И помолчав, доба-

вил тихо,— показания, выходит, что ложные. Знаете ли чем это пахнет?

Следователь обошел стол, присел напротив Интеллекта и положил ему руку на колено:

— Ведь как думаете-то. Не соврал, мол, не смог. Эх, такой я, сякой, неловкий. А оно ведь и хорошо, что не сумел. Очень хорошо. Знаем про вас все. И что врать не умеете, знаем, что ни в чем замечены не были, знаем. И вовсе не ожидали умелого вранья. Посему и беседую с вами здесь, а не где-либо еще. Потому как такие штуки вытворять, — он постучал карандашом по банке с жабой, — да еще иметь преступные наклонности, так разговор был бы в другом месте и короткий.

Следователь нажал кнопку и приказал вошедшему военному принести "что надо". Через пять минут стол был очищен от бумаг и уставлен фруктами, закуской и спиртным. Разливая коньяк, Следователь предложил тост: "За ваши и за наши общие успехи".

Когда они выпили и закусили, он продолжил:

— Итак, товарищ будем работать вместе. Я не хочу говорить вам о том, что ожидает вас в случае вашего отказа. Будем говорить теперь о вещах приятных и хороших. Не будем отравлять нашей дружеской встречи. А приятное следующее. Перед вами, молодой человек, раскрываются сияющие перспективы. Кто вы были до этого? Никто. Жалкий аспирантишка, что-то там накарякавший об эстетике шпалер времен Людовика. И все. А после — сотрудник заштатного музейчика, с грошовой зарплатой. А кто вы теперь? Помощник ученых и сам ученый. Крупнейшие умы нашей страны работают с вами. Вы рассказываете им, как вы умеете вытворять подобное, эти самые превращения. Ставятся опыты. Делаются выводы. Разворачиваются неожиданные перспективы как научного, так и оборонного значения. А вы, кроме законной гордости за себя, за отечественную науку и вообще высоких гражданских чувств, будете иметь все: звание академика, лауреата, машины, квартиры, дачи, девочек, черта в стуле. Насколько фантазии хватит.

Коньяк, между тем, сделал свое дело. Кабинет Следователя превратился в уютнейший уголок на свете. Лицо Интеллекта обозначилось величайшим облегчением, а лицо Следователя — отчаянной веселостью. Он хохотал и хлопал по плечу Интеллекта:

— Каково обернулось, а? Ведь поначалу думал, отделался, когда я, значит, бумаги заполнил. После чуть не разрыв сердца, когда думал, что попался. А теперь?.. Теперь ты большой человек. Может, к Самому позволено будет без охраны забегать, сигаретку стрелнуть. Меня, простого полковника, не забудь, когда по Кремлю без пропусков будешь гулять. Все будешь иметь...

— И за границу поеду? — вырвалось у Интеллекта.

Товарищ Следователь от полноты чувств так махнул рукой, что чуть не вывихнул ее, желая показать, как далеко может ездить Интеллигент.

И тут-то перед самим Автором встает соблазн выбора. Соврать, что, мол, к примеру, Интеллигент раскололся и согласился сотрудничать, и таким образом дать себе возможность острых обличений и отчаянной критики по адресу интеллигенции, которая еще больше Секретарша, чем сама Секретарша, или не соврать?

Но правда дороже всего Автору. Он не хочет портить этой всамделишной истории игрой вымысла или цветистой фантазией. Тем более Интеллигент, хоть и подвергнувшийся вышеописанным испытаниям, был не как остальные, которые интеллигенты лишь по социальному признаку. Он был Интеллигентом по сути. Или еще вернее — Интеллигент с понятием.

И потому вдруг в адской свистопляске коньячного веселья и закусочного изобилия он ощутил некую пропасть, до которой осталось полшага. "Это же конец", — почувствовал он с ужасом. Конец чего, Интеллигент не мог понять, но лишь с необычайной силой отчаяния подумал о том, как было бы хорошо, если б весь этот бред исчез. Если бы проснуться внезапно...

И в тот же миг он оказался на той же самой скамье, с которой поднялся год назад, несомый счастьем, на прием к На-

чальнику. Он даже подумал о том, что, может, увидит сейчас Прохожего... И точно. Он заметил гражданина в бобочке, брюках и сандалиях, проходившего мимо. Он увидел Прохожего.

— Здравствуйте, — догнал его Интеллигент. Прохожий хотел было сделать вид, что он не Прохожий, а кто-то другой. Он хотел не заметить Интеллигента, но остановился удивленный: "Э, да вы приболели, что ли? Осунулись как-то, обледенули с лица".

Интеллигент, сбиваясь и размахивая руками, нескладно объяснил, в чем дело. Он так волновался, что, по горячке, пытался даже обвинить Прохожего в обмане.

— Ни в коем случае. Обманывать не имеем права. Строго преследуется, — ткнул Прохожий пальцем в небо, — все три желания исполнены.

— Да нет же! — в отчаянии закричал Интеллигент.

— Все три желания исполнены — неумолимо повторил Прохожий. — Первое — положительное решение на предмет туристической путевки за рубеж, — загнул он первый корявый палец. — Второе — превращение Начальника в жабу, — он загнул еще один корявый палец. — И третье — желание у Следователя, чтобы все исчезло...

И, обернувшись, зашагал прочь.

Интеллигент побежал было следом, шепча и плача, и умоляя Прохожего об еще одном, последнем желании.

— Не имею полномочий, — отбивался тот от него. Но Интеллигент не отставал.

— Мы не можем разбазаривать налево и направо исполнения желаний. Мы боремся с этим, — завизжал Прохожий и провалился сквозь землю.

Светило солнце. Летнее. Безмятежно равнодушное. Интеллигент шел, не разбирая дороги и не глядя по сторонам. Казанский собор уже не был больше собором святого Петра. Это был просто недоделок архитектурного умельца. Набережная Мойки не была Парижем, а Храм На Крови был бездарно аляповатым пряником...

Придя домой, Интеллигент лег на диван и умер с тоски.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



Инна ЛИСНЯНСКАЯ

Сколько на нашей памяти несомненных дарований погубили себя ложью, низкими поступками, лукавой уступчивостью. Перед поэтессой Инной Лиснянской стоял выбор — остаться человеком или членом Союза писателей. Она не колеблясь выбрала первое, и это дает ее таланту гарантию, что он сохранится нетленным. В этом номере мы публикуем открытое письмо Инны Лиснянской советским писательским организациям и новую подборку стихов, которая свидетельствует о том, как мужает ее поэтический дар.

ДАР В ОДИНОЧЕСТВЕ ЖИТЬ

МОЯ РОДИНА - РУССКАЯ РЕЧЬ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Секретариату правления Союза писателей СССР
Секретариату правления Союза писателей РСФСР
Секретариату правления Московской писательской организации
Редакционной коллегии "Литературной газеты"

В чем только не обвиняли авторов "Метрополя" — даже в нелюбви к родине.

Для одних родина — географическое понятие, для других — понятие крови, для третьих — блага закрытого распределителя. Для меня родина — это прежде всего русская речь, вне которой я не мыслю своего существования.

Именно эта приверженность к русской речи и привела мои семь стихотворений в "Метрополь". Альманах я рассматривала как попытку избавить речь писателя от многоступенчатой, бесстыдно-назойливой редактуры.

Я никогда не видела живого цензора. Роль цензуры в наших издательствах давным-давно исполняет редактура и так тщательно трудится на этом поприще, что самой цензуре и делать-то нечего. Моя последняя книга стихотворений ополовинена все той же многоступенчатой редактурой издательства "Советский писатель". Никто не упрекал мою

рукопись в нехудожественности. Обвинения в других грехах выражались весьма уклончиво. Но, роняя слова невнятно, редакторы действовали решительно. Одни — в меру своего страха, другие — в меру своего пещерного невежества. Смешно сказать: стихотворение "Руфь" было изъято из моей рукописи только потому, что ни одному из редакторов не был известен этот образ, вдохновивший, задолго до меня, стольких поэтов и живописцев.

Из разговоров, которые вели со мной несколько функционеров, я поняла, что вас ставит в тупик загадка: почему литераторы, столь разные по речевому строю, по возрасту, да и по своим человеческим качествам, сошлись в одном альманахе. А ведь разгадка проста: до боли всем хотелось увидеть наконец-то свои произведения напечатанными в том виде, в каком они были написаны.

За мое скромное участие в альманахе вы лишили меня права на профессию. Мои стихи, которые и раньше печатались с трудом, теперь и вовсе перестали печатать. Более того, мои переводческие работы, ранее одобренные и частично набранные — итог пятилетнего труда, — выброшены в корзины пяти столичных издательств. Отвечая американским писателям, Феликс Кузнецов лживо умолчал о литераторах, которые подверглись за участие в альманахе "Метрополь" самым безжалостным экономическим санкциям, о литераторах, чьи имена и даже ссылки на имена изымаются из печати.

Я одна из тех, кто летом прошлого года послал вам письмо, в котором говорилось: "Ни у кого не должно быть сомнения, что отсутствие реакции на это письмо ставит нас в положение, в котором находятся наши товарищи Попов и Ерофеев, так как дифференцированный подход к участникам альманаха противоречит чувству достоинства и чести каждого из нас. Мы будем вынуждены выйти из Союза писателей".

И вот сейчас передо мной, не склонной ни к литературным, ни к иным баталиям, стоит дилемма: остаться мне членом Союза писателей или остаться человеком. Я выбираю второе, ибо, перестав быть человеком, нет никакой возможности оставаться писателем. Я выхожу из Союза писателей, в котором состою двадцать три года.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Б. Биргеру

Не сразу она с наготою свыкалась
Внутри полотна.
Смеркалось в окне — и в картине смеркалось
Напротив окна.
И тело, которое в свете витало
Тому полчаса,
Сейчас вечеряющим облаком стало,
В котором глаза
Пустой чернотой обещали сиянье
Полуночных звезд,
А рот увлажнялся, и жизни дыханье
Туманило холст.

1979 г.

* * *

Бывало, вздохну — и пойдет амфибрахий,
Всплакну — и анапест пойдет.
А нынче и я, и друзья-вертопрахи
Лишь письма строчим целый год.

Зачем и куда и кому — неизвестно,
Хоть точные есть адреса.
Свободны, безадресны и повсеместны
Лишь бабочки да небеса.

Свобода — не бунт краснобаев завзятых,
А дар в одиночестве жить,
Себя не жалеть, не искать виноватых
И будущим не дорожить.

Бывало, оно между строк протекало
И лампа сияла в углу,
И бабочка вокруг колпака танцевала,
И небо текло по стеклу.

1979 г.

* * *

В моем дому — фиаско
И сам Евгений Рейн.
Пьем кислую фетяску
И приторный портвейн,
И наши перспективы
Рассматриваем вслух.
Летит Пегас ретивый
Во весь античный дух
По рытвинам эпохи,
По щебню и огню
Сквозь западные брехи
И здешнюю брехню.
"Метрополь" — шайка-лейка...
Но знаем мы взхлеб, —
И я как ротозейка
И он как губошлеп,
Что и в одной телеге
Нас вывезет Пегас,
Что высших привилегий
Лишить не смогут нас.
Поэты, но не бредим,

Безумцы, но не врем, —
Ушлют — мы не уедем,
Убьют — мы не умрем.

1975 г.

* * *

Все окна смотрят на восток,
На школьный двор, на зал спортивный,
Соседский кот окраски дивной
О стекла точит коготок.

Каникулы и тишина.
И все возвышенные мысли
Сошлись на том, что сливки скисли,
Что кот соседский у окна

О стекла точит коготок,
То хвост загнет, то спину выгнет, —
То ль просто смотрит на цветок,
То ль вспоминает свой Египет.

* * *

Нет безлюдных домов, есть бездомные люди...
Как сказать! Погляди хоть на это село,
Толстый иней на ставнях лежит, словно студень,
И сугробы на каждый забор намело.

Не залетят петух, не залает собака,
Даже тени покинули эти места.
Только память глядит, существуя двояко —
Сверху в виде звезды, снизу в виде креста.
1979 г.

* * *

1.
И для тупицы нет секрета,
Что не найти одной тропы
Инакомыслию поэта
С единовластием толпы.

Но нам ли страха устрашиться?
При мне везде мое добро —
Три пальца, чтоб перекреститься,
Три пальца, чтоб держать перо.

2.
И вот мне больше нечего сказать.
Какой позор, какая благодать
Не чувствовать души, не ведать боли!
Последнее, что помнила вчера —
Три пальца для креста и для пера,
Три пальца, чтобы взять щепотку соли.

1979 г.

* * *

Мысль непонятна и рифма слаба,
Музыки и не слышать, —
Если меня не находят слова,
Лучше мне их не искать.

Лучше в столе навести чистоту,
Выйти и к морю свернуть, —
Звезды горят, как на синем спирту,
Зыблется лунная ртуть.

Лучше услышать, как море вздохнет,
 Пряча подводную дрожь:
 Если само тебя Слово найдет,
 То и себя ты найдешь.

1980 г.

* * *

Вдоль частого кустарника
 Да сквозь туман прибрежный
 Глухой походкой странника
 Идет-бредет приезжий.
 И чемодан и книжица
 Старинного формата...
 А вот куда он движется,
 И спрашивать не надо.
 Мы, люди одинокие,
 Меняем постоянно
 Облака высокие
 На низкие туманы.
 1980 г.

* * *

Летало и пело...
 А что это было,
 Не вспомнило тело,
 Душа позабыла.

Но даже не вспомнив, но даже забыв,
 Творю я почти что языческий миф

О том, что светилося,
 Над миром летая,
 О том, что отбилось
 От облачной стаи

И слезы роняло, крыло накрена,
 И жить на земле оставляло меня,

Где жить не умею,
 Не жить ужасаюсь,
 Запомнить не смею,
 Забыть не решаюсь.

1979 г.

* * *

Какое блаженство улечься и думать о прошлом,
 Не видеть греха ни в безвкусном, ни в глупом, ни в пошлом,

А видеть балкон, под которым ночуют атланты,
 На трех головах повязывать пышные банты:

На темечках, "словно тычинки, торчат волосенки...
 Ах где вы мои дорогие, меньшие сестренки?

Но я ведь о прошлом хотела, о прошлом хотела! —
 Взросли и забыли, — какое мне собственно дело?

Я снова при жизни: лелею супруга чужого,
 Соседскую кошку и это прилудное слово,

И снов я не вижу, поскольку во снах пребываю,
 О прошлом подумая — будущее забываю.

А в будущем лезут в окно к одинокой старухе
 Зимой синицы, а летом блудливые мухи,

И в памяти нет ничего кроме бантов крылатых —
 Ни вынянченных, ни ушедших и ни виноватых.

1979 г.

* * *

Гудит, как шмель, электробритва.
Ты здесь, ты — рядом. Наконец
Услышана моя молитва,
Да поздно. Мне уже венец

Плетет из проволоки жгучей,
Плетет и до поры молчит
Тот самый страшный русский случай,
Который нас и разлучит.

Затепливает Пасха свечи
И новую судьбу мою.
Прощай! Прощай до вечной встречи
То ли в аду, то ли в раю.

* * *

1.

От ума до сердца дальше,
Чем от сердца до ума,
Эта истина не старше
И не младше, чем зима,
Где пути столкнулись наши
И сомкнулись наши сны, —
И содвинули мы чаши
Ликованья и вины...

2.

От зимы до лета дальше,
Чем от лета до зимы,
Но с тобой об этом раньше
Не догадывались мы.
В наши маятные годы

Жизнь измерить не могла
Путь от белой непогоды
До лилового тепла,
Где на перекрестке лета,
Над четой могильных плит
В плоской шапке из вельвета
Пижма желтая стоит
И татарник, отцветая,
В серый кутается мех...
Жизнь, и нами прожитая,
Не мигая смотрит вверх.
Там все то, что с нами было,
Там, боясь извечной тьмы,
Ходит маятник светила
От зимы и до зимы.

3.

От земли до неба дальше,
Чем от неба до земли,
Это знали мы и раньше,
Но предвидеть не могли,
Что и тверди мы содвинем,
В час содвинув роковой
Наши души в небе синем,
Наши руки под землей.

1980 г.

* * *

Пребывая в пятом измерении,
А, точнее говоря, во сне,
Я опять кричу стихотворение
О родной каспийской стороне.

Не тоскуй, неверная, по верности,
 Не горюй о том, что мир не прост,
 И что нефть по зыбистой поверхности
 Распустила свой павлиний хвост!

А в какое превратится зарево
 Нефтью оперенная вода,
 Не гляди! — Как будто глаза карего
 Ты лишилась раз и навсегда.

Нету в мире измеренья пятого!
 Нет морей, охваченных огнем!
 Нету ничего! кроме треклятого
 Хаоса в провиденье твоём.

1980 г.

Надежда ПАСТЕРНАК

ПРЕЛОМЛЕНИЕ



Почтовый голубь в круге колдовском.
 Не вылететь, не улечь — кружиться.
 И все по кругу. Гибкий, молодой...
 Кто в облике твоём, земная птица?

Под сводами небес кто начертал,
 поглядывая вниз из-за плеча,
 следить за тенью собственного жала,
 чуть наклонивши шею скрипача?..

Топчу ногами герб Иерусалима —
 семь свеч и львиную живую кость.
 На пальцах звонкий запах апельсина
 рыжее соломоновых волос!

Гуляет ветер на семи горах,
 а в синагогах витражи пожаров...
 И солью засыпают горький прах.
 О, Иудеи вечные скрижали!..

1980 г.

Но спущено забрало. Пред глазами
Искажена динамика движений.
Вот так живу. — Кривые зеркала?
Иль новизна? Иль попросту — измена?
1980 г.

* * *

Однажды, пробужденная к любви,
снимая с палец нити многоточья,
я, выскользнув из раковины ночи,
подумала, что я навек свободна.

Но время не вернуло ничего.
Лишь спрятавшись в цветах гелиотропа,
легла в сачок
таблица гороскопа.

Однажды, пробужденная к любви,
в гареме сна в паху у облаков,
я, выскользнув из патио ладоней,
подумала, что я навек свободна,

что полутон — всего лишь полубог,
что чувственность не лакмус, а природа,
любовь — театр одного актера,
как море:
все — до горла берегов...

Лишь время не вернуло никого.

1980 г.

* * *

Памяти сестры

Душа твоя не в яблоках — в лангустах.
Два ангела снесли ее в лагуну.
Воздушный, нет, вишневый этот сгусток
твоей /или моей?/ любви...

Все спуталось. А под водой легко.
И водоросли думать не мешают.
Лишь чье-то темное, дотошное весло
в риторике волны плечо толкает.

Как больно. Холодна апрельская вода.
И ничего я не могу поделывать.
Все хочется сорвать с лица вуаль,
чтобы тебя, ж и в у ю, не задело.

1980 г.

* * *

В расселине скалы, где мох в июле влажен,
там, где в венки вплетаю профиль махаона,
где на берег волна ушла в волну, как вкладыш —
мы снова сомкнуты окраиной ладоней.

Чего же я так избранно боюсь?

В расселину скалы упавшие чаинки,
в известняке луны мы собраны по нитке,
отбив ладони на галерке чувств.

Чего же я так исподволь боюсь?

На дольки крапивы разделено искусство.
С боярышником больше не в ладу,
Я образ, как чешуйку, оброню,
но кто ее, соленую, надкусит?

Мы сомкнуты. А "ход веков подобен притче".
И день за днем, как детская лапта.
Я знаю свою роль. Но в этой переключке
Искусство, что провизия с лотка.

* * *

Всходящее солнце — улитка, облитая оловом.
 Как больно с души моей каплет живая вода!
 С земли обожженной взлетели почтовые голуби.
 Два хрупких суденышка снова с землей не в ладах.

Очнулись от дремы картавые, древние птицы.
 Им низкое небо лазурью прошило виски...
 Не броситься в море и в небо пустое не ринуться,
 А лишь облачиться в тяжелые ризы — пески.

1980 г.

НОВЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ
 ЛЕОНИДА ИОФФЕ "ТРЕТИЙ ГОРОД"
 МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ:

L. Yaffe
 2/18HaganaSt.
 French Hill
 Jerusalem
 ISRAEL

ЦЕНА: 100 ЛИР
 ПРИ ЗАКАЗЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ: 3 ДОЛЛАРА.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе светоче"

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Газета продается в магазинах русской книги и в киосках страны.



"...Бойкот — это прежде всего естественное, непосредственное, нравственное, душевное движение человека и людей, которые не могут просто так улыбаться и кивать, когда рядом убивают других".

А. Синявский

Виктор ФЕДОСЕЕВ

ОЛИМПИЙСКИЙ МИР И ОЛИМПИЙСКАЯ ВОЙНА

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Идея бойкота Олимпийских Игр, увы, не нова. Изучая материалы для настоящего очерка, я набрел на весьма примечательное высказывание — правда, 45-летней давности — олимпийской чемпионки, прославленной американской пловчихи Элеоноры Холм: "Конечно же, Соединенные Штаты не должны бойкотировать Олимпиаду 36-го года. Да и почему я или другие атлеты должны быть наказаны за действия кого-то там по имени Гитлер, который к нам не имеет никакого отношения?"

Слова эти были произнесены 7 сентября 1935 года, а через неделю Адольф Гитлер утвердил серию Нюрнбергских законов, лишивших евреев и прочих "неполноценных" гражданских и политических прав.

Тогда же за пределами Германии участились голоса, призывавшие к бойкоту предстоящей Берлинской Олимпиады.

Негодование мировой общественности гитлеровские министры расценили как "вмешательство во внутренние дела". Одновременно некоторые государственные деятели европей-

ских стран заявили, что критика в адрес германского правительства способна лишь создать обстановку напряженности и ухудшить отношения с Третьим Рейхом — в переводе на современный язык, помешать детанту — при этом ссылались на заявление нацистского правительства, сделанное 21 мая 1935 года, — о намерении "уважать территориальные ограничения Версальского договора".

За четыре месяца до открытия Олимпиады, 7 марта 1936 года, немецкие войска, вопреки Версальскому договору, вторглись в Рейнскую область. Эту "вынужденную" акцию, направленную, конечно же, на "обеспечение безопасности" жителей Рейнской области, Гитлер оправдывал ссылкой на "милитаристский" договор о союзе между Францией и Советским Союзом.

Германская акция лишь подвигнула молодежные и спортивные организации Европы решительнее развернуть движение за бойкот Берлинской Олимпиады. "Комитет в защиту Олимпийского Духа" созвал в Париже международную конференцию, на которой представители Великобритании, Франции, Нидерландов, Чехословакии и Швейцарии высказались за бойкот "в целях сохранения олимпийских идеалов". Позднее к Комитету присоединились Италия, Бельгия, Финляндия, Советский Союз и восточноевропейские страны. Решено было провести самостоятельные "Народные Игры" в Барселоне — но... начавшаяся в Испании гражданская война помешала осуществить задуманное.

Тогдашний представитель Международного Олимпийского Комитета /МОК/ Эвери Брэндидж лично отправился в Германию, чтобы на месте изучить проблему. Вернувшись, он авторитетно заявил, что не видит "никаких препятствий" для проведения Олимпийских Игр в Берлине.

Президент Рузвельт, настроенный против Берлинской Олимпиады, только и смог, что не пожелать членам американской команды счастливого пути. А 45 лет спустя другой президент Соединенных Штатов, Джимми Картер, скажет: "Если бы мир бойкотировал Берлинскую Олимпиаду, то течение истории несомненно изменилось бы".

В нынешнем "олимпийском" году этот не самый приглядный эпизод в истории достоин особого внимания. Открытие самим фюрером всемирного спортивного праздника в столице Третьего Рейха и присутствие на нем "руководителей партии и правительства", как ничто иное в те дни, способствовало раздуванию национал-патриотического угара немцев и толковалось не иначе, как всеобщее признание внутренней и внешней политики нацистского правительства. И, конечно же, каждая победа германского олимпийца относилась не за счет его личного мастерства, а ставилась в заслугу преимуществу национал-социалистской идеологии.

КТО ПРЕВРАЩАЕТ СПОРТ В ПОЛИТИКУ

В декабре минувшего года советские войска вторглись в Афганистан. В опубликованном в это же время специальном издании "СПОРТ-1980" /Москва, Политиздат, 1979/ говорится как о чем-то само собой разумеющемся: "Утверждение Москвы местом проведения Олимпийских Игр явилось признанием огромных заслуг Советского Союза в борьбе за мир..."

Еще более самоуверенные слова появились в "Книжке партийного активиста", изданной в Москве в январе нынешнего года, авторы которой утверждали, будто решение Международного Олимпийского Комитета провести Олимпийские Игры "в столице первого в мире социалистического государства явилось убедительным доказательством всеобщего признания величия международно-политического курса Советского Союза". Эта публикация — может быть, не столько своей ложью, сколько своей прямолинейностью — особо обеспокоила лорда Килланина, президента Международного Олимпийского Комитета, который, немало смущенный, вынужден был дважды — в апреле в Женеве на заседании МОКа и в мае в Москве после встречи с Брежневым — разъяснить докучливым журналистам, что отнюдь не политический курс Советского Союза побудил МОК избрать Москву для

проведения XXII летних Олимпийских Игр. И вообще, сказал английский лорд, "спортсмены — прежде всего".

Эти три слова довольно точно парирует обозреватель газеты "Вашингтон пост" Мэри МакГрори: "Может, это и так, — говорит она. — Но эти же спортсмены будут призваны прежде других на военную службу, если разразится новая война из-за того, что Советский Союз направит свои танковые дивизии, чтобы оккупировать какую-нибудь страну". Я же добавлю: каждый второй немец, участник Берлинской Олимпиады, погиб в первые дни войны.

И все же, "спорт вне политики", — говорит лорд Килланин. Именно эту мысль, как нетрудно убедиться, цивилизованный Запад стремился всячески провести в жизнь на протяжении последних 28 лет — то есть с того дня, как в 1952 году СССР примкнул к олимпийскому движению. Однако Советский Союз неотступно стоял на своем: любая победа советского спортсмена рассматривалась не иначе, как доказательство "преимущества советского социалистического строя".

Политизация спорта проникала всюду: мы помним, что только в 70-х годах советские футболисты отказались играть на стадионах Чили "по политическим соображениям"; что СССР был наиболее рьяным сторонником исключения из олимпийского движения Южноафриканской Республики и Родезии, разумеется, "по политическим причинам"; что советские фехтовальщики отказались состязаться в Западном Берлине — опять-таки, "по политическим соображениям"; что в 78-м году СССР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Болгария "по политическим соображениям" отказались от участия в соревновании планеристов во Франции; а год спустя советские стрелки из лука бойкотировали первенство мира по этому виду спорта, поскольку на соревнования были допущены спортсмены из стран, чьи режимы СССР не одобряет.

Надо сказать, что процессу этому потворствовал и Международный Олимпийский Комитет, который в 1972 году фактически устранил от участия в Олимпийских Играх команду Китайской Республики на Тайване, предложив ей "изменить... флаг, название страны и национальный гимн". Согласитесь,

что и флаг, и название государства, и национальный гимн имеют больше отношения к политике, нежели к спорту, и это тогда, когда Запад, добрый и доверчивый Запад, по-прежнему призывал к отделению политики от спорта.

И лишь позднее, по мере того, как стало набирать силу движение за бойкот Московской Олимпиады в связи с советской интервенцией в Афганистан, советские идеологи вдруг выбросили лозунг: "Спорт вне политики!"

Показательна в этом смысле изданная агентством печати "Новости" для распространения на Западе специальная публикация на английском языке "Советский спорт — вопросы и ответы" /Москва, 1979/. Приведу в обратном переводе отрывок из диалога между Сергеем Поповым и Алексеем Сребницким /стр. 56/:

В о п р о с : Какова советская точка зрения на утверждение Запада о том, что нельзя смешивать спорт и политику?

О т в е т : Распространенное на Западе утверждение, будто "спорт вне политики", не находит никакой поддержки в СССР. Такое утверждение неприемлемо для нашей страны.

Точка. Чего стоит на этом фоне негодование советской печати по поводу того, что Запад смешивает спорт и политику.

БОЙКОТ МОСКОВСКОЙ...

Особо достается нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки. А ведь мало кто помнит, что в 1978 году президент Картер выступил с категорическим осуждением появившихся тогда в Америке тенденций бойкотировать Московскую Олимпиаду. Надо отдать должное покойному ныне Джорджу Мини, президенту Американской Федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов: он был, пожалуй, первым, кто неодобрительно отозвался о решении МОКа провести в Москве XXII летнюю Олимпиаду — ветерана профсоюзного движения смущали непрекращающиеся нарушения прав рабочих в Советском Союзе.

Один из ранних призывов бойкотировать Московскую Олимпиаду принадлежит английскому юристу Джону МакДо-

налду, адвокату Юрия Орлова, инициатора хельсинкского движения в СССР. Напомню, что Юрия Орлова судили в мае того же 78-го года. К призыву МакДоналда бойкотировать Олимпиаду в знак протеста против жестокого обращения в Советском Союзе с правозащитниками примкнул ряд западных общественных и политических деятелей, по мнению которых безнравственно устраивать международный фестиваль спорта в стране, где свободное выражение мнения рассматривается как уголовное преступление, где страшатся вольной мысли, где желание покинуть страну приравняется к предательству.

И Запад, честный и непуганый Запад, исповедующий идею "спорт вне политики", не поддержал это начинание.

Как-то Бернард Шоу сказал, что самое большое преступление — безнаказанность...

Воодушевленные безнаказанностью за свою внутреннюю политику, руководители СССР принялись за более интенсивное осуществление политики внешней. В середине декабря 1979 года к границе Афганистана — слабо развитой полупустынной страны — начали стягиваться контингенты советских вооруженных сил, а кое-какие боевые части уже вступили на территорию мусульманского государства, чтобы подготовить условия для интервенции. Все это встревожило Запад.

В ответ 23 декабря в "Правде" появилась заметка под названием "Напрасные потуги". Не откажу себе в удовольствии привести из нее отрывок: "В последнее время западные, особенно американские, средства массовой информации распространяют заведомо инспирированные слухи о некоем "вмешательстве" Советского Союза во внутренние дела Афганистана. Дело доходит до утверждений, что на афганскую территорию будто бы введены советские "боевые части". Все это, разумеется, чистейший вымысел".

На другой день, в ночь с 24-го на 25 декабря, когда благодушный Запад обычно занят "диалогом" с Дедом Морозом, — советские войска, вооруженные наисовременнейшей техникой, вторглись в Афганистан — страну, не входящую ни в какие военные союзы.

Эту, конечно же, "вынужденную" акцию, направленную, конечно же, на "обеспечение безопасности" жителей Афганистана, руководители СССР оправдывали тем, что над Афганистаном якобы навис призрак империализма и что явились они, советские войска, конечно же, по просьбе самого афганского правительства — только не сказали, какого: то ли того, которое тут же расстреляли, то ли того, что привезли с собой.

Интеллигентный Запад позволил себе заметить, что ему это не нравится.

Ответ Москвы был гениален по своей простоте: ах, не нравится — а ведь это вмешательство во внутренние дела. И не уйдем мы до тех пор, пока не перестанете вмешиваться.

14 января Генеральная Ассамблея ООН осудила советскую интервенцию. Осудили ее также не только правительства почти всех европейских стран, но и руководители ряда коммунистических партий, в том числе Италии, Испании, а позднее и Франции. Плохо высказались о советской агрессии и коммунисты Югославии. Некоторые политические деятели Европы призывали советских вождей одуматься, не подрывать доверия к идее мирного сосуществования, не захлопывать двери перед лицом детанта. Общественные деятели выступали смелее политиков. Жан-Поль Сартр высказался прямо за бойкот Московской Олимпиады.

20 января, выступая по телевидению, президент Картер сказал, что если Советский Союз не выведет свои войска из Афганистана в течение месяца, то он вынужден будет применить против СССР более решительные политические и экономические санкции, а также просить спортивные организации "перенести, отложить или отменить" Московскую Олимпиаду. Но президент Картер так и не употребил глагола "бойкотировать".

29 января 36 мусульманских государств, собравшихся на Конференции в Исламабаде, высказались против участия в Московской Олимпиаде, если советские войска по-прежнему будут оккупировать Афганистан.

Нового президента Ирана Аболхассана Бани-садра никак не заподозришь в симпатиях к американскому президенту, но

и он весьма доходчиво объяснил журналистам причину, по которой спортсмены его страны не будут участвовать в Олимпиаде-80: "Как можем мы отправиться в Москву, — сказал он, — когда нам известно, что советские войска убивают наших братьев мусульман в Афганистане?"

Международный Олимпийский Комитет, обеспокоенный развитием событий, на заседании в Лэйк-Пласиде 12 февраля форсировал решение о поспешном отклонении предложений президента Картера: единогласно /!/ было постановлено Московскую Олимпиаду не переносить, не откладывать и не отменять. И это тогда, когда по данным института Гэллопа две трети американцев настроены были к тому времени за бойкот. Два месяца спустя, 12 апреля, представители американских спортивных ассоциаций собрались в Колорадо-спрингс, чтобы выразить свое отношение к Московской Олимпиаде, и две трети делегатов проголосовали за бойкот.

Тут уместно вспомнить, что в конце января, находясь в Париже, член оргкомитета "Олимпиады—80" Виталий Смирнов сказал: "Олимпийские Игры без участия Соединенных Штатов немыслимы". Но отнесем эту вполне логичную мысль за счет неопытности Смирнова — Олимпиада состоится не только без участия американской команды, но даже если это будет Спартакиадой СССР и стран народной демократии.

Между тем движение за бойкот продолжалось: 15 мая Национальный Олимпийский Комитет ФРГ, собравшийся на заседании в Дюссельдорфе, после четырехчасовых дебатов также высказался за неучастие в "Олимпиаде—80", и Западная Германия стала таким образом 36-м государством, заявившим о бойкоте Олимпиады. Любопытно, что и тут соотношение голосов точно отразило настроение жителей ФРГ: три пятых к двум пятым — 59 к 40.

Однако и это не помешало политическому обозревателю ТАСС Корнилову сообщить, что решение Национального Олимпийского Комитета ФРГ якобы "ни в коей мере не отражает настроения западногерманской общественности".

Если где-либо на Западе решение Национального Олимпийского Комитета какой-либо страны и не отражало настроений собственных граждан, то это, скорее всего, во Франции: в мае французский НОК проголосовал "единогласно" за участие в Московской Олимпиаде. Согласно опубликованным в те дни данным опроса общественного мнения, около 50 процентов французов высказались за бойкот.

ОЛИМПИАДА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Еще за два года до оккупации Афганистана в СССР началась очередная волна чисток. На сей раз — предолимпийских. Первым досталось наиболее известным правозащитникам — Орлову, Щаранскому, Гинзбургу, Пяткусу. Тогда же Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР обратилась с письмом в Международный Олимпийский Комитет и лично к лорду Килланину. Авторы письма просили МОК и ее председателя призвать правительство страны — устроительницы Олимпиады прекратить войну против своего народа. Они призывали к "Олимпийскому миру".

14 сентября 1978 года академик Сахаров выступил с предложением, чтобы каждая спортивная делегация "приняла на себя конкретную ответственность за судьбу одного, двух или нескольких узников совести в СССР".

В январе 1979 года двенадцать политзаключенных лагеря особого режима — что в Сосновке, Мордовской АССР — призвали участников Олимпийских Игр "превратить стадион в трибуну" и требовать "гуманизации внутренней политики правительства СССР", то есть соблюдения в полном объеме прав человека. С присущей им прямоотой политзеки тогда писали, что "советский деспотизм — наиболее верткая, лицемерная форма тоталитаризма" и что "правительство СССР надеется, что огонь Олимпиады, приковав к себе взгляды миллионов, ослепит их своим сиянием и не даст разглядеть мрачных сторон советской повседневности".

Международный Олимпийский Комитет и лорд Килланин не остались глухими к этим призывам. Они усмотрели в них "привнесение в спорт политических страстей" и заявили, что будут лишать наград тех олимпийцев, которые попытаются вступить хотя бы за одного советского диссидента.

Власти в СССР, разумеется, резко усилили репрессии — и война эта на этот раз развернулась под олимпийским флагом. Голоса на Западе разделились и далеко не все поддерживали точку зрения МОКа. Министр культуры Нидерландов Хардиниерс-Берендсен, выступая в голландском парламенте, в помещении которого проходила в те дни Международная Конференция, посвященная Олимпийским Играм и правам человека, сказала, что правительство Нидерландов опасается, что участие голландских спортсменов в Москве будет "использовано правительством СССР в политических целях и расценено как одобрение политических репрессий и советского военного присутствия в Афганистане". /Напомню, что Голландия, которая в нынешнем году участвует в Олимпиаде, была единственной западной страной, бойкотировавшей Олимпийские Игры в 1956 году, после того, как советские войска подавили венгерское восстание./

Выступая на той же Конференции в Гааге, писатель Андрей Синявский сказал, что участвовать в Олимпиаде означает "согласиться с Афганистаном, согласиться с теми арестами, которые происходят в Советском Союзе". Его поддержал Андрей Амальрик. "Провести Олимпийские Игры в стране, — сказал он, — где находятся десятки и сотни и даже тысячи политических заключенных, чьи войска находятся на чужой территории и подавляют там сопротивление народа — быть может, разумно с политической точки зрения, но оно явно противоречит моральному подходу".

А Эдуард Кузнецов противникам бойкота и сторонникам "диалога при любых условиях" ответил так: "Бойкот — лучшая форма диалога!" — слова, которые на следующий день голландские газеты взяли в заголовки статей, посвященных Гаагской конференции.

Олимпийская война с собственным народом идет успешно: за 79-й год в тюрьмы отправлено более двухсот инакомыслящих — диссиденты, евреи и неевреи, служители культа, безбожники. В нынешнем же, олимпийском, году в столице всего прогрессивного человечества наводится последний лоск: лишь за первые пять месяцев арестовано около 60 правозащитников. Сослан в Горький академик Сахаров.

— Приезжайте, пожалуйста, в образцовый коммунистический город Москву! — приглашает московский писатель Феликс Серебров. — Вас не будет утомлять детский гомон — детей вывезут из города. Вам не будут досаждают недовольные москвичи — всех недовольных уберут из города... Если вы антисемит, не огорчайтесь, вы и х почти не увидите... Приезжайте, пошлина за провоз совести не взимается.

ОЛИМПИАДА И НРАВСТВЕННОСТЬ

В древности на время Олимпиад прекращались войны — в XX веке во время войн не проводились Олимпиады /и в самом деле, не останавливать же было войну в 1916-м, а также в 40-м и 44-м из-за того, что кому-то захотелось попрыгать/.

Неучастие в Московской Олимпиаде — с какой бы стороны на это ни смотреть — не может не иметь нравственного значения.

Спорт, а тем более международный спортивный праздник, какими являются Олимпийские Игры, не может быть отсечен от реальностей современного мира, в том числе, извините, и от политики. Никак не отреагировать на то, что нынешние советские вожди /как и нацистские в прошлом/, под предлогом спортивных состязаний инсценируют грандиозный пропагандистский спектакль, значит смириться с безнравственностью.

Согласно принципам Олимпийской Хартии, страна, вовлеченная в войну — будь то война против чужих или против своих — не может проводить у себя Олимпийские Игры. А если

уж проводит /ведь сказано: "пошлина за провоз совести не взимается"/, то пусть мир сквозь Золото, Серебро и Бронзу увидит оскал истинного лица этой страны-устроительницы.

Москва олимпийская — праздничная, подметенная, подмалеванная, в лентах и флагах. Год 80-й...

Год 36-й... Столица гитлеровской Германии в лентах и флагах... Черная свастика колыхается рядом с разноцветными олимпийскими кольцами. Из громкоговорителей доносятся слова: "Третий Рейх приветствует вас. Германия ваш друг, она хочет только мира и только она имеет силы добиться его!"

"Люди практически ничего не знали о режиме страны, где проводились Олимпийские Игры", — вспоминает Сэм Бэтлер, баскетболист, участник Берлинской Олимпиады.

И в самом деле, Бухенвальд и Дахау были лишь названиями каких-то отдаленных географических точек, как сегодня для многих Сосновка и даже Горький.



ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ,
ПОЛИТИКА

Франтишек СИЛНИЦКИЙ

УГРОЗА КОММУНИЗМА И МОРАЛЬ РОССИИ

Александр Солженицын и русское национальное сознание

А. Солженицын во всем своем творчестве и во всех своих заявлениях по политическим проблемам современности выступает как представитель одной из разновидностей русского национального сознания. Свое национальное чувство Солженицын выражает эмоционально и очень убежденно.

Русскому народу адресовал Солженицын слова: "Жить не по лжи!" Следовательно, и от своей нации Солженицын требует соблюдения моральных заповедей. Солженицын говорит, что русская нация угнетена коммунистическим правительством. Исходя из этого, он неоднократно обращается к Западу с предупреждением не поддаваться тому злу, которое расплодится по миру с его родины.

Национальная принадлежность и национальное сознание — это факторы, которые в течение последних двух столетий повлияли на развитие человечества в не меньшей степени, чем различные социально-политические и экономические идеи. И несмотря на постоянные попытки преодолеть национальное сознание, большая часть населяющего Землю челове-

чества существует в рамках наций, национальных государств, создает национальную культуру, ощущает наличие родины и патриотических чувств. Игнорировать значение национального сознания — значит не видеть мир в его реальности. До сих пор, однако, никто не дал исчерпывающего определения нации и национального характера. Причина, по всей вероятности, в том, что понятие "нация" охватывает не только группы людей и отдельных лиц, но и социально-политические организации, в рамках которых эти люди существуют.

Клод Леви-Штраус писал: "Характеристика национального характера чаще говорит нам больше об авторе этой характеристики, чем о нации самой". И статья Солженицына в журнале "Тайм" /от 18 февраля 1980/ — это прежде всего свидетельство национального чувства Солженицына и его мечты видеть русский народ отделенным от коммунистического правительства. Вот основные проблемы, затронутые Солженицыным в статье: союз Запада с Китаем, измена Запада идеям свободы, денационализация политической власти в СССР.

Предупреждая об опасности коммунизма, Солженицын упрекает Запад в том, что он не способен понять сущность коммунизма и организовать свои силы на защиту против коммунистического зла. С этим можно соглашаться или нет. Но в любом случае нельзя не задуматься над теми аргументами, которые приводит Солженицын в защиту своего тезиса, как и нельзя не задаться вопросом, чего Солженицын, собственно говоря, от Запада хочет.

Он обвиняет Запад в том, что тот неправильно оценил коммунизм еще в 1918 году и что русское национальное сопротивление не получило почти никакой поддержки со стороны Запада. Но он забывает, что для правильной оценки нового явления необходимы время и опыт. Об этом свидетельствует, в конце концов, и эволюция взглядов самого Солженицына. Большевизм победил в гражданской войне без поддержки со стороны Запада. И прежде всего он победил на территории России. В период гражданской войны большевизм формально отрицал лозунг "единой и неделимой Рос-

сии", тогда как белое движение этот лозунг проповедывало, и в этом Запад как раз и поддержал "белых", выступая за интегральную Россию. /Не следует забывать, что после большевистского переворота нерусские нации бывшей Российской империи отделились от Советской России и образовали свои национальные государства: Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Азербайджан, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия./ Даже В. Шульгин — видный представитель русского национализма — вынужден был признать, что именно русские националисты, участвовавшие в белом, антибольшевистском движении, своим отношением к нерусским нациям оттолкнули их от себя.

Более того, о роли русского национализма в период стабилизации большевистской власти в России наглядно свидетельствует призыв бывших царских генералов Брусилова, Зайончковского, Клембовского и Гутора во время войны с Польшей в 1920 году: "Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились". Они призвали бывших офицеров добровольно, охотно и самоотверженно вступать в Красную Армию, на фронте или в тылу — всюду, куда пошлет их правительство рабоче-крестьянской России; добросовестно служить там и своей честной службой, не щадя жизни, любой ценой защитить дорогую Россию и не позволить разграбить ее.

В декабре 1921 года 33,7 процента командного состава Красной Армии было представлено бывшими офицерами царской армии. В связи с этим следует подчеркнуть, что польская армия в то время вообще не вошла на территорию русской нации. Бои велись на Украине, в Белоруссии и на польских землях. И тогда Запад никакой помощи большевикам не оказывал.

Однако вернемся к вопросу, чего хочет А. Солженицын от Запада. Недостаточно только критиковать Запад за безразличие. История русской нации дает нам много примеров того, как политические эмигранты, воспользовавшись в разные времена возможностью найти на Западе убежище, все же считали социально-экономическую и политическую орга-

низацию Запада неприемлемой для России. Они отвергали демократические институты Запада и западную культуру.

Критиковать свой народ не легко, и, критикуя коммунизм, Солженицын старается отделить русскую нацию от компартии и правительства СССР, как бы денационализируя носителей власти. Солженицын не учитывает при этом, что национализм может проявляться в самых различных формах и что один из аспектов русского национализма — это отношение русской нации к своему государству. Взгляды на русский народ, не созвучные его собственным, Солженицын называет "безумными" и "обезоруживающими Запад".

По его словам, идет целая последовательная кампания, ее ведут видные американские профессора и публицисты, а безответственную пристрастную информацию им поставляют группа новых эмигрантов из Советского Союза.

Этим самым Солженицын несколько сужает проблему. Речь ведь идет не о русской нации вообще, а о русской нации, которая проживает в конкретном государстве. И только человек, полностью поглощенный своими национальными эмоциями, может написать: "От души русского народа воинствующий национализм сейчас далее всего, империя ему отвратна".

Если так думает Солженицын — это великолепно. Но утверждать, что так считает вся русская нация — это слишком смело. Русская нация сама по себе, безусловно, не является носителем имперского великодержавного шовинизма, народом-русификатором, народом-завоевателем, подавляющим культуру других наций и навязывающим свой стиль жизни другим... Но все дело в том, что русская нация отождествляется с русским государством до 1922 года и с СССР после декабря 1922 года. Русское государство до большевиков всячески препятствовало отделению нерусских наций. Правительство Ленина реставрировало распавшуюся после 1917 года империю. А его преемники продолжают ее расширять. Но Солженицын утверждает: "Бездумное заблуждение — считать русских в СССР "правлящей нацией". Слова эти могут вызвать лишь удивление. Ведь сами большевики

с момента своего выхода на историческую арену с гордостью называли себя партией русского языка, и Ленин писал о "национальной гордости великороссов".

Коммунистические партии формируются не в космосе, у них у всех — своя национальная база. /Мы не говорим сейчас о человеческих качествах представителей той или другой национальности, присоединившихся к коммунистической партии./ А потому русскую нацию нельзя отделить от КПСС так же, как нельзя отделить другие нации от их компартий. Денационализация русского коммунизма может быть бальзамом для той или иной антикоммунистической национальной группы, но, по существу, это бессмыслица, совершенно игнорирующая национальный состав КПСС, ее аппарата и выборных органов, социально-экономическую и политическую структуру страны, идеологию и механизм власти. Постоянно доказывая, что русская нация не имеет ничего общего с воинствующим национализмом, что ей чужды имперские стремления, Солженицын вдруг совершенно неожиданно пишет: "Сейчас коммунистическая верхушка со своей одряхлевшей идеологией снова мечтает оседлать русский национализм для своих имперских целей, — а такие западные руки толкают коня под всадника — под всадника против себя самих!". Таким образом, Солженицын отрицает, что русским присущ воинствующий имперский национализм. Он отрицает участие русской нации в действиях коммунистического государства и в то же время признает, что этот якобы несуществующий воинствующий национализм может быть использован КПСС при подавлении ею других наций и государств, и послужить для этого лучшим средством, чем обветшала коммунистическая идеология.

С точки зрения формальной логики так же в свое время действовал и Ленин, который еще до Первой мировой войны начал утверждать, что евреи — это не нация и нацией быть не могут. Но, доказывая это, Ленин в то же самое время призывал бороться против еврейского буржуазного национализма — уникальный трюк воинствующего большевизма: борьба против национализма несуществующей нации!

В солженицынском предостережении Западу заслуживает внимания еще одна деталь. В перечне страдающих от коммунизма наций Солженицын опустил Чехословакию. Может быть, он это сделал потому, что не мог игнорировать 1968 год, когда народы Чехословакии оказали полную поддержку чехословацкой компартии в момент, когда КПЧ следовала историческим и культурным традициям своих народов и вступила в конфликт в первую голову с русским типом коммунизма, с русским империализмом. "Пражская весна" была подавлена не внутренними силами, а вооруженными силами СССР.

Может быть, поэтому в Чехословакии "русские" стали синонимом "советских". Проживающий ныне во Франции чешский писатель Милан Кундера об этом сказал: "Я говорю не о коммунизме, а о русском тоталитаризме. Составной частью этого тоталитаризма является агрессивность в области культуры... Моему народу отвратительны поцелуи аппаратчиков, обязательное восхищение всем русским... От истории чешской культуры осталось лишь то, что смог переварить и усвоить русский тоталитаризм... Я сопереживаю с русскими диссидентами, хотя моя судьба отлична от их судьбы. Русские диссиденты борются против демона своей собственной истории; они переживают трагедию — это без сомнения, но это их подлинная судьба. Тогда как мы были лишены своей судьбы, нас поглотила чужая история. Русские диссиденты героически восстают против конформизма большинства советского общества. Нас же поддерживает большинство нации, покоренной чужеземцами. Солженицын с берега иной культуры беспощадно осуждает Запад, кризис которого, по мнению Солженицына, вызван разлагающим духом Ренессанса. Но я — составная часть Запада, я связан с его духом сомнения и полемики... Русские диссиденты, как и русские маршалы, ни капельки не сомневаются во всемирной миссии своей родины... Глядя на Москву, Запад может увидеть контуры чуждого ему будущего. Но глядя на Прагу, Запад может видеть картину своей собственной казни".

Солженицын говорит нам об одном из проявлений русско-го национализма, об антикоммунистических убеждениях среди русских. Но до тех пор, пока русский национализм не начнет обращаться к своему народу, не отречется от имперской политики, — до тех пор не только чехи, но и десятки других наций будут видеть в русских чужаков-угнетателей, народ, который несет угрозу миру.

Солженицын предупреждает и будет предупреждать Запад об угрозе коммунизма. Но, может быть, уже настало время проявить высокую мораль русского национального сознания и русского патриотизма и задаться вопросом, почему русский народ отождествляется с русским коммунизмом, почему так считают другие нации, почему в русском народе они видят национальную и политическую опору КПСС, почему, наконец, СССР отождествляют с Россией.

Солженицын, вероятно, согласится с тем, что проблема русской нации заключается не в том, как ее оценивает Запад, а в том, каково ее подлинное положение в СССР, каково отношение самой русской нации к государствам советской сферы влияния и к миру вообще. Это — внутренняя проблема русской нации, и ее Запад решить не может — за русских и для них. Отношение к русскому народу не изменится от того, что Солженицын назовет его жертвой нерусского коммунизма. Но оно может измениться в том случае, если Солженицын призовет русскую нацию перестать быть инструментом насилия в руках собственного коммунистического правительства.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ПУТЧ В ИЗРАИЛЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Объективный наблюдатель не может не заметить, что обстановка внутри Израиля становится все более напряженной. Один за другим последовали два террористических акта, которые потрясли страну. Первый — с арабской стороны в Хевроне, унесший шесть жертв, другой — ровно тридцать дней спустя, по-видимому, с еврейской стороны. В результате были ранены мэры городов Наблуса и Рамаллы и еще семь человек на Хевронском рынке.

Убийство в Хевроне вызвало всеобщее возмущение в Израиле. Этого, однако, нельзя сказать в отношении последовавшего через месяц антиарабского террористического акта, о котором у нас еще пойдет речь.

Многие в Израиле еще помнят зверскую резню еврейского населения в Хевроне в 1929 году, резню, положившую конец одному из старейших еврейских поселений в этом библейском городе. Может быть, память об этом и углубила возмущение, охватившее широкие общественные круги.

Состоявшееся в Кнессете обсуждение продемонстрировало единство депутатов в оценке этого события, но обнаружило разногласия относительно политической стороны дела.

Чтобы понять это, обратимся к событиям тринадцатилетней давности. После победы в Шестидневной войне Хеврон оказался в руках евреев, и к их чести надо сказать, что никаких кровавых эксцессов или актов мести не произошло. Было создано новое израильское поселение Кирьят Арба, заселенное религиозными евреями, для которых Хеврон был дорог как город праотцев. Нельзя сказать, что жителям этого поселения удалось установить дружественные отношения с арабским окружением. Тем не менее эти отношения были совершенно корректными. Многие арабы работали в поселении Кирьят Арба, и евреи пользовались услугами арабского рынка.

Но мало-помалу возникали трения и даже конфликты. Прежде всего трения возникали вокруг так называемой "пещеры Махпела", где по преданию были похоронены праотцы Авраам, Исаак и Яаков. Далее, причиной конфликтов являлось не всегда тактичное поведение еврейских поселенцев, ощущающих за своей спиной силу государства Израиль. Наконец, трения возникали из-за домов, принадлежащих в двадцатых годах евреям. Одно из таких зданий, в котором когда-то размещалась больница "Гадаса", было явочным порядком занято еврейскими женщинами из Кирьят Арба. Решение правительства освободить здание выполнено не было, и в конце концов власти пошли на попятную.

Так обнаружилась роковая слабость правительства Бегина, отступающего перед натиском крайне националистических групп, впрочем, имеющих своих покровителей в самом правительстве. И вот, во время обсуждения в Кнессете событий в Хевроне обо всем этом напомнил бывший начальник Генерального Штаба израильской армии и нынешний секретарь партии труда Бар Лев. Он открыто заявил, что один из факторов, повлекших трагедию в Хевроне, был произвол, не встретивший отпора со стороны правительства. Заявление Бар-Лева вызвало бурные протесты в стране, его обвиняли в

том, что он косвенным образом пытается оправдать арабское злодеяние. Но бывший начальник Генерального Штаба от своих слов не отступил, заявив, что он лишь высказал жестокую правду. Правду о том, что воинствующие националисты из Кирьят Арба пытались поставить свою волю над волей правительства, и их попытки увенчались успехом.

2

Надо сказать, что акты террора, имевшие место в последнее время на Западном берегу, в принципе встретили в Израиле резкое осуждение. Но вместе с тем раздалась и некоторые из ряда вон выходящие голоса. Кому же они принадлежат? Один из лидеров фракции Мафдал /национально-религиозная партия/ в Кнессете раввин Друкман, комментируя события в Хевроне, привел цитату из Святого Писания: "Да погибнут все твои враги, Господи", Такова была его реакция на покушение против арабских мэров. В то же самое время раввин Левингер, один из вождей националистического движения Гуш Эмуним, заявил, что хотя покушение против арабских мэров не является делом рук активистов его движения, но в любом случае нечего огорчаться, поскольку эти мэры принадлежат к организации Ясера Арафата, стремящейся убивать евреев. А незадолго перед этим в газете "Джерузалем пост" можно было прочитать следующие слова вождя Гуш Эмуним Иоханана Пората: "Нет уже больше возможностей избежать кровавых столкновений между евреями и арабами. Эти столкновения только доказывают, что совместная жизнь невозможна, и результатом будет изгнание всех арабов с территории Западного берега".

Это уже переносит вопрос в другую, сугубо политическую плоскость. Так или иначе, в Израиле имеется меньшинство, но при этом меньшинство воинственное, которое пользуется довольно широкой поддержкой у населения и в принципе не верит в арабо-еврейское сосуществование, оно стремится взорвать все возводимые мосты между обоими народами. Разумеется — и это также не может ускользнуть от внима-

ния всякого наблюдателя — что выстрелы, прозвучавшие в Хевроне, направлены в сердце израильско-египетского соглашения о мире, и это уже, конечно, более серьезно, особенно если принять во внимание, что переговоры между Израилем и Египтом об автономии на контролируемых территориях Западного берега зашли в тупик.

Наконец, невозможно пройти мимо внутреннего аспекта проблемы террора. Логика событий такова, что те, кто пользуется террором против арабов, рано или поздно могут обратить его острие против "внутренних врагов", якобы содействующих арабам своей мягкотелостью. В газетах опубликовано сообщение о создании нелегальной организации "Террор против террора", а также о случайно обнаруженных тайниках оружия. Все это заставляет насторожиться: не грозит ли Израилю братоубийственная, гражданская война?

На одном из последних заседаний правительства были произнесены слова, прозвучавшие подобно снаряду дальнего боя: "Безопасность важнее конституции". Автором этих слов был генерал Ариэль Шарон, нынешний министр сельского хозяйства и в прошлом один из боевых командиров израильской армии. Смысл этих слов был понят всеми, хотя они были вычеркнуты из протокола. Многие в Израиле говорят, что это только начало, что толчок, данный правительством Бегина в сторону обострения арабо-еврейского конфликта, будет набирать силу. Куда это приведет страну, трудно сказать. Пока что мы лишь попытались восстановить поток событий, по горячим следам которых мы и идем.

3

Разыгравшийся в правительстве Бегина скандал в связи с отставкой Эзера Вейцмана вызвал в стране мощный резонанс. Кандидатура нынешнего министра сельского хозяйства Шарона на пост министра обороны решительно отвергается рядом министров, угрожающих правительственным кризисом. Волей-неволей и глава правительства вынужден был отказаться от этой кандидатуры. Среди широкой публики стало из-

вестно, что Менахем Бегин будто бы при этом сказал, что Ариэль Шарон способен послать танки, чтобы окружить здание правительства.

Вслед за этим на заседании кабинета имела место интересная сцена: Бегин принес извинения Шарону за свои слова, сказанные, якобы, в юмористическом тоне. Но заместитель премьера Симха Эрлих, заявивший в частном письме, что Шарон создаст концлагеря в стране и что он, Эрлих, будет одним из первых узников в таком лагере, — взять свои слова обратно решительно отказался...

Однако замедлим шаг и попытаемся несколько приподняться над текущими событиями, взглянуть в их внутренний смысл: в каком направлении роет крот истории? Поставим вопрос напрямую — не нависла ли над Израилем угроза путча?

Обычно путч вырастает из стремления меньшинства навязать волю большинству, используя при этом насилие. Но корни путча надо всегда искать в расстановке политических сил, в определенной общественной атмосфере. Вообще говоря, он может выступить в облике тривиального военного переворота, как это было уже бесконечное число раз в странах Латинской Америки. Но путч, имеющий известные исторические корни, включает в себя почти всегда несколько типовых моментов. Главнейший из них в том, что путь к деспотии сопровождается лозунгами о спасении родины от внешней опасности.

Бонапартизм во Франции в прошлом веке, выросший из переворота "18 Брюмера", является как бы классическим прототипом такого рода путчей. В стране создается известное равновесие сил, и государство превращается в своего рода "третий фактор", стоящий над противоборствующими силами. Не напоминает ли это создавшееся сегодня положение в Израиле?

Разумеется, трудно здесь говорить о каких-то сложившихся штампах. Как и в каждом социальном явлении, мы сталкиваемся с безграничным разнообразием вариантов. Однако, чтобы представить себе возможное развитие событий, давайте вернемся к "перевороту" 1977 года, происшедшему в Израиле.

Этот "переворот" не был путчем. Народ хотел перемен после тридцатилетнего властвования партии труда. Избиратели дали мандат тройственной коалиции — союзу национализма, капитала и клерикальных сил — в надежде на то, что придет, наконец, власть, способная навести порядок в стране. Теперь, спустя три года, можно подвести некоторые итоги. Как говорится, наделала синица шума, а моря не зажгла. Правда, произошла не только смена правительства, но и смена режима. Однако никакая национальная революция так и не свершилась. Меч "рыцаря без страха и упрека", последователя Жаботинского, оказался бумажным мечом. Недаром была создана новая партия "Возрождение", обвинившая главу правительства в предательстве и забвении идеалов.

Как бы то ни было, сформированный Бегиним кабинет оказался не более, чем тривиальной коалицией ряда партий и их осколков, вечно грызущихся между собой и "функционирующих" подобно неудачным персонажам квартета Крылова. Но нет в Израиле сегодня великого баснописца, который мог бы им сказать: "А вы, друзья, как ни садитесь...". То, чего хотел народ — создания твердой власти — не состоялось. Конечно, Израиль изменил свое лицо — этого нельзя отрицать, но увы, не к лучшему.

4

Как бы побочным результатом выборов 1977 года была победа доктрины целостного Эрец Исраэль. Целых десять лет страна топталась на одном месте, не будучи способной принять решение относительно завоеванных территорий: аннексировать или возвратить. Шестидневная война создала целостный Израиль, но расколола на два лагеря народ. Так вот на выборах 1977 года победила доктрина целостного Израиля, но не потому что этого хотели избиратели, а потому что ведущей партией новой коалиции оказалась партия, знаменем которой является целостный Эрец Исраэль.

Далее мы сталкиваемся с горькой иронией истории. К всеобщему удивлению, Бегин не только не присоединил оккупированные территории, но пошел на мир с Египтом, он согласился возвратить египтянам весь Синай и начал перегово-

воры об автономии для палестинских арабов. Беда, однако, в том, что переговоры эти уже давно оказались на мели, и никто не знает, как их сдвинуть с мертвой точки. Вот так и получилось, что страна оказалась в плену доктрины, оторванной от действительности. Власть этой доктрины заставила двух ведущих министров оставить правительство и она — эта доктрина — все больше сужает тот общественный базис, на который опирается правительство Бегина.

Таким образом, происходит новая расстановка политических сил в стране в довольно оригинальном переплетении, над которым следует задуматься. Только теперь становится очевидным, что победа Ликуда на выборах 1977 года была победой, явившейся своего рода анахронизмом в израильской политике. Зародившийся в 20-х годах ревизионизм Жаботинского всегда находился на правом фланге сионизма. Я бы хотел подчеркнуть понятие — "на фланге". Это не было случайностью — движение Жаботинского выражало неосуществимое в сионизме. Очутившись в 1977 году у власти, движение это оказалось в центре национальной жизни, то есть было призвано практически реализовать неосуществимое. Отсюда и все последствия.

Собственно, это и есть роковой момент в политической карьере Бегина: он должен сделать вывод, но не в силах его сделать. Здесь-то и обнаруживается его слабость, преграждающая ему путь к тому, чтобы стать исторической личностью.

Примечательна характеристика, которая дана ему людьми из его же правонационалистического лагеря: "Бегин — не мудрый человек, он только умный человек, его личность сформировалась в результате пятидесяти лет непрерывных схваток. Он слабый человек. Он хочет нравиться... Посмотрите на него, когда ему аплодируют. Посмотрите, как он буквально раздувается изнутри. Его опьяняет успех. Когда американские евреи обвинили его в том, что он подрывает еврейское единство, он, конечно же, не устоял. Явился в отель "Астория" к этим тысячам жирных, богатых американских евреев, которые всю жизнь травили его, и сказал: "Я принес вам мир!" — И они встали и пять минут аплодировали ему.

За эти пять минут он продал и себя, и народ, и государство. Он неплохой человек — он слабый человек, и ему не хватает смелости признаться в этом. Ему не хватает смелости признать, что он ведет страну к катастрофе" /М. Кагане. "Иерусалимские размышления"/. Мы не станем касаться личных качеств Бегина. Но нет сомнения, что, будучи зажатым в тиски между своей доктриной и действительностью, он оказывается неспособным вырваться из этого порочного круга.

Несмотря на слабость премьера, в Израиле создается парадоксальное положение: у руля государства находится правительство одного человека. Сомнительно, имеет ли Бегин большинство даже в собственном кабинете, который держится и не распадается только в силу коалиционных соображений и комбинаций.

В распоряжении главы правительства сегодня только одно оружие, которым он широко пользуется: он неустанно запугивает народ и нагоняет страх — оппозиция-де хочет возвратить контролируемые территории Иордании, которая передаст их в руки Ясера Арафата. Но глава правительства, конечно, не рассказывает народу, что он сам содействует укреплению Арафата своим отказом договориться с умеренными силами в палестинском движении. Так арабский фронт отказа и израильский фронт отказа работают друг на друга.

5

Однако, чтобы стал возможным путч, недостаточно одного лишь существования "претендентов на престол". Нужно также, чтобы в народе была "разрыхлена почва" для их принятия. Всеобщие разброд и подавленность являются лучшей почвой и обстановкой для путча. В этом и состоит причина того, что у многих вызывает такое беспокойство "состояние духа" народа в Израиле.

Итак, налицо страх, нагнетаемый, как уже было сказано, главой правительства. Далее — разброд, вызванный поляризацией политических сил и разрушающий единство нации. И, наконец, — это общее падение нравов, коррупция, крушение

идеалов, рост преступности. Мир исключительно материальных интересов и финансовых манипуляций все больше завоевывает головы и сердца людей. Моральная депрессия дает о себе знать на каждом шагу. Это и есть та атмосфера, когда народ ждет спасителя и готов призвать Мессию для того, чтобы тот положил конец всеобщему смятению, страху и разброду.

То, что в Израиле существует хорошо организованное воинствующее националистическое меньшинство /Гуш Эмуним/, а также и другие группы подобного характера, среди них и террористические, — ни для кого не составляет секрета. Об идеях, вдохновляющих группу Меира Кагане, рассказывал недавно он сам в уже упомянутых мной "Иерусалимских размышлениях": "Я не большой поклонник большинства ради большинства. Правило большинства — это только общая рамка. Должна быть идеология, должны быть убеждения, должна быть концепция. Что совершил бы Моисей, если прислушивался бы к большинству? Чего добились бы Маккавеи? Только слабые, испуганные люди нуждаются в большинстве. Я в них не нуждаюсь".

Вот перед нами "сильная личность" во всей своей наготе. Люди этого типа не отдают себе отчета в том, что их презрение к воле большинства разрушает еврейское государство. Что такое еврейское государство, не освященное волей большинства? Либо авантюра, либо пустышка.

Конечно, Кагане сегодня не играет сколь-нибудь значительной роли в израильской политике, и надеемся — не будет играть, но само наличие этой фигуры на израильском горизонте в данный момент показательно. И именно с этой точки зрения и представляют интерес его высказывания.

6

Еще пару лет тому назад Лева Элиав писал в своей, уже однажды цитированной нами книге "Лестница Израиля": "Тот, кто полагает, что слова "восстание", "призыв к оружию"

и т. п. слишком ужасны, свидетельствует о том, что ему снятся золотые сны. Израиль полон оружия, — легального, полулегального и нелегального... Если создастся положение, при котором подпольные или полуподпольные организации задумают "взять закон в свои руки", в их распоряжении будут револьверы, бомбы, ружья и сколько угодно другого оружия". И далее автор разъясняет: "Перед созданием государства под эгидой англичан происходили вооруженные столкновения и кровопролитие. Кто может поручиться, — спрашивает Элиав, — что при настоящем положении, когда в Израиле поднимают голову крайние элементы разных мастей, и когда рассудок во многих случаях уступает место безрассудству, кто поручится, что Израиль не познает этот потрясающий этап гражданской войны?".

К каким заключениям приходит Элиав? "Анархия или гражданская война могут вполне породить в Израиле диктатуру..., хотя и не под этим названием. Всегда найдутся более чистые имена: "правительство национального спасения", "чрезвычайный национальный режим" и т. п. Этот режим отменит гражданское судопроизводство, распустит партии и переарестует их вождей, посадит людей за решетку без суда, на длительное время, создаст концентрационные лагеря /для них тоже найдутся "более чистые" названия, например, лагеря труда/, закроет ворота для покидающих страну и даже может дойти до применения смертной казни в отношении "предателей". Короче говоря, существует опасность, что будет установлен режим, действующий во многих других странах, в арабских странах, в Азии, Африке, Латинской Америке и Восточной Европе".

Такова апокалиптическая картина, которую рисует наш автор. Можем ли мы сказать, что события будут развиваться именно в этом направлении? Я не уверен в этом. Но можем ли мы, положив руку на сердце, сказать, что это ни при каких условиях не произойдет? Нет, не можем. В любой момент это может стать актуальным. Это может настичь Израиль в пути, в тот час, который может быть назван часом расплаты, когда

придется возвращать после многолетних проволок завоеванную территорию. И это будет час тяжелых раздумий и горького разочарования для народа Израиля, в сущности ничем не поправшего своей совести перед Богом и людьми.

Конечно, обвинение еврейского государства в империализме, колониализме, расизме и других смертных грехах — не более, чем злостный вымысел, рассчитанный на обработку наивного общественного мнения. Мотивы израильской оккупации не имеют ничего общего с колониализмом и дискриминацией арабов. Более того, оккупационный режим Израиля, вероятно, самый либеральный из всех возможных. Но это все же оккупационный режим. И хотим мы того или не хотим, он означает господство над народом, который этого господства не хочет. Вот почему неизбежен час, когда образумившийся Израиль поймет, что прежде всего ему самому надо освободиться от бремени оккупации, этой тяжелой моральной ноши. Израиль должен быть заинтересован в этом более, чем заинтересованы арабы, — продолжение оккупации неизбежно связано с моральным падением и разрушением нашего общества.

7

Сотни и тысячи лет народ Израиля мечтал о своей национальной родине, но когда час мечтаний свершился, оказалось, что только часть Родины может перейти в его владение, правда, полное и исключительное. История не знает жалости. Но народ явно не готов принять ее вердикт и продолжает мечтать. Беда в том, что многие от мечты переходят к делу, не желая понять, что мечта, пусть даже самая справедливая, — это только мечта...

Прежде чем осуждать Израиль, надо, следовательно, понять силу и значение его привязанности к родине своих праотцев. Бен Гурион, который взял на себя великую ответственность за раздел страны, который после победы в Шестидневной войне был единственным, кто соглашался возвратить арабам все /кроме Иерусалима/ взамен на подлинный мир, — даже он не был свободен от мечты о целостном Израиле. В письме к Геу-

ле Коэн он писал: "Я не знаю в еврейской истории ни одного поколения, деяния которого были бы закончены. В главе XIII Иисуса Навина мы читаем: "Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще много". И все же, — продолжает Бен Гурион, сыновья Израиля радовались победам Иисуса Навина, хотя они и не были полными. Я не думаю, — пишет он в заключении, — что мы уже причадили к нашему заветному берегу".

Где он, этот заветный берег, и есть ли он вообще?

Когда явно неосуществимые цели становятся элементом политики, то эта политика превращается в миф. Вот в этом все дело: Бегин возложил на себя и на Израиль стремление к невозможному.

Если же мы зададимся вопросом — в чем смысл того круговорота событий, в котором оказалось еврейское государство, то возможен только один ответ: на полях Израиля ведется великое идейное сражение между национализмом здравым и достижимым и национализмом безрассудным.

8

Из сказанного выше следует, что правительство Бегина правит, но не властвует — во всяком случае не властвует над националистическими группами, больше того, — оно находится в плену у этих групп.

В Израиле создается положение, близкое к двоевластию — то ли законное правительство, то ли Гуш Эмуним управляют государством. Это двоевластие порождает опасность путча.

Если мы не пойдем так далеко, как мэр Иерусалима Тэдди Колек, заявивший, что Бегин "философски ответствен" за покушения на контролируемых территориях, то и в этом случае мы приходим к выводу, что правительство не способно противостоять террору. Как говорят в народе, ворон ворону глаз не выклюет. Расследование покушения на мэров арабских го-

родов до сих пор не принесло никаких плодов, а премьер наш уже спешит заявить, что история знает немало нераскрытых покушений. А как важно было бы, чтобы израильское правосудие перед всем миром продемонстрировало свою силу, тогда как оно демонстрирует ее отсутствие.

Мы уже сказали, что двоевластие порождает путч. К этому надо добавить — террор готовится путч. Почему сионизм на протяжении всей своей истории осуждал террор? Потому что он держал курс на мир с арабами и стремился избежать обострения вражды. Второй причиной было принципиальное осуждение террора, как средства политической борьбы.

По-видимому, в Израиле набирают силу круги, которые бы хотели все это сдать на свалку истории. Вряд ли есть смысл строить иллюзии. Пока страной управляет партия Бегина, никакой борьбы с террором и опасностью путча не может быть. "Претенденты на престол" слишком близки к правительству, а может быть и в нем самом. Кто именно эти претенденты, в создавшейся ситуации не так уж важно. И мы не будем делать прогнозов, поскольку история не раз подобного рода прогнозы опровергала. Но та же история сегодня заставляет задуматься и предостерегает от нависшей над страной опасности.



Наталия ГРОСС

ШРАМЫ РОССИЙСКОГО ОДИССЕЯ

В одном произведении русской литературы, написанном в эмиграции, есть примечательный отрывок. Герой, авторский двойник, прерывает размышления о месте, где должно человеку родиться и умереть, созерцанием таинственной космогонии: "...А в темноте за окном через все небо проходил острый белый полукруглый шрам, как застывшая молния. В отчаянии понять, что происходит, я стал поворачиваться всем телом, и шрам на небе передвигался вслед за моими движениями, деля небо пополам, куда бы я ни повернулся..." /Зиновий Зиник, "Извещение"/*.

Космическая аллегория этого отрывка, думается, символична для русской литературы эмиграции третьей волны в целом, чье литературное пространство рассекает шрам. Шрам разделяет две непересекающиеся плоскости: в одном сечении лежит сфера прошлого, доотъездного опыта, в другой плоскости, как бы в другой галактике, сегодняшнее бытие героя — Нью-Йорк или Иерусалим. На одном полюсе, в "солнеч-

ной системе" — Москва; на противоположном полюсе, в каком-то другом измерении, — "чужие города". Посреди — шрам, шрам душевного смятения личности, утерявшей привычные ориентиры во времени и пространстве. Шрам — граница, делящая мир на свой и чужой.

На противопоставлении свой — чужой строится структура "эмигрантского" сознания, проникшего в литературу. Литературный конфликт сводится к тому, что личность героя ошибочно перераспределяет систему координат своего и чужого в топографии жизни: прошлое, когда-то опостылевшее, вдруг представляется таким близким и своим, а настоящее, которое рисовалось радужным и прекрасным будущим, становится ненавистным и чуждым. Герой понимает, и именно тогда, когда поздно уже что-либо изменить, что на протяжении одной жизни ассимиляция в чужом мире вряд ли возможна, она бессмысленна и не органична, даже несмотря на наличие ведомств, пытающихся регламентировать состояние души /"Наяна" в прозе Аркадия Львова, благотворительные и богоугодные учреждения в книге Лимонова, соответствующие израильские инстанции и функционеры-добродоты в прозе Зиновия Зиника/.

По существу, вся эмигрантская литература — социальная драма, где герой, остро переживая столкновение своей неповторимой индивидуальности с коллективной волей, доказывает /испытав это на собственной шкуре/, что конфликт личности и общества извечно неразрешим. Общество — каким бы оно ни было, с деспотами или без оных, с конституцией или без таковой, просвещенное или примитивное, с признаками рабовладения или же с немыслимой свободой, — в одинаковой степени чуждо личности. В прошлом герой чувствовал себя чужим в тяжелом, тупом, провинциальном российском государстве, вершившем над ним насилие и явившемся в конечном итоге причиной его изгнания за рубеж. В эмигрантской литературе продолжает звучать мотив сильной неприязни к "пространству" прошлого, к социальному бытию, которое, вопреки воле героя, навязывало ему немилое отечество. Герой, авторское alter ego, — мыслящая личность,

*Журнал "Время и мы", №8, 1976.

литератор, поэт, интеллигент, — принимает решение отказа от отечества, потому что продолжать существовать в том мире далее означало бы перестать быть самим собой, т. е. перестать быть мыслящей личностью, литератором, поэтом, интеллигентом.

БЕГСТВО ГЕРОЯ

Побег героя — это бегство от навязываемой ему коллективной культуры, к которой он не желает принадлежать, не ставя ее ни в грош. Он верует в то, что в другой социальной общности, обретя свободу, он будет принят за своего. Но став свободным, он не становится своим — такова логика и структура мира, о которой российский Одиссей, отправившийся на Итаку за свободой, не подозревал.

Путешествия и странствия в литературе — всегда источники нового опыта и знания о себе и о мире. Российский Одиссей, расширив границы своего социального бытия, открывает новые закономерности и соотношения человека и пространства. Раньше, не вкусив запретного плода свободы, он был наивен. Он полагал, что пространство едино повсюду, а бытие человека, независимо от места, универсально. Эту теорию провозглашает тургеневский Гамлет Щигровского уезда, не умудренный опытом бывалого путешественника: "...Я думал, наука повсюду одна, и истина тоже, вот я и отправился, с Божьей помощью, в чужие края..."

Опыт опровергает предвзятые книжные знания, почерпнутые из романов, туристских справочников, кинолент, философских и политических доктрин. Гамлет Щигровского уезда так и не узнает жизни настоящей Европы. Вопреки мечтам и чаяниям, ничто не меняется — он ведет одинокую жизнь изгнанника и изгоя, сближаясь кратковременно и поверхностно лишь с соотечественниками, да и то со случайными знакомцами "чужого" круга — отставными поручиками и чахоточными старухами. Конфликт тургеневского рассказа — своего рода модель драмы современной эмигрантской литературы, с той разницей, что у тургеневских героев, равно как

у самого Тургенева, "эмигрантская драма" не наполнена тем духом безысходности, как литература русской эмиграции третьей волны. Трагизм проистекает от того, что к прошлому, оставшемуся за кордоном, нет и не может быть возврата. В греческом эпосе "Одиссей возвратился, пространством и временем полный" — /О. Мандельштам/. Современный русский Одиссей обречен жить с сознанием того, что никогда не вернется туда, где родился:

"...В наше время легче добиться того, чтобы тебя взяли в космонавты... но ты можешь умереть, так и не увидев жены по другую сторону пограничного столба..." — пишет Зиновий Зиник в своем "Извещении".

Прошное, оставшееся за кордоном вместе с оловянным пограничником, вдруг очищается от тяжести социального опыта и неизбежно видится как свое, и потеря своего обрастает трагедией, как смерть любимых и близких. Трагедия всегда начинается с осознания бессилия человека перед лицом космоса или судьбы, когда чему бывать, того не миновать, когда борьба и сопротивление бесполезны и бессмысленны. Это определяет трагическую основу драмы эмигрантской литературы, где, как и в трагедиях о царе Эдипе, рок могущественнее человеческой воли и обстоятельства неумолимо сильнее человека. Разрубить "железный занавес", как Гордиев узел, стереть "шрам" на небе, свести шрам на теле самого Одиссея невозможно. Это находится в компетенции высшей, верховной воли, будь то судьба, история или обстоятельства.

Русский Одиссей заведомо обречен совершить ошибочный выбор, построив ложную теорию универсальности, которая при столкновении с действительностью терпит крах. Человек не способен отречься от прошлого. Герой эмигрантской литературы — личность, центр критического сознания, не может запросто "пристать" к чужой культуре, механически затвердив язык. Он безвозвратно потерял родовое начало своего существования в мире, и это начало невозможно обрести, выдавая чужое за свое. Когда это происходит /то есть, когда чужое выдается за свое/, в литературе трагедия

подменяется фарсом, как в прозе Леонида Гиршовича*, где место трагических героев занимают взрослые дебилы с детским сознанием, физическими и моральными изъянами, люди-попугаи, бессмысленно имитирующие чужую речь и повадки.

Неродной язык всегда остается чужим — и так же клан, традиция и культура. Вырванный из стихии рода, не ощущающий своей принадлежности к новой культуре и все же бессознательно впитывающий осколки чужих представлений и нравов, наш герой оказывается как бы в вакууме. Он уже больше не принадлежит и прошлому, не только в силу существования "железного занавеса", но и по внутренним объективным причинам. Герой уже не тот, что прежде, и как ни берегся от ударов карнавальных молоточков, в разгуле чужого праздника /как герой "Извещения"/, изменения задела и его, и он все менее понятен соучастникам своего прошлого. Теперь он безродный, бастард, без прошлого и настоящего.

СХЕМА НОВОЙ "ОДИССЕИ"

Человек, видимо, не может существовать в пустоте, автономная личность героя эмигрантской литературы терпит крушение. /Происходит то, что в американской критике обозначается непереводаемым термином "crisis of identity", кризисом принадлежности./ В прозе Эдуарда Лимонова этот процесс ломки личности доведен до предела — герой, утратив связи, устойчивость в мире, становится изгоем, люмпеном, подонком. В прозе Зиновия Зиника "перемещенное лицо", потеряв свою принадлежность/identity/, выбирает сумасшествие: страх открытых пространств, маниакальные видения...

Жизнь в тупике. Мир обнажает несовершенство: от перемещены места в пространстве суть человеческой жизни не меняется. И гармония снова недостижима: когда есть отечество, оно непременно "отечество у тирана", а когда нет в государстве тирана, нет и отечества. Вот альтернатива современного русского героя, ошибка здесь неизбежна, ибо она — следствие

умозрительных представлений и отрывочных знаний. Несведущий русский герой обречен совершить серию ошибок, всегда неисправимых, иногда роковых, поджидающих его на бесконечном пути к познанию и свободе.

"...Великая вещь — жить, чувствовать, быть во власти собственных возможностей, не идти по жизни заученно и бессознательно. Я мечтаю о знании, оставляющем след, оставляющем шрамы", — говорит, отправляясь в первое заграничное путешествие, героиня рассказа американского писателя-эмигранта Генри Джеймса, но, в отличие от русских героев, она выбирает сознательно и свободно судьбу эмигранта.

В древнегреческом мифе об Одиссее старая нянька, обмыв путнику ноги, по шраму узнает в страннике Одиссея. Точно так же в потоке современной русской литературы узнаешь литературу третьей волны — по этому не зажившему, кровоточащему шраму ностальгии. То, что было написано до сих пор на тему жизни в эмиграции, укладывается в одну схему. Так же, как составляет единую систему феминистская, негритянская или еврейская американская литература. Каждую из этих локальных "подлитератур" отличает настолько разительная особенность структуры, что правомерной кажется гипотеза о существовании одного сюжета, кочующего от произведения к произведению.

В сегодняшней русской литературе в изгнании также идет речь о литературной конструкции, которой соответствует единство мироощущения, духовных и этических ценностей.

Утрату "своего" символизирует в этой литературе любовная трагедия. В прозе Лимонова "Это я — Эдичка", несмотря на внешние порнографические атрибуты, герой трагически переживает расставание и развод с любимой женой. Те же переживания у героев Зиника — центральных и второстепенных, двойников и подобию — драма расставания с любимой женой, разлученной смертью или отъездом, или тем и другим.

И, напротив, где в фабуле нет разлуки, расставания, рыцарской любовной трагедии, как в прозе Леонида Гиршовича или Юрия Милославского, мир погрязает в крысином духе

* "Мальчики и девочки" /"Время и мы", №28/.

мещанского быта. Здесь любовь подменена адюльтерами, а трагическая пара возлюбленных — мужьями-альфонсами и содержанками-женами, уплетающими баклажанный салат на празднике пошлой устроенности.

В мире, где разрушена любовь, царят хаос и пустота. Личность теряет значимость, а вся жизнь — смысл и цель. И наш герой остается один на один с чужим миром, в котором он острее, чем прежде, ощущает свою никчемность и заброшенность.

В эмигрантской драме "чужое" пространство обращается непременно дантовым чистилищем. Действительность, теряя реальные узнаваемые черты, превращается в сюрреалистический город инфантильных фантазий и ночных кошмаров. Нью-Йорк и Иерусалим на эмигрантской карте мира — апокалиптические города, где царят деградация и упадок, указывающие на близкий конец времен. Личность, чувствуя себя забытой и ненужной, культивирует свой эсхатологический миф о гибели цивилизации, как бы проецируя разрушение своего "я" на весь остальной мир. В апокалиптических видениях эмигрантской литературы потеряна связь времен: здесь обязательно какой-то нестерпимый, давящий расплавленный воздух или особый смертоносный свет, как из другой галактики. В апокалиптическом городе — обилие смертей, явно преувеличивающее реальные данные смертности. В прозе Лимонова, как в кругу дантовского ада, бредут по Нью-Йорку /этакой демонической Помпее!/ бесчисленные самоубийцы. Жизнь в Иерусалиме Зиновия Зиника подчиняется временным и пространственным законам неведомой галактики: здесь преждевременны и молниеносны старение и смерть.

Потерянный человек, не чувствуя кровной связи с настоящим, совершает отчаянную попытку жить в прошлом, пока вконец не запутывается и не оказывается в тупике. Нельзя нормально существовать в пространстве, к которому человек не принадлежит, но и чувствовать оба мира своими тоже противостоит.

Двойственным отношением к реальности объясняет сумасшествие современная психиатрическая теория английского ученого д-ра Лэнга. При психической болезни полностью нарушается связь человека с действительностью, поэтому зачастую сумасшедшие бессмысленно замыкаются в прошлом, с которым их сегодняшняя жизнь не имеет ничего общего. Происходит раздвоение личности: единое "я" как бы расщепляется на две половины, относящиеся к двум непересекающимся плоскостям — во времени и пространстве. Раздвоенность ведет к безумию и героя русской эмигрантской литературы: он не может поместить прошлое в рамки настоящей жизни. Состояние внутреннего разлада он переносит на окружающий мир. Герой Лимонова — в бреде, во власти галлюцинаций, то и дело подмечает, что мир спятил и человечество ополоумело. "...Здесь столько сумасшедших, разговаривающих вслух или молчаливо кричащих в воздух...", — заключает герой "Извещения" Зиника, и чем настойчивее он доказывает свою непричастность к общему сумасшествию, тем очевиднее его собственная болезнь.

В настоящем, которое видится как бред, нет и не может быть любви — только секс, да и то болезненно-извращенный. Противостоит сексу в эмигрантской литературе олицетворяет сумасшествие жизни. Любимая недостижима, хотя именно она — идеал непорочной платонической любви. Единственная реальная любовь настоящего — плотская, порочная страсть к женщине-блуднице, непременно коренной жительнице чужого города. В прозе Аркадия Львова — действует американка Присцилла, баба-вампир, воплощенное отрицание женственности. Присцилла — пародия Америки, сексуальный монстр, "механический апельсин", женщина-робот, обольстившая и бросившая слабохарактерного доверчивого героя.

В прозе Зиника недоступная любовь к жене трансформируется в ее суррогат — извращенную страсть к ненавистной местной старухе. Герой эмигрантской литературы — всегда немного альфонс, пытающийся войти в чужой мир через греховную любовь к опытной старой блуднице. Страсть к

апокалиптической "блуднице на багряном звере" — вносит в его жизнь еще больший разлад.

Эдичка, оставленный женой и винящий весь мир в своей личной трагедии, не может найти любви среди женщин. Его связь с посторонним миром "разрешается" в мгновенном гомосексуальном "романе" с подонком-негром на пустыре. Ощувив себя на мгновение приобщенным к настоящей Америке, он тотчас пускается наутек, продолжая безумное преследование любимой Елены.

Извращенная любовь нашего героя обращается безумием фетишиста. Эдичка совершает дионисийский ритуал переодевания в костюмы любимой, тайком ворует и хранит ее вещи. Герой Зиника окружает себя вещами-фетишами любимой жены, излучающими эротическое присутствие прошлого: "...этот платок я стал носить с собой повсюду. Я с ним не расставался ни на секунду. Когда я ложился спать, я клал его под подушку. Если бы я сейчас начал заниматься само-разоблачениями, я бы вам рассказал, что я с этим платком делал, когда оставался один ночью под одеялом, представляя себе, как я стягиваю с нее одеяло и задираю ночную рубашку..." /З. Зиник, "Извещение"/

Но и жена, в прошлом романтическая, возвышенная, дантовская Беатриче, в уродливом настоящем теряет идиллический ореол, она поругана и обесчещена. Елена, в прошлом непорочная чистая девочка, в чужом мире становится нимфоманкой и потаскухой. Добродетельная жена, прежде по-домашнему штопавшая носки, в безобразном настоящем глушит водку в компании налитухиных, а в подпитии, словно желая замести следы своего прошлого, совершает, святотатствуя, порочное зачатие, затрудняясь идентифицировать отцовство сына.

Любовь целиком принадлежит грезам о прошлом, где любимая вновь предстает безгрешной, как Ева в Эдеме. В этом романтическом видении обязательно присутствуют атрибуты идиллии: невинная дева в белом платье, дачное чаепитие, детские игры на лугу, земляничное варенье, река и речной простор. Прекрасному "летнему", "зеленому"

видению прошлого противопоставлены преступный, механический Нью-Йорк и выжженный зноем, мертвый могильный Иерусалим. Прошлое идеализируется именно потому, что в настоящем герой лишен любви. Он достигает состояния абсолютной экзистенциальной свободы, как герой Камю — но может ли любить "посторонний" Камю?

Герой эмигрантской литературы подобен "постороннему" Камю в том, что он не связан никакой общностью, самим фактом эмиграции вытеснен из коллективного бытия. А ведь российский Одиссей привык быть социально причастным и не мыслит себе жизни вне той или иной принадлежности. В прошлом гонимый коллективом жизнерадостных глупцов, он причислял себя к общности таких же, как и он, гонимых. У Четвергана /"Перемещенное лицо"/ не было традиции субботы — ее заменял ритуал "четверга". Но какая приобщенность может быть в мире, объявленном чужим? Не потому ли так решительно и однозначно отвергает наш герой тех единственных, с которыми он делит общность эмигрантской судьбы? Став частью призрачного, непригодного настоящего, они также утрачивают реальность. Жигулины и тамаевы, ветераны прошлого — немые свидетели настоящего — карнавальные персонажи, маски, двойники и чучела, потому что нет им места в сегодняшней жизни героя. Если весь мир чужой, а возвращение невозможно, те, кто волей обстоятельств почитаются своими, непременно должны стать чужими и ненавистными. Нельзя продолжать соотносить себя с героями прошлого, в которое нет возврата, — это равносильно жизни в загробном мире. Единственно, кого готов терпеть герой, — это неодушевленные предметы, фетиши и воспоминания.

"Железный занавес" прошлого, назойливо втемяшившийся в сознание, становится пограничной чертой, отгораживающей героя от внешнего мира. "Железный занавес", граница, рубеж — оборачиваются кровоточащим шрамом больного российского Одиссея, не умеющего свести в поток единого бытия прошлое и настоящее, родину и чужбину.

Но существовать вне общности он, в прошлом слывший избранным, не способен. Он не может стать Вечным Жидом, — ему необходимо чувствовать себя "винтиком". Так Эдичка "вступает" в троцкисты и прилежно посещает партсобрания, а герой прозы Юрия Милославского захаживает в левое иерусалимское кафе "Вкусняк" /"Таамон"/, где в канун субботы митингуют еврейские маоисты и "новые левые". Наконец-то герой видит себя в кругу "своих", таких же, как и он, отверженных, противопоставляющих себя остальному миру. Здесь будто бы восстанавливается его бывшая элитарность, приобщенность к делу "избранного" меньшинства.

Но этим не исчерпывается его принадлежность к новой социальной общности — герой эмигрантской литературы "идет в народ". И это — вопреки и наперекор тому знанию и опыту, которые русский нигилист литературы конца 20-го столетия, казалось бы, усвоил на собственной шкуре — к чему приводит пылкое желание народного блага. Народ на поверку всегда оказывался быдлом, а сотрудничество интеллигенции с народом в истории кончалось жестоко и плачевно. Но русский литературный герой третьей эмиграции бессознательно воскрешает веру в народ. Не рождается ли она из ненавистного мифа прошлого о роли народа в истории? Стереотипные мифы и символы, живущие в подсознании, необычайно прочны и устойчивы. Не потому ли умонастроения русского интеллигента прошлого и настоящего сходны? Впрочем, сегодняшнему герою встречается иной народ: не люмпены и не подонки, не хамоватые пролетарские дурни и не дурные пролетарские хамы, а солидный, добропорядочный, зажиточный люд. На фоне всеобщей деградации в этих людях заложена органичность, воплощающая, пожалуй, единственное начало мировой гармонии и добра. Им, символизирующим отцовское начало в мире одиночества и сиротства, начинает невольно подражать наш эмигрантский нигилист. Они учат его уму-разуму: заработать копейку и не оставлять в тарелке фасолевый суп.

СВОИ И ЧУЖИЕ

В Книгах Ветхого Завета конфликт человека и пространства — одна из центральных интриг; здесь проникнуты драматизмом изгнание, утрата родины и ностальгический зов к возвращению. В эпопеях исхода из Египта и изгнания из Иерусалима в Вавилон четко прослеживается, что конфликт этот в основе являет собой моральную драму. Библейский человек не свободен в выборе своего пространства. Родина дается Богом в дар и отбирается в наказание — за моральные проступки нация карается изгнанием и жизнью в рассеянии.

Умирая на чужбине, в Египте, Иосиф, рожденный в Хаанае, завещает похоронить его на родине. Евреи, родившиеся в Египте, по пути в Святую землю восстают против Бога и против воли вожака, мечтая о возвращении в покинутый дом. После разрушения Храма изгнанный народ на "реках вавилонских" тоскует по оставленному Иерусалиму. Заповедь рода в библейском миропонимании существеннее жизни отдельной личности.

Совсем иначе трактуется конфликт человека и пространства в греческом мифе. Одиссей, свободный перед лицом нации от моральных обязательств, оставляет на родине тоскующую Пенелопу, а сам отправляется за "золотым руном". Скитания Одиссея — не наказание, не отречение и не нарушение морального долга, а дорожные приключения в погоне за удачей, в поиске нового опыта и новых возможностей человеческой деятельности, которые ценны сами по себе. В греческой мифологии путешествия всегда благословляются как предвестники новых перемен и, наверное, поэтому счастливое возвращение венчает заграничное приключение. Греческий миф демонстрирует универсальность бытия человека в пространстве.

Конфликту человека и пространства в греческом и библейском мифах соответствуют две модели в культурах нового времени. В западноевропейской культуре господствует гре-

ческий /эллинистический/ миф. Русская культура в основе своей порождена библейским мифом об "избранном народе" и "Обетованной земле". В русской литературе испокон веков культивировалось противопоставление "своих" — "чужим" /своего рода "гоям"/. Острой была неприязнь к чужестранцам и иноверцам. Русское правосознание и законодательство, восходившее к библейскому мифу, руководствовалось суровыми ветхозаветными нормами о взаимоотношениях человека и гражданина родины. Следствием этого явилось частичное или полное лишение российского гражданина права на свободу передвижения. Русский аппарат власти, узурпировав полномочия еврейского Бога, запрещал и продолжает запрещать выезд из страны для одних, карая других принудительным изгнанием. Так возвращение на родину для русского эмигранта становилось столь же запретным и желанным, как возвращение евреев в разрушенный Иерусалим.

В русской культуре, как в Библии, свобода передвижения дается не в дар — в наказание, и поэтому в ней сложился миф о том, что русский человек не может существовать на чужбине, среди чужих, нехристей и басурманов. Типичный пример несовместимости чужестранного мира и русской души — тургеневский "Гамлет Щигровского уезда". Причиной трагедии русского Гамлета объявляется не внутренний склад личности, а несовершенство чужого "внешнего" мира и пагубность путешествия за рубеж. Западная цивилизация, великие города и великое искусство оставляют русского Гамлета равнодушным, и это приводит его к мысли о несовместимости русского человека и западного мира, о духовном и моральном превосходстве россиян над западной культурой.

— Что может быть общего между энциклопедией Гегеля, между всей немецкой философией и русской жизнью? — недоуменно вопрошает устами своего Гамлета Тургенев, доводя *ad absurdum* принцип отрицания общечеловеческих ценностей и истин. Русская действительность оказывается в стороне, в другом измерении, как бы в иной галактике,

которая не подчиняется мировым законам. Для русского мироощущения характерна заимствованная из библейского мифа жесткая однозначность противопоставлений России и Запада, своего и чужого, добра и зла. Западный эстетизм противостоит русской духовности, европейская распушенность — русскому морализму, западная расчетливость — русской доверчивости и наивности. Так преобразуются ветхозаветные представления в философию национальной исключительности и избранничества России и русского народа. Русский человек, отягощенный грузом моральных обязательств по отношению к отечеству, в отличие от других народов, как бы вообще не вправе обладать свободой самоопределения в пространстве. Отсюда укрепляется в русском гражданском сознании резкое осуждение эмиграции как акта национальной измены и предательства. Отъезд человека за рубеж объявляется недостойным, позорным поведением. Эта традиция, ставящая под сомнение законное право личности на свободу передвижения, определила, например, сильнейшее душевное несогласие с послереволюционной русской эмиграцией Анны Ахматовой, поэта европейского, чуждого "квасному" патриотизму, более того, резко не принявшего революцию. Какой бы ни была Россия — она остается для Ахматовой родиной, которую недозволено покинуть, и отъезд она клеймит, как национальное предательство:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: "Иди сюда!
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда".

Но равнодушно и спокойно
Руками я закрыла слух
Чтоб этой мыслью недостойной
Не оскорбился скорбный дух.

Библейское, ветхозаветное отношение к Родине вызвало к жизни — как это ни парадоксально — славянофильскую традицию русской культуры — от "Дневника писателя" Достоевского до философско-исторических концепций Александра Солженицына.

Ветхозаветная модель мира лежит в основе трагической репатриации первой русской эмиграции. Ее поэт, Марина Цветаева, провозгласив универсальность человеческого одиночества и вселенскую судьбу скитальчества поэта /"Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть"/ — вдруг спотыкается, и ее поэтическое рассуждение переламывается на финальной строке. Универсализм сознания, возможно, растворяется, и рядом со словами "все едино" становится строка, опровергающая вселенское единство бытия: "Но если на дороге куст встает, особенно рябина..." Многозначительно: теория универсальности бытия человека во времени терпит крах, и снова обновлен библейский миф о родине и морали. Не он ли явился в определенном смысле виновником того, что впоследствии привело часть русской эмиграции, вопреки рациональной логике, голосу разума и совести, к службе в советской агентуре, гибели и самоубийству?

Несмотря на очевидность научно-технических перемен, на наличие коммуникационных систем и средств массовой информации, определенные тенденции в жизни третьей эмиграции указывают на то, что ветхозаветные нормы управляют мироощущением русского эмигранта. Об этом свидетельствуют умонастроения человека, ощущающего себя в новой, открытой географии никем, как в "перевернутом" мире.

Библейской концепции пространства противостоит греческая модель, восходящая к "Одиссее" и утверждающая идеи универсальной ценности свободы, опыта, знания, красоты и эстетического чувства. Начиная с "Одиссеи", процветает в западной литературе жанр приключенческого романа, находящийся в русской литературе на "периферии". Классические образцы западноевропейской литературы принадлежат этому жанру: "Сентиментальное путешествие" Стерна и

"Путешествие на Гарц" Гейне, авантюрно-приключенческие романы Дефо и Свифта, "интернациональные" повести и романы Генри Джеймса, Стендаля и Хемингуэя, празднующие открытость вселенной и безграничность свободы.

Трагедия в западной литературе всегда наднациональна — это трагедия современного бытия безотносительно к стране, народу или государству. Даже фашизм в западной литературе не видится преступлением безнравственного народа, а общечеловеческим кошмаром аморального мира, в котором "Бог умер". Жизнь за рубежом для русского писателя — моральная драма; для западного — путешествие или авантюрное приключение. В западноевропейской литературе — "поиск утраченного времени" или "праздник, который всегда с тобой". В русской литературе — поиск утраченного пространства, плач по оставленному Иерусалиму и "хождение по мукам". В русской литературе корень зла и трагедии находится не в самом человеке, а в "чужом" и "чужестранном". Личную ответственность здесь подменяет моральное обвинение чужого мира, несущего зло, доброму и идеалистичному русскому мученику, не признающему ценностей выше, чем моральный долг и любовь к Родине. Западный писатель в эмиграции — странствующий Одиссей; русский писатель — плачущий пророк Иеремия.

Вместе с буквой "Ш", заимствованной из еврейского алфавита Кириллом и Мефодием, привились в русской культуре иудейские мифы о национальном избранничестве, обетованной родине и поиске высшей моральной истины.

Русская литература и общественная мысль третьей эмиграции во многом продолжают это направление русской культуры. Здесь вновь по примеру ветхозаветного мироощущения предлагается как единственно приемлемая классификация мира на "правый" и "неправый", нравственный и безнравственный, свой и чужой. Чужой Нью-Йорк, чужой Иерусалим, чужая свобода, отчужденные друзья и ненавистные благодетели, чужая история, чужой праздник и ритуал... Стиснув зубы и матерясь у распахнутого в чужой мир окна, русский нигилист снова шлет весь мир куда подальше за то, что он оказался ему непонятным.

...В прошлом году в Тель-Авивском университете происходила дискуссия. Профессор американской литературы, американский еврей, либерал западного толка, живущий в Израиле, интервьюирует именитого историка западноевропейской литературы и цивилизации Джорджа Штайнера, тоже еврея и либерала, лектора швейцарского и британского университетов, гостящего в Израиле по академическому приглашению.

Джордж Штайнер говорит о скитании в литературе.

— С точки зрения универсальных общечеловеческих, художественных ценностей, нет и не может быть в мире деления на родину и чужбину, на свое и чужое. Лучшая литература двадцатого века — Пруст, Джойс, Эллиот, — писалась в отелях и гостиницах, так что, с позиции искусства в 20-м веке лучшая родина духа — гостиничный номер, — утверждает Д. Штайнер.

Тель-Авивский профессор, чествующий гостя, возражает.

— Подобно тому, как человек не может жить вне родины, так и литература не может существовать без национальных корней. Национальная почва и национальная жизнь, доступные только на родине, были и будут питательной средой художника.

Снова говорит Джордж Штайнер:

— Процесс эволюции человека — от низко организованных организмов — выразился в том, что вместо корней ему даны органы высшего развития, позволяющие не сидеть безучастно в одной клумбе, а свободно и сознательно передвигаться по миру, расширяя границы своего опыта.

Ученые расходятся, так и не решив кардинальной проблемы и оставшись каждый при своем мнении, которое, по этикету западной цивилизации, они призваны уважать.

Но все же — корни или чемодан с пестрыми заграничными наклейками, домосед или путешественник-авантюрист, насиженное гнездо или гостиничный номер? Две модели мира в культуре, два типа биологического поведения: бытие в пространстве или бытие во времени?..

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

МОЙ ЧЕХОВ ОСЕНИ И ЗИМЫ 1968 ГОДА

Субъективные заметки

Я знаю серьезных людей, которые не любят Чехова. Я не разделяю их взглядов, но отношусь с пониманием к их литературным вкусам. Пушкин начал, а Чехов кончил и, естественно, на творчестве Чехова лежит печать не только величия, но и вырождения, так как всякое живое явление имеет свою жизнь и свою смерть. Чехов умер раньше Льва Толстого, но именно Чехов подытожил духовный взлет Российского 19-го века, да, пожалуй, и духовный взлет всей европейской культуры — эпоху Возрождения, ее юность, прошедшую в живописи Италии, Испании, Нидерландов, молодость — в шекспировской Англии, зрелые годы — в музыке и философии Германии и, наконец, уже на излете, уже как бы последними усилиями родившую российскую прозу, на которой лежит подспудный отпечаток усталости и чрезмерных напряжений, свойственный всякой старости — отпечаток старческого ребячества, детской чистой мечты, щемящей грусти по ушедшим годам, наивной веры и мудрой иронии.

В 19-м веке мир, благодаря вышедшей из подполья науке, принимал твердые очертания. Религия, опасаясь жестокой мести со стороны своего извечного врага — науки, которой она причинила столько страданий, суетливо пыталась приспособиться к меняющейся жизни. Люди 19-го века за многие века наивной веры, за опозоренную религией в период своего господства мечту, досадуя на свою доверчивость, которая отняла у них столько земных радостей, начали лихорадочно наверстывать упущенное. Но рядом с атеизмом, научным материалистическим мировоззрением, родилось безверие, мировоззрение не духовно свободных людей, а скорее, непокорных лакеев.

Несравненный Стендаль написал Жюльена Сореля, образ, на мой взгляд, этапный, ибо если на вырождение веры потребовались тысячелетия, то на вырождение безверия потребуется значительно меньше времени.

Через какие-нибудь 40—50 лет после того как Стендаль родил Жюльена Сореля, австрийский сапожник Шикльгрубер родил Адольфа Шикльгрубера, а Достоевский — Смердякова. Вот какой жалкий путь в короткий срок проделала талантливая натура Жюльена Сореля, снедаемая внутренним огнем собственной неполноценности. Все лучшее, чувственное, благородное сгорело в этом огне, рассыпалось золой, остался остов крепкий, не горячий: желание возвыситься и простые, ясные материальные средства к этому. Миллионы обманутых посредственностей, честных обывателей, из поколения в поколение тянувших свою лямку, теперь жаждали мести, и индустриальное капиталистическое общество сулило им равные возможности. Эту-то механизированную армию атаковала в конном строю на нелепом Россинанте российская проза, атаковала безрассудно, по-гусарски, под часто путанными нелепыми знаменами — идеями.

Наступило время, пробудившее не только трудовой народ, но и лакеев, сделавших испокон веков плевки в собственное лицо профессией, дающей хлеб насущный, и теперь жадно потянувшихся к свободе, выпестованной человеческим гу-

манизмом, чтоб, оседлав эту свободу, восстановить историческую справедливость, иметь возможность самому плевать в лицо и своим бывшим поработителям и своим менее расторопным братьям. Наступило время, когда хилые бере-вырожденцы, впад чересчур поздно в душевные мучения, словно в старческий маразм, передавали власть злопамятным смердяковым.

У Карла Маркса есть высказывание, я не помню его дословно, но это общеизвестные, часто цитируемые слова. Примерно они звучат так: невежество — фатальная сила, и она еще послужит причиной многих трагедий. Мне кажется, что часто растерянность и беспомощность перед этой силой состоит в том, что, совершая ужасающее преступление, невежество в то же время вызывает к себе не только ненависть и не столько ненависть, сколько невольную жалость, пусть подсознательно, и это ослабляет ответный удар. Если попытаться образно представить себе символ невежества, то это будет не хищный кровожадный зверь, а скорей большой, не по летам фантастически сильный, слепой ребенок. Он сам падает, разбивает себе в кровь лицо, испытывая боль, бьет с размаху неодушевленные предметы, но коль уж удастся ему нащупать, схватить что-либо живое, тут уж мольбы о пощаде бесполезны. В святой простоте сжимает он пальцы на горле жертвы, не отвергая мольбы о пощаде, а попросту не осознавая их, в том смысле, что они даже приводят его в удивление, как удивила бы его мольба не есть, не пить и не испражняться.

Но для того, чтобы невежество выросло в прямую угрозу жизни и цивилизации, ему нужен поводырь. И как это ни парадоксально, поводырем таким для невежества служит букварь. Первоначальная, крайне необходимая ступень образования чревата одновременно опасностями, свойственными незрелому переходному возрасту. Научившиеся читать и расписываться невежества периода промышленной революции, по крайней мере сливки его, дослужившиеся до лакеев, начали осознавать прелесть господства и барства, дающую возможность для сытой, вкусной жизни.

"Фашизм и национал-социализм, — пишет Ромэн Роллан, — развязаны крупными авантюристами, вышедшими из низов и из разорившейся мелкой буржуазии. Эти авантюристы держат в вечной тревоге своих "благодетелей", благодаря своим прежним связям с миром труда и нищеты".

Благородный романтический авантюризм Жюльена Сореля стал авантюризмом кухонным, бытовым, стремящимся вырвать жирный кусок колбасы изо рта имущих. Роллан писал о национал-социализме в 30-е годы, когда лакеи повели обезумевшего от голода и нищеты слепца мстить — главным образом, за все синяки и шишки, которые он, слепец, набил сам, ударяясь о косяки и цепляясь за пороги. А также повели выкалывать глаза разуму и образованности.

Но вернемся на 30 лет назад от этого времени, в еще полупатриархальную Россию, к не очень громкому, маленькому и хрестоматийному рассказу Антона Павловича Чехова "Новая дача". Рядом с нищетой, убогой, голодной деревней инженер-путеец построил красивую дачу и привез туда жену и дочь. Инженер и жена его стараются сделать как можно больше добра крестьянам, но эти, в сущности, также добрые и тихие люди, ненавидят и не понимают своих благодетелей, ломают деревья в их саду, совершают потраву скотом своим, топчут все, что можно, воруют, жгут, издеваются над попытками и просьбами жить мирно, по-соседски, и в то же время, когда на даче появляется новый хозяин, презирующий их, они живут с ним тихо, уважительно.

Здесь не может быть односложного вывода, тем более, вывода о кнуте и прянике. Разгадка здесь не во внешних взаимоотношениях, а во внутренней природе угнетенного человека. Первая реакция человека, подавленного несправедливостью, на свободу и добро, — это не радость и благодарность, а обида и злоба за годы, прожитые в страхе и нужде.

Разумеется, это временный и преходящий период, сопровождающий естественный, а значит прогрессивный ход истории, крайне незначительный в масштабах человечества, но чрезвычайно значительный в масштабах человеческой жизни

и жизни нескольких человеческих поколений. Это болезненный многовековой процесс, начавший созреть в конце 19-го века и давший плоды свои в веке 20-м. В болезненной, злобной реакции на первые, слабые еще ростки свободы, — причина многих трагедий 20-го века. Да, неуютно жить в мире, где на порядочность отвечают непорядочностью. Вот в чеховской "Новой даче" собирается толпа, придравшись к мелкой оплошности со стороны хозяев дачи:

— Ладно, пускай! — говорил Козлов, подмигивая. — Пускай-ай! Пускай повернутся инженеры-то... Суда нет, думаешь? Ладно...

— Это так оставить я не желаю! — кричал Лычков-сын, крича все громче и громче и от этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше и больше, — моду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете права обижать народ! Крепостных теперь нету!..

Я позволю себе оставить великолепный, истинно чеховский грустно-радостный финал рассказа "Новая дача" на закуску и поговорить о нем особо, а сейчас перейти к одному из наиболее страшных и глубоких крестьянских рассказов Чехова "В овраге".

...Большой налаженный крепкий дом разбогатевшего выходца из низов Цыбукина. Пугает в этой повести, главным образом, не активная ясная жестокость жены младшего сына Цыбукина Аксины, а соседствующая с ней коровья покорная жестокость Липы, жены старшего сына, слепая, не человеческая, а природная, как жестокость вулкана, который, отгремев, затихает и вновь покрывается травкой. Эта спасительная способность выжить хороша для плоти, которая ближе к природе, но губительна для души. Слепая природа пассивно враждебна человеческому сознанию, в борьбе с ней это сознание развивается и крепнет. Я склонен согласиться с сутью при некоторой спорности формы формулировки одного из философов прошлого, заявившего, что "жизнь есть форма болезни материи". Чем ближе человек к природе, тем легче ему выжить, но тем труднее ему остаться человеком.

При всем при том пассивная враждебность человечности опаснее враждебности активной. Преступления активной враждебности кровавы, но враждебность эта живая, а следовательно смертная, пассивная же враждебность не столь ясно выражена, бескровна, природна, но она способна ждать и побеждает человеческое в человеке не силой, а терпением.

Так вот в доме Цыбукина столкнулись две бесчеловеческие силы. Одна активная, полнокровная, из породы рвущихся к сладкому лакеев, — Аксинья, вторая пассивная, бледная, по-коровьему тупая Липа, жена старшего сына, осужденного в городе за подлог. Тихая Липа, обороняющая свою жизнь покорностью и темнотой. Аксинья — "красивая стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком" и путавшаяся с сыновьями фабриканта. Липа — "худенькая, слабая, бледная с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе, грустная робкая улыбка не сходила у нее с лица и глаза смотрели по-детски доверчиво и с любопытством". Жестокое обвинение в бесчеловечности совершенно не вяжется, казалось бы, с этим кротким существом. Но вот Аксинья, умеющая читать по букварю и знающая начальную арифметику для расчетов в лавке, хладнокровно убивает младенца, любимое дитя Липы, чтоб избавиться от чужого наследника. Она завладевает хозяйством, выгнав Цыбукина и Липу на улицу.

Проходит некоторое время. Осень. Девки и бабы толпой возвращаются со станции, где они работали. "Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день слава Богу кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать Прасковья, которая шла с узелком и как всегда тяжело дышала..."

Цыбукина можно назвать палачом-жертвой. Липа не палач, но и не жертва, хоть над ее материнством страшно и гнусно надругались. Разные живые существа защищают себя по разному, одни при помощи зубов, другие при помощи ног, третьи же защищают себя, сливаясь с окружающей местно-

стью. Но характерна ли эта неподвижная, идеально лишенная комплексов фигура для нашего быстротекущего нервного времени? Это не то, что мы именуем равнодушием, ибо равнодушие — определенная человеческая позиция, которую можно распознать и осудить. Здесь же и осуждать нечего, опираясь на бытовую расхожую мораль, и если я осудил это, то потопился.

В рождении человека по-прежнему много таинственного и неясного не в биологическом смысле, а в смысле формирования в нем духовного начала. Как ни опасны вырожденцы, они вымрут. Сколько бы бед еще не принесли человеку кровавые смердяковы, они будут уничтожены ходом истории, но покорное бесчеловечное начало, в том смысле бесчеловечное, что подчиняется оно не живым страстям, а законам неодушевленной природы, все явления которой как бы начинают с нуля, — это лишенное добра и зла начало, пожалуй, является эпицентром той фатальной силы, о которой говорил Карл Маркс и на разных флангах которой находятся вырожденцы и смердяковы.

Трудно уловимое, редко видимое в чистом виде, оно составляет, пожалуй, не зло, а тяжелую ношу на спине человечества. Может быть, это та пуповина, которая соединяет человека с природой, или, вернее, приковывает человека к природе, делая его более живучим, но и более слепым и которую наука уже давно дерзко и тщетно пытается перегрызть, впрочем, достигнув и определенных успехов, много познав, но тем самым укоротив жизнь, не человека, разумеется, а человечества в целом. Не будь достижений разума, оно еще чрезвычайно продолжительно прозябало бы в спячке, подчиняясь главным образом смене времен года. Это проблема Фауста, но не для человека, а для человечества. Чем более человек познает, тем прочнее станет его жизнь, но жизнь человечества с целом сократится.

Впрочем, речь, возможно, идет не о десятках и сотнях лет, а о тысячелетиях, и осенью, зимой 68-го года это должно волновать исключительно как тенденция, а не как непосредственная угроза. Но тенденции, даже тенденции будущего,

пусть косвенно, не просто, подчас неожиданно, оказывают влияние и на сегодняшнюю жизнь, и в этом смысле их надо учитывать и о них надо думать.

Чехов был избран судьбой завершить целую эпоху в культуре России именно потому, что он был лишен патологической условности мировосприятия, делающей человека рабом определенной идеи, каковыми были Достоевский и Лев Толстой.

Человечество, так же как и культура его, движется от догмы, через ее разрушение к новой догме. Догмы-идеи это необходимые узлы на пути истории. Рядом с великими догматиками Достоевским и Толстым Чехов был великим реформатором, а этот тяжелый труд гораздо более неблагодарен, гораздо более лишен цельности и требует не в упоении отдаваться любимой идее, а наоборот, жертвовать подчас любимой идеей во имя истины. И если Гоголь, Достоевский и Толстой, пожалуй, дон-кихоты российской прозы, то Чехов, скорее, ее Гамлет. Гамлет и Дон-Кихот, будучи людьми одной чувственной организации, совершенно по-разному использовали эту чувственность в жизни.

В сущности, Гамлет — это Дон-Кихот, сумевший отбросить иллюзии и имевший мужество отдаться своей чувственности наяву, то есть постигнуть истину. Главная причина его трагедии не в том, что неясные страсти терзают его и мешают расправиться с убийцей отца. Проблема не в том "быть или не быть", а в том, что он слишком рано понял то, что, согласно законам природы, следует понимать за секунду до смерти: быть и не быть одинаково нелепо. Главная его трагедия в том, что он, сгусток бушующих страстей, понял бесплодность страсти и жаждал хладнокровия. Разрываемый этими двумя противоречиями, он умер.

Дон-Кихот же всю свою громадную чувственную энергию использует прямо противоположно, чтоб фактически спастись от истины и тем самым сохранить счастье. Оба начала, познание истины и спасение от истины, дополняют друг друга и составляют основу духовной жизни человека.

Споры, которые ведут персонажи у Толстого, у Достоевского и у Чехова, одинаково страстны. Но у Толстого и Досто-

евского всегда кто-либо в конечном итоге оказывается прав и, если это не получается средствами художественными, они вмешиваются сами, ломают художественную форму, калечат подчас и доводят до примитивных схем свои произведения, чтоб сохранить торжество идей, счастливыми рабами которых они являлись. Споры чеховских героев часто оканчиваются неопределенно. Это не значит, что у Чехова не было своих, в сердце выношенных идей, не было любви, не было ненависти, не было привязанности, но Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого. У него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум. Чеховская проза спешила с Россинанта и атаковала врага в пешем строю пешком по грязи и пыли.

Франц Кафка писал: "Одной из задач национальной литературы является очищающий показ национальных недостатков". Настоящий Чехов, Чехов позднего периода, был писатель необычайной трагической силы, но, благодаря его кристально честной объективности, национальные недостатки, русские ли, не русские ли никогда не превращались в карикатуру, до чего сплошь и рядом позволял себе опускаться Достоевский. И не опьяняющий восторг собственной души, не субъективная жажда красоты и счастья, а как раз эта кристально честная, гамлетовкая объективность и к себе и к людям рождала иногда в самом неподходящем для этого месте такой свет, такую веру в душу человека, что все ужасы бытия освещались поистине неземным, чистым прометеевым огнем. Когда я говорю о гамлетовской объективности, то имею в виду объективность не внешнюю, действенную, а внутреннюю, чувственную, разрыв между которыми и составляет трагедию.

Вот финал рассказа "Новая дача". Была ненависть самая страшная, идущая не от конкретных причин, а от внутреннего раздражения и от подспудной обиды на себя, на собственную судьбу, было желание истоптать, сломать этот красивый, чистый дом и сделать все вокруг таким же жалким, темным, грязным, голодным, каким была их жизнь, было наслаждение

собственной несправедливостью, которой толпа платила за оскорбительное добро. Теперь все кончено, все позади.

"Новая дача" давно продана, теперь она принадлежит какому-то чиновнику... У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он, как очень важный чиновник, хоть состоит только в чине коллежского секретаря, когда мужики ему кланяются, то он не отвечает... Ранней весной обручановские пилят дрова около станции. Вот они после работы идут домой, идут не спеша друг за другом; широкие пилы гнутся на плечах, отсвечивает в них солнце. В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки. На новой даче тихо, ни души и только золотые голуби, золотые оттого, что их освещает солнце, летают над домом. Всем — и Родиону, и обоим Лычковым, и Володьке вспоминаются белые лошади, маленькие пони... Вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила и так ласково говорила. И всего точно не было, все как сон, как сказка. Они идут нога за ногу, утомленные и думают...

"Жили без моста, — говорит Володька мрачно. — Жили мы без моста и не просили... И не надо нам...

Ему никто не отвечает и идут дальше, понуриив головы".

Рассказ, где так много несправедливости, шума и улюлюканья толпы, оканчивается удивительно мягкой тишиной, тревожной и сладкой, свойственной милосердию. Милосердие — прекрасный миг примирения извечных соперников-врагов, слепой природы — истины и алчущей души. Это — крошечные золотые крупницы, и ради поисков этих крупниц, может, и существует искусство, и находками их вознаграждает судьба именно тех художников, кто не пытается односторонне и безоговорочно осудить истину за ее чрезмерную жестокость и несправедливость к человеку, а венцом этой несправедливости является смерть.

Сохранить оптимизм и самообладание под любыми пытками, которым подвергает доверчивого человека изобретательная истина и, подобно великому образу библейского Иова, петь ей хвалу — высшая точка подъема упрямой и жажду-

щей во что бы то ни стало счастья души. Природа — истина, побежденная силой человеческих желаний, как бы сама начинает чувствовать человеческие слабости и стремится им покориться. Но человеческая душа великодушно не пользуется благами победы, добытой в жестокой схватке, а наоборот, утрачивает желание и жаждет лишь покоя. Это мгновение, которое Сократ назвал "затишье души".

С тех давних времен, как человечество утратило хвост, оно мучительно искало идеал, который бы можно было противопоставить пещерному идеалу силы, ибо подспудно чувствовало, что идеал этот, спасший человечество от насильственной гибели извне, сулит в будущем насильственную гибель изнутри.

Две тысячи лет нзад некий сын плотника, прозябавший до того в безвестности, понял, что человечество сможет существовать при растущей тенденции к самоутверждению лишь при соблюдении справедливости к слабым. В ранний западный период эпохи Возрождения это было понято искусством, в поздний российский период это было выстрадано. Западное искусство дало образцы великолепной пластики, филигранного психологизма, головокружительной глубины и, если именно российская проза 19-го века сумела блистательно завершить великую эпоху, то исключительно за счет неподдельного, искреннего страдания, сумевшего вдохнуть живую боль современного человека в великие библейские схемы. Живую боль и связанную с этой болью надежду, которая может достичь подлинной правды, лишь завершая и сменяя искреннюю боль, как рассвет достигает правды, лишь сменяя подлинную ночь. Без этой, сочащейся кровью души и живой жажды к избавлению от страданий Гоголь был бы сладенький провинциальный зубоскал, Достоевский — скучный беллетрист, Толстой — философствующий сочинитель с небрежными длинными фразами, а Чехов поставлял бы читиво любителям приятного времяпровождения.

Справедливость к слабым — справедливость тенденциозная, этим она отличается от мирящей добро и зло древнегреческой Мойры — вечной объективной справедливости. В под-

чинении этим двум враждующим началам состоят главные художественные и философские трудности и беды искусства эпохи Возрождения, трудности, которых не знало античное искусство.

С развитием человеческой истории, с ростом идеалов гуманизма и добра трудности эти не только не уменьшились, а наоборот, возросли, ибо чем выше подымался человек по лестнице гуманизма и прогресса, тем сильнее становилась жажда достичь безразличной, объективной справедливости природы. Это вело к чрезмерным надеждам, а отсюда неизбежно и к чрезмерным разочарованиям. Такие тенденциозные писатели, как Достоевский и Толстой, поступали просто: они начисто забывали о наличии объективной справедливости, и мощной глубокой веры в их творчестве было больше, чем ясной, земной правды. Чехов же не мог облегчить свой труд подобной слепотой, часто свойственной гениям. Есть известная закономерность в том, что Гомер был слеп. К Чехову же скорей можно отнести определение, данное Ромэном Ролланом Гамлету: "Горе с орлиными глазами".

Природа таланта Чехова была иная и тем, что он не мог отбросить объективную справедливость, объясняются слабости Чехова. Но именно рядом с этими слабостями, имея с ними общие корни и даже подчас заслоняемая ими, выросла чеховская мощь. Чехов не высекает титанов, не создает страстную, путанную горячку идей, из которых в конечном итоге выплывает одна, заранее намеченная и безумно любимая, и не творит подобно Толстому кротких гигантов человеческого духа, властвующих над надуманным евангелистическим миром. Чехов до конца соблюдает масштабы между человеком и природой, что на языке иных критиков именуется пессимизмом и неверием в конечную победу. Чехов искал в жизни до предела, до мелочей реальной правды, правды, которая была бы осязаемой, как скучный подмосковный дождь осенью, от которого никуда не денешься в этой жизни, он искал не путей к конечной великой победе, теряющейся в туманной дали, а ежедневных бытовых великих

побед, которые удастся одерживать человеку в повседневной жизни. И когда чеховская героиня восклицает ставшую хрестоматийной фразу: "Мы еще увидим небо в алмазах!" — то речь здесь идет не о какой-то астрономической, гигантской победе будущего, ибо в подобном случае восклицание звучало бы браваурным лихим лозунгом. Речь здесь идет о той конкретной победе, одержанной в момент произнесения фразы человеком усталым, обманутым, смертным, далеким от неба, победе над предлагаемыми ему обстоятельствами, над провинциальной убогостью и собственными разочарованиями. Фраза же могла быть и иной, не в ней суть.

Чехов обладал талантом отыскивать счастье в неожиданных местах, для того не приспособленных, и находить добро там, где другой не стал бы искать. Поэтому в современном мире, где чересчур много не фанатично монолитной веры, а скорее наоборот, фанатичного безверья и рыхлости, где нашей человеческой морали приходится иметь дело не только с твердо убежденным противником, но и с путанными силами, направление которых бывает противоположно, призрачно и неясно — в этом мире особенно нужен Чехов, чеховское умение одерживать повседневные тактические победы, а не запрокинув голову, как это делали великие слепцы, игнорируя землю, стремиться к небу, к всеобщей стратегической победе, теряющейся в грядущем.

У Чехова есть крошечный на две странички рассказ "Письмо". Вот строки оттуда: "Пожалуйста, прочтите книгу... с каждой новой страницы я становился богаче, сильнее, выше! Я изумлялся, плакал от восторга, гордился и в это время глубоко мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта, и мне казалось, что каждая из этих могучих страниц создана не даром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море..." И далее: "Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления! Да разве молния, когда блесит, объясняет что-нибудь? Не она должна

объяснять, а мы должны объяснять ее... Поэзия и все так называемые изящные искусства — это те же грозные чудесные явления природы, которые мы должны научиться объяснять, не дожидаясь, когда они сами станут объяснять нам что-нибудь".

Чехов, как и другие великие создания человеческого рода, есть явление, не зависящее от нашего сознания, подобно морю или луне. Человек может стоять задумчиво на берегу моря, либо весело плескаться в волнах, либо топиться, либо рыбачить, либо добывать из морской воды минеральные соли. Море одно, и в нем есть все, но нелепо обвинять человека в односторонности и тенденциозности, когда он ищет в море для себя не все сразу, а то, что необходимо ему и необходимо им вообще, а конкретно в данный момент.

Я не собирался анализировать творчество Чехова. Я рассказывал о том Чехове, который нужен именно мне, и таком Чехове, который нужен мне именно сейчас, осенью-зимой 1968 года. Этими буйными, истеричными осенью и зимой, когда сила и злоба разбойничают во всех углах нашей маленькой планеты, а милосердие, добродетель и душевную деликатность пытаются представить явно ли, тайно ли как признак чахоточной телесной хилости и подвергнуть всеобщему осмеянию.

Всякий раз, когда милосердию нужны были рыцари, они появлялись, конные ли, как Дон-Кихот, пешие ли, как Гамлет. Нежное женственное милосердие и на этот раз будет защищено от мускулов и сапог честолюбивых лакеев, от острых аристократических тросточек спившихся бар, от рогожного, бесчеловечного терпения и хохотунов-телеграфистов с гитарами, пытающихся формировать общественное мнение. И мягкий, добрый, деликатный Чехов в этой борьбе будет безжалостен.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СО СКИДКОЙ 50%:

И з б р а н н а я с е р и я : 19 лучших журналов "Время и мы" от первых до последних номеров.

В серию входят: З.Зиник "Перемещенное лицо" /22, 23/, М. Июffe "Начало"/Воспоминания о Троцком/ /19, 20/, В. Марамзин "Человек, который верил в свое особое назначение" /15/, Б. Ямпольский "Большая эпоха" /13/, П. Вайль, А. Генис "Мы с Брайтон-Бич"/40/, У. Э. Банин "Последний поединок Ивана Бунина" /40, 41/, Ф. Горенштейн "Искушение" /42/, "Бердичев" /50, 51/. К. Хенкин "Охотник вверх ногами" /49/, С. Микунис "Прозрение" /48, 49/, М. Демин "Горькое золото" /46, 47/ и др. Стоимость серии в Израиле 980 лир, за границей 27 долларов.

Малая избранная серия I:— 9 журналов. М. Июffe "Начало" /19, 20/, Б. Ямпольский "Большая эпоха" /13/, В. Марамзин "Человек, который верил в свое особое назначение" /15/, П. Вайль, А. Генис "Мы с Брайтон-Бич" /40/ и др. Стоимость серии в Израиле 540 лир, за границей 17 долларов.

Малая избранная серия II: — 9 журналов. У. Э. Банин "Последний поединок Ивана Бунина" /40, 41/, Ф. Горенштейн "Искушение" /42/, "Бердичев" /50, 51/, М. Демин "Горькое золото" /46, 47/, С. Микунис "Прозрение" /48, 49/, К. Хенкин "Охотник вверх ногами" /49/, и др. Стоимость серии в Израиле 580 лир, за границей 18 долларов.

В стоимость серии входит доставка. По желанию заказчиков отдельные номера могут быть заменены. Заказы и чеки присылать: Р. О. В. 24123, Тель-Авив, тел. 03-315840.



Тайна переписки охраняется законом.
Конституция СССР, статья 128.

Леопольд АВЗЕГЕР

Я ВСКРЫВАЛ ВАШИ ПИСЬМА...

Из воспоминаний бывшего тайного цензора МГБ

Нелегко было мне сесть за эти воспоминания. Возможно, оттого, что на Западе еще никто и никогда не касался вплотную той деятельности, с которой в силу ряда обстоятельств свела меня жизнь. Были у меня и иные, чисто личные причины, по которым я хранил молчание более двадцати семи лет. Теперь, однако, я решил рассказать обо всем, что знаю и что, как мне кажется, не имею морального права уносить с собой.

Я не писатель и не журналист, поэтому совсем не уверен, что всякий раз смогу найти те краски, которые необходимы для описания пережитого и увиденного мной. Да и задачу свою я вижу в другом — просто, прямо и достоверно рассказать читателям о той жизни, о которой в Советском Союзе не принято ни писать, ни говорить вслух и которая — я в этом совершенно уверен — не известна на Западе.

В 1956 году, когда я уезжал из Советского Союза в Польшу /откуда позже приехал в Израиль/ я должен был явиться в Дрогобычский горком партии и сдать партийный билет. Так вот, когда все было закончено, секретарь горкома решил, по-

Я ВСКРЫВАЛ ВАШИ ПИСЬМА...

225

видимому, сказать мне несколько напутственных слов: "Я надеюсь, товарищ Авзегер, что, находясь за пределами нашей родины, вы не будете клеветать на Советский Союз, а наоборот, будете защищать нашу страну от нападок ее врагов. Я хотел бы, чтобы вы говорили правду и только правду о Советском Союзе".

Я вспомнил эти слова потому, что ведь самое опасное и самое ненавистное в глазах советских властей — это та самая правда, к которой взывал секретарь Дрогобычского горкома партии. Правда о советской цензуре... О какой правде говорил секретарь горкома, если сама эта область деятельности как бы и не существует в Советском Союзе — и, уж во всяком случае, нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах вы не имеете права упомянуть о ней вслух. Цензура? Какая цензура? У нас ведь существует тайна переписки, гарантированная конституцией! Впрочем, я, кажется, забегаю вперед... Итак, вначале несколько слов о моей жизни.

Я родился в Западной Украине, в уже упомянутом мной Дрогобыче, который в 1939 году, вместе со всей Западной Украиной, был "освобожден" Красной Армией и стал обычным советским городом. Довольно рано я вступил в комсомол, а затем и в партию, и это во многом определило мою дальнейшую судьбу. Как только началась война, меня взяли в действующую армию и отправили в подмосковный город Муром, где формировалась наша будущая воинская часть. Позже я участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии, был награжден несколькими орденами и медалями, а после победы над гитлеровской Германией нашу часть перебросили на Восток, в Манчжурию, а затем в Забайкальский военный округ. Вот здесь-то, собственно, и произошел поворот в моей жизни.

В начале февраля 1946 года в наше подразделение из Читы прибыли два офицера, в распоряжение которых была сразу же предоставлена отдельная комната в штабе батальона. По их обмундированию трудно было определить, к какому роду войск они принадлежат. Однако, когда они, в числе нескольких других, пригласили меня на беседу, то по тому, как дер-

жались, и еще больше по вопросам, которые задавали, я понял, что офицеры эти принадлежат к советской разведке. Велли они себя совершенно непринужденно, по-дружески, непрестанно шутили, словно желали подчеркнуть, что к нашей беседе не имеют отношения никакие чины и звания. Но все это не помешало им словно бы между прочим задать множество вопросов: где я родился, кто я по происхождению, живы ли родители, чем занимаются, но особенно их интересовало мое образование и еще более — знание языков. В конце концов они спросили, согласен ли я переехать в Читу, где находится штаб Забайкальского военного округа, для продолжения своей воинской службы, но не упомянули, в каком именно подразделении мне предстоит служить. Мне были обещаны гораздо лучшие условия — а в части, где я служил, они были хуже некуда, — сказано, что вскоре после переезда в Читу я смогу получить отпуск и поехать на родину в Дрогобыч. Я подумал — что я теряю? — и принял их предложение, а они, попросив меня никому не рассказывать о нашей встрече, сообщили, что очень скоро на мое имя придет из Читы вызов.

Теперь несколько слов об этих двух офицерах, с которыми позже я довольно близко познакомился. Оба они были офицерами органов госбезопасности, один из них, Сергей Иванов, — сотрудником отдела кадров Читинского областного управления госбезопасности, другой, лейтенант Петр Черенко, — руководителем национальной группы отдела военной цензуры № 115. С Черенко у меня сложились особенно теплые, дружеские отношения, они продолжались несколько лет, пока мы работали в одном и том же отделе. По вечерам он бывало заходил ко мне, я бывал у него, выпивали, о многом говорили, но о работе никогда. О работе в среде, куда я попал, говорить не было принято.

После того, как я приехал в Читу, меня пригласили в отдел кадров областного управления МГБ, заказав предварительно пропуск, и — не преувеличивая, в течение почти двух дней — я сидел и заполнял анкеты. Иные из вопросов буквально ставили в тупик. Среди прочего надо было, например, сообщить имя и отчество дедушек и бабушек, перечислить всех абсо-

лютно близких родственников, с указанием точной степени родства и их места жительства, сообщить, кто из моих родственников был в оппозиции и в какой именно. Наконец, анкеты были заполнены, сданы и через несколько дней мне было объявлено, что я зачислен на работу в областное управление МГБ, в отдел военной цензуры № 115 /отдел "В"/ — с месячным испытательным сроком. И тут же было предложено подписать обязательство о том, что я, такой-то и такой-то, обязуюсь никогда, нигде и никому, ни при каких условиях и обстоятельствах, не разглашать то, что видел, слышал или узнал во время своей работы в органах. Я обязался также никогда не упоминать об этой работе в своих письмах, в дневниках, воспоминаниях и т. д.

Сколько таких "подписок о неразглашении" я давал, работая в органах, и все они, в сущности, сводились к одному — молчать, навсегда похоронить в себе то, что я увидел и узнал. В советских газетах часто пишут о том, что главнейшая задача, которая стояла и стоит перед советскими чекистами, — это искусно разоблачать врагов народа. Помните, сколько раз, еще со времен Дзержинского, мы слышали о карающем мече революции. Все это пустые, газетные фразы. Важнейшее искусство, которым должны овладеть сотрудники органов, — это искусство молчать. Молчать при любых обстоятельствах. Молчать о том, что происходит в недрах этой самой тайной из всех тайных политических полиций мира.

Впрочем, вернемся к моему оформлению на работу в МГБ.

Довольно скоро я понял, что все эти заполняемые мной анкеты и собеседования в отделе кадров были только началом, это был некий предварительный формальный прием. Главные проверки меня еще ждали. Вместе со мной в областное управление МГБ было принято еще десять человек, все они были члены партии и комсомольцы, но это не помешало половину из них уже через два-три месяца уволить. Ни одному из них так и не сказали, что истинной причиной его увольнения была не совсем "чистая" анкета. Называли какие угодно причины, но только не это.

Я часто задаю себе вопрос: "Ну а почему, собственно,

приняли меня, еврея, жителя западных областей?" Во-первых, по-видимому, потому что у меня была идеально чистая биография — не считая "пятого пункта" — но тогда он еще не играл такой роли, как впоследствии. Был я вначале комсомольцем, а ко времени поступления в МГБ — и членом партии. Сыграло, по-видимому, свою роль и знание языков; кроме русского я знал украинский, польский, немецкий, идиш. Но главным, я думаю, было третье обстоятельство, которое, впрочем, сыграло свою роль впоследствии. В органах работали члены моей семьи — жена Лидия Шмакова — в отделе политического контроля /ПК/, ее сестра Клава — в военной цензуре, а их дядя, Андрей Николаевич Сергеев, занимал пост начальника отделения в отделе военной цензуры № 115.

Вообще надо сказать, что многие сотрудники областного управления МГБ старались пристроить своих жен в цензуру. В управление МГБ работали по двенадцать часов в сутки, восемь — днем и четыре — вечером, тогда как у цензоров был восьмичасовой рабочий день. Естественно, сотрудники этого управления стремились, чтобы их жены по вечерам были дома, с детьми, занимались хозяйством, — работа в цензуре оставляла для этого время. Но была еще одна, куда более важная причина, почему в органы принимали людей, которые так или иначе были связаны родственными отношениями с теми, кто уже здесь работал. Выше я уже вскользь упомянул, что секретность была, да и по сей день остается, высшим принципом работы МГБ. Так вот, для того, чтобы не происходила "утечка" этой секретности, очень важна была эта родственная круговая порука. Простой пример: если муж работает в управлении МГБ, а жена, скажем, в военной цензуре или отделе политического контроля, то вряд ли он станет ее допытывать, чем она занимается на службе, во-первых, он и сам о многом знает, а во-вторых — я снова это повторяю — в течение всей их жизни работникам органов внушается, что надо быть молчаливыми, замкнутыми, не любопытными. Молчание во всем том, что касалось работы, становилось их условным рефлексом. Иное дело, если один из супругов,

скажем, муж, не имеет отношения к органам, это уже другой человек, которого просто не может не одолевать любопытство, чем занимается его вторая половина.

Вот так и получилось, что в нашем Читинском управлении МГБ, куда ни кинь взгляд, всюду были родственники. Начальником отделения в отделе политического контроля, или ПК, был капитан Федор Игнатьевич Новицкий, с которым впоследствии меня столкнет судьба, а его жена Маруся работала в военной цензуре. Начальником международного отделения был лейтенант Пулипов, а его жена Лена — сотрудницей отдела политического контроля. Подполковник Бугай был начальником отдела кадров областного управления МГБ, его жена Вера Галицкая работала в ПК, сестра подполковника Бугая, Матрена Бугай, опять же была сотрудницей ПК, и т. д.

ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

Почти все, кого вместе со мной приняли, были направлены в отдел /отделение/ военной цензуры № 115.

Что представлял собой этот отдел? Начну с того, что он был расположен в двух совершенно изолированных помещениях, поскольку в Забайкальском военном округе по существу были два отделения военной цензуры. Их территория была огорожена колючей проволокой. Здесь круглосуточно находился ответственный дежурный, без его разрешения на территорию отделения вход был воспрещен. Дежурного отделения вы всегда могли отличить по чекистской форме, обычно это был офицер, который на видном месте носил оружие. Даже своим внешним видом этот дежурный как бы символизировал, что военная цензура — это организация, на которую распространяются все нормы армейской жизни.

Дежурный обязан был тотчас же докладывать о каждом происшествии на территории отделения военной цензуры в областное управление МГБ, которому он непосредственно подчинялся.

Не представляет особого труда догадаться, чем занималась военная цензура — в основном проверкой писем военнослужащих. Но не только ими, а, может быть, еще в большей степени письмами, которые получали военнослужащие.

Будучи принятым в военную цензуру, я сразу же попал в так называемую национальную группу — в мои обязанности входила проверка писем на немецком, польском, украинском языках, а также писем на идише. Но разумеется, на идише и на немецком почти не писали. Мало было писем и на польском, зато на украинском писали очень много, и именно эти письма я и должен был проверять.

Ежедневно комендант военной цензуры принимал мешки писем, поступающих к нам, за колючую проволоку, из внешнего мира. От коменданта письма шли к оперуполномоченному, а тот уже распределял их между цензорами. Каждый цензор, приходя на работу, получал штамп "Проверено военной цензурой", а вместе с ним ножницы, клей и два отдельных конверта. На одном было написано: "Для изъятия текста", на другом — "Для оперативного использования". Обязанности цензора выглядели не слишком хитро. Приступая к работе, он ножницами отрезал борт конверта, стараясь это делать с максимальной осторожностью, чтобы не повредить письмо. Затем проверял написанное, если письмо было не по-русски, он направлял его в национальную группу.

Военная цензура была чрезвычайно жесткой. Военнослужащий даже намеком не мог сообщить, где он находится и где расположена его часть. Разумеется, отправители великолепно знали это правило и все-таки нет-нет, да и нарушали его. Дело в том, что моя служба в военной цензуре совпала с войной в Корее. В газетах, разумеется, не писали о том, что советские воинские подразделения находились в Корее, правда, не на передовой, служили, главным образом, в зенитной артиллерии, в авиации, и, естественно, этот факт держался в глубочайшей тайне. Газеты были полны обвинений, направленных против американского империализма, спровоцировавшего войну и помогавшего южнокорейским марионеткам. Советский же Союз выступал в роли такого справедливого миротворца.

Можно себе представить, с каким тщанием мы, военные цензоры, должны были вылавливать письма, в которых можно было, например, прочитать "Привет из Пхеньяна", или "Ich bin in Korea" или еще что-то подобное. Не то, чтобы хотели сообщить секретные данные, а просто, о чем было писать людям, неожиданно оказавшимся в Корее, и как удержаться от того, чтобы не сообщить это близким. Но цензоров мало волновали побудительные мотивы отправителей. Письма с упоминанием о Корее чаще всего шли в конверт для оперативного использования, или как еще принято было называть в цензуре — для "оперативной разработки". Думаю, что в Советском Союзе многие знают, чем обычно заканчиваются такие "оперативные разработки".

Не менее строго проверялись письма, идущие в адрес военнослужащих из различных концов страны. Запрещалось писать о продовольственных и других трудностях, о стихийных бедствиях, о неурядицах в колхозах, об очередях... Невинные, казалось бы, фразы "Дорогой Вася, у нас уже второй год не урожай" или "У нас в колхозе был пожар" немедленно вымывались. Убиралось все, что, как сказано было в инструкции, могло повлиять на душевно-психическое и моральное состояние военнослужащего. Чем меньше он знает об окружающей жизни, тем лучше, — к этому сводился основной принцип военной цензуры. Главным источником информации в армии были, да и по сей день, я думаю, остаются — политбеседы, или, как их называют, политдолбежки. Разумеется, из политдолбежек ничего нельзя было узнать. Шла война в Корее, и об участии в ней Советского Союза знал весь наш военный округ, но не дай Бог упомянуть об этом вслух или в письме. На политдолбежках твердили одно и то же: "Американский империализм стремится развязать войну, а СССР только и печется о мире". Это я говорю к тому, что не надо удивляться, если советские солдаты переходят границу Афганистана и даже не знают об этом, думают, что они участвуют в простых маневрах. Переходят границу Чехословакии и думают, что спасают братскую страну от покушения на нее ФРГ. Неведение и незнание — вот та атмосфера, в которой всегда

пребывает советский солдат. И в создании этой атмосферы, может быть, главная роль как раз и принадлежит военной цензуре, призванной оградить армию от любой информации, от любого влияния внешнего мира. Могут, конечно, спросить: "Ну, а о чем же можно было писать?" О чем? О том, кто на ком женился, кто захворал, у кого была свадьба, кто у кого родился — это проходило без препятствий.

Начальником отдела военной цензуры № 115 был майор Андрей Николаевич Сергеев, его замом — майор Алтухов, но всю работу на себе тащила старший оперуполномоченный капитан Рива Львовна Гольденберг. Она работала на проверке писем с первых дней существования цензуры, то есть с 1935 года. В глазах начальства капитан Гольденберг пользовалась непререкаемым авторитетом и фактически заправляла в Чите всей военной цензурой. Именно ей, а не кому-нибудь другому, поручалось оценивать, содержит то или иное письмо антисоветские высказывания. Она оформляла всю корреспонденцию, предназначенную для военной разведки и для органов МГБ. При этом она рьяно несла свою службу, пребывая в уверенности, что ничто не должно ускользнуть от бдящего ока военной цензуры. Она могла работать днями и ночами напролет. Я думаю, если вообще можно говорить об энтузиастах и романтиках цензуры, то таким энтузиастом была Рива Львовна Гольденберг. Ну, а как заставить работать с таким же рвением и остальных цензоров? Как повысить их бдительность? Для этого существовали разные способы, и довольно часто применялась специально подстроенная провокация. Цензору подкладывалось письмо — среди сотен прочих — с нарушением военной тайны. Когда он заканчивал работу, тут же устраивалась дополнительная проверка и конечно же, если что-нибудь обнаруживалось, цензора ждали неприятности — в лучшем случае демобилизация, ну а что в худшем случае, я думаю, понятно. Цензоры знали, что в любое время начальство могло им подстроить такой сюрприз и, насколько это было возможно, проявляли бдительность.

Не думаю, что сам факт существования цензуры является для кого-то секретом в Советском Союзе. Другое дело — что

она собою представляет, что за люди в ней работают. Бытует мнение о некоем сидящем в цензуре круглом болване, который вымарывает все, что предлагает ему вымарать инструкция. Конечно, интеллектуалы не работают в цензуре. Но важно то, что в ней работают профессионалы, знающие свое дело. По опыту своей работы в Чите я берусь утверждать, что нет такого языка и в Советском Союзе и за его пределами, который мог бы стать барьером в работе цензуры. В нашей национальной группе, которой руководил мой "крестный отец" Петр Черенко, работали цензоры, владевшие почти всеми языками народов СССР: татарским, узбекским, казахским, киргизским, монгольским, якутским, чувашским, мордовским, грузинским, армянским, азербайджанским, идишем, польским. Мой сосед по столу лейтенант Бахтин один мог проверять письма на татарском, узбекском, киргизском и казахском языках. Но все-таки у нас, как и в других областях, не было людей, знающих все исключительно языки, поэтому была разработана весьма совершенная система, система, так сказать "взаимопомощи". В каждом областном отделении существовал полный список цензоров с указанием языков, которыми они владели, и места их нахождения. Известно, например, было, что цензоры, владевшие татарским языком, находились в Москве, Казани, Хабаровске, Чите, грузинским языком — в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Чите и т. д. В Чите, например, не было цензора, знающего китайский, зато он был в Хабаровске, и если возникала необходимость в его содействии, письмо немедленно пересылалось в Хабаровск.

Из рассказанного мной ясно, что у нас в военной цензуре была не простая работа. Но вот кончался рабочий день, мы покидали огороженное колючей проволокой помещение и у каждого начиналась обычная жизнь. В основном в военной цензуре работали молодые парни и девушки. После работы шли в клуб, на танцы, — проводили время и веселились кто как мог. Я в этих вечерних кампаниях чувствовал себя белой вороной. Мне не давало покоя то, что произошло в Дрогобыче с моей семьей. Во время войны там погибли почти все мои близкие, и я, естественно, рвался на родину, чтобы повидаться

с друзьями, узнать все, что возможно, о гибели моей семьи. Тогда я еще не подозревал, что и в Дрогобыче, в отпуске, где я хотел обо всем забыть и побыть наедине со своими мыслями, моя новая работа то и дело будет давать о себе знать. И так будет постоянно, до последнего дня моей жизни в Советском Союзе — никогда и нигде мне не дадут забыть, что я работал "там", и об этом мне в любой момент могут напомнить — телефонным звонком из какого-то неизвестного мне места, приглашением встретиться с каким-то неизвестным мне человеком — о, это особое чувство, когда тебя постоянно держат в когтях, из которых вырвать тебя может только могила. Но разве я все это знал, когда начал работать в читинской военной цензуре? Какой у меня был жизненный опыт? Что у меня было за спиной? В чем я разбирался?

Я был страшно рад, что наконец-то, через четыре месяца после начала работы, мне предоставили отпуск и бесплатный проездной билет по маршруту Чита—Дрогобыч—Чита. Хотя военная цензура не относилась к Министерству обороны — цензоры пользовались всеми армейскими привилегиями. Мы получали деньги за воинское звание, деньги на питание, доплату за стаж, за работу в отдаленных областях, предоставляя отпуск, нам отдельно оплачивали за проезд к месту отдыха, и,— что уже самое анекдотичное, — когда в 1948 году была учреждена медаль "30-летие Советской Армии", то вместе с солдатами и офицерами ее получили и военные цензоры.

В Дрогобыче, куда я прибыл после восьми суток пути по железной дороге, меня не встречала ни единая душа — как я уже писал, все мои родные погибли во время оккупации города немцами. Тогда я стал искать встреч с довоенными друзьями и знакомыми. Перед войной я работал инспектором городской сберкассы, туда я и отправился вскоре после приезда. И действительно, встретил двух своих старых знакомых, кстати, оставшихся на прежних своих должностях. Это были начальник городской сберкассы Петр Сергеевич Мельник и заместитель начальника областного управления сберкасс Николай Иванович Буров. Оба страшно обрадовались этой встрече, но после, когда вечером сидели за рюм-



Группа читинских цензоров.



Сотрудники военной цензуры Р. Гольденберг /слева/, Л. Авзегер и З. Лазун.

кой водки, и тот и другой по очереди, притом по большому секрету, мне рассказали, что не так давно обо мне их очень настойчиво расспрашивали мало известные им люди — кем я работал, как я работал, был ли политически благонадежен до войны, не замечались ли за мной антисоветские высказывания. Мне это показалось несколько странным — я предполагал, что все проверки закончены еще в Чите. Но вот я встретился в Дрогобыче еще с одним старым товарищем, учителем торгового техникума Леней Ясеницким. Мы с ним говорили, как водится между людьми, долго не встречавшимися, — о том, о сем, о довоенной жизни, об общих знакомых, и вдруг, опять же неожиданно, все то же: "А знаешь, Леопольд, тут о тебе недавно справки наводили, всю твою подноготную хотели выяснить". И главное, в конце — с вас подписочка о неразглашении, никому, никогда. Потом мне об этом же рассказал еще один знакомый, но я уже не удивлялся. Я понял, что те два дня, которые я провел в отделе кадров Читинского областного управления МГБ, заполняя анкеты, были только началом. На самом же деле, как я уже писал выше, органы еще долго, по существу, всю мою жизнь в Советском Союзе, будут проверять меня, мое прошлое, мое настоящее, моих родственников — я постоянно буду находиться на подозрении и когда стану тайным цензором ПК и, казалось бы, уже буду облечен полным доверием. В следственной практике прокуратуры и КГБ есть понятие "подозреваемое лицо". Но берусь утверждать: нет в КГБ более подозреваемых лиц, чем собственные сотрудники, к числу которых принадлежал и я.

Но, по-видимому, в Дрогобыче так и не удалось отыскать компрометирующие меня материалы, потому что через некоторое время после возвращения в Читу меня пригласил к себе в отдельный кабинет мой начальник Черенко и сообщил, что начальство намерено поручить мне новую и чрезвычайно ответственную работу — н е г л а с н у ю проверку писем. О том, что я занимаюсь этой работой, не должен знать абсолютно никто, в том числе и мои товарищи по отделу военной цензуры. Эта работа гораздо более сложная, чем та, которую

я выполнял в военной цензуре. Никто не делал особого секрета из того, что существовала военная цензура, — письма вскрывались почти открыто, ножницами, вымарывались целые абзацы. Проверка, которая поручается мне теперь, должна осуществляться при сохранении абсолютной тайны. Письма следует вскрывать таким образом, чтобы никто и никогда не мог заподозрить, что они подверглись цензуре.

Черенко говорил о самых общих деталях моей будущей работы, останавливаясь в основном на чисто технических вопросах. Дело в том, что формально я оставался еще в штатах военной цензуры, и лишь когда у меня появлялось свободное время, раз-два в неделю, мне приносили письма для так называемой тайной проверки. Это был своего рода испытательный срок, когда ко мне еще только приглядывались и еще не доверяли выйти в мир, носящий название "тайной советской цензуры".

В СОВЕТСКОМ ПОДПОЛЬЕ

Итак, я подхожу к главной теме моих воспоминаний. Я уже писал, что само существование тайной цензуры не составляет секрета для жителей Советского Союза. Но как мне кажется, никем до сих пор не представлено достоверных доказательств — как она организована, кому доверена, как она действует при разных обстоятельствах. Попробую в меру своих возможностей ответить на эти и многие другие вопросы, которые не могут не привлекать к себе внимания каждого, для кого права и свобода гражданина не являются пустым звуком. Я готов быть свидетелем на любом процессе, где пойдет речь о нарушении в СССР одного из элементарнейших прав человека — права на сохранение тайны переписки. Я готов представить доказательства, что у гражданина СССР такого права нет. Точнее, формально оно существует и даже записано в 128 статье советской конституции, но рядом с этим в стране существует тайная, широко разветвленная, вооруженная современнейшими техническими средствами политическая организация, которая это право советского человека сводит на нет.

Как я уже говорил, вначале негласная проверка писем была для меня нечто вроде работы по совместительству. Раз или два в неделю, сидя за своим рабочим столом в отделе "В", я получал письма для их тайной проверки. Что представляла собой эта проверка, я скажу ниже, а пока лишь замечу, что такая постановка дела по-видимому не очень устраивала начальство. Нарушался один из важнейших принципов тайной цензуры — конспирация. Вскрытые письма приносили мне в отдел "В" на виду у его сотрудников, никаких условий для тайной проверки корреспонденции не было. К тому же это приводило к задержкам писем, которые вовремя не отправлялись дальше, и это также не входило в планы начальства. С другой стороны мое старательное отношение к делу постепенно исключало всякие подозрения, возникала уверенность, что я человек абсолютно надежный и мне можно доверить самую сложную и секретную работу.

Так или иначе, в один прекрасный день меня снова вызывает мой непосредственный начальник и старый приятель Петя Черенко и сообщает, что со мной хочет говорить начальник отделения ПК /то есть отдела политического контроля/ Федор Игнатьевич Новицкий. Черенко сказал, что с Новицким мы должны будем встретиться в установленном месте, в центре Читы. А что делать дальше, Новицкий объяснит мне на месте. Нетрудно было представить, сколь секретны будут моя новая работа и мое новое учреждение, если даже мой будущий начальник не мог решиться меня туда пригласить, а встречался со мной в городе. Мы встретились с Ф. И. Новицким, которого, впрочем, я знал и до этого, и вместе отправились по направлению к станции Чита—II. Затем вошли в специальное помещение, расположенное в здании вокзального почтамта и имеющее с ним даже общую стену. Таким образом я оказался в здании ПК, куда начиная с этого дня буду приходить уже каждое утро, в строго предписанное время и соблюдая при входе в него строжайшие правила конспирации. Впрочем, дело сводилось не только к конспирации. Довольно скоро я понял, что у меня начинается совершенно иная жизнь, во многом отличающаяся от

жизни моих знакомых и вообще от жизни обычных окружающих меня людей. Я не просто обязан был выполнять определенные служебные функции, я еще должен был оставаться невидимым для окружающих. Это были альфа и омега моей новой работы. Отныне к этому, в сущности, сводилась вся моя жизнь. Иногда мне казалось, что если бы я мог физически сделаться человеком-невидимкой, меня бы превратили в него. Во всяком случае, те, кто поставил меня на новую работу, сделали для этого все.

Началось, как это бывало и в прошлом, с инструктажа. На этот раз проводил его мой новый начальник Федор Игнатьевич Новицкий, и был он гораздо более долгим и обстоятельным, чем в прошлом. Начал Новицкий издали — с конституции, которая, как известно, гарантирует гражданам тайну переписки. "И вы, наверное, знаете, Леопольд Йонасович /он сразу взял интимный задушевный тон/, что никому не дано право нарушать тайну переписки. Однако вопрос в том, как гарантировать это и другие права советских граждан от посягательств врагов народа. Задача эта не простая и партия решила возложить ее на наши органы, на нас с вами, Леопольд Йонасович. Для этого и создан политический контроль. Называть его нарушением конституции было бы неправильным и вредным. Скорее, напротив: политический контроль служит ее наиболее последовательному выполнению..." Так или примерно так мой будущий начальник Федор Игнатьевич Новицкий начал вводить меня в курс дела.

Как и подобает сотруднику органов, я не анализировал, насколько логично и тем более морально все то, о чем говорил Новицкий. К этому времени я уже успел свыкнуться с принципом: "Морально все то, что обязывают делать партия и органы". Вообще-то я даже не думаю, что утруждал себя подобного рода анализом. Формула жизни была проста и прозрачна: "Раз партия требует, значит так надо". И я обязан как можно добросовестней выполнить то, что требует от меня партия.

Между тем Новицкий не спеша, слово за слово, знакомил меня с новыми требованиями. Как я уже говорил, главным принципом, которому я обязан был теперь следовать, — был

принцип абсолютной, полнейшей секретности всей моей жизни. "Начнем с конспирации в быту, — сказал Новицкий. — Запомните, вы должны стать как можно более незаметным человеком. Никаких скандалов в квартире или в очередях. Никаких судов или ссор с соседями. Вы есть и в то же время вас как бы и не должно быть".

Фактически все мы являлись сотрудниками областного управления МГБ, но в его здание у большинства цензоров не было права входить. Никто не должен был даже догадываться, что между нами и органами может существовать хоть какая-то связь. Особенно строго следовало соблюдать конспирацию, связанную с местом нашей работы. "Запомните, товарищ Авзегер, — перешел на официальный тон Новицкий, — что никто на свете — ни ваши родственники, ни даже самые близкие друзья не должны знать, что мы находимся там, где мы находимся".

Далее выяснилось, что все сотрудники ПК приходят на работу по отдельности и в строго определенное время, причем у каждого есть свое назначенное время прихода и ухода. Нарушение этого графика равно нарушению трудовой дисциплины. "Ни один человек, — продолжал Новицкий, — не должен видеть, что вы заходите в это помещение. Ни один! И если кто-то из знакомых вас окликнет возле входа, вы ни в коем случае не должны отзываться, а должны сделать вид, будто просто не заметили его. В случае, если в этот момент кто-то из знакомых проходит мимо вас, вам следует любым способом задержаться и подождать, пока он скроется. У вас ведь развязываются иногда ботинки, — улыбнулся Новицкий, — так вот лучше всего, чтобы в это момент у вас развязался ботинок, и вы будете его зашнуровывать до тех пор, пока ваш знакомый не скроется..."

Вот так я вступал в совершенно иную для меня жизнь — жизнь тайного цензора. Я читал много книг о жизни подпольщиков до революции, о наших разведчиках, действовавших в глубоком тылу у врага. Я тоже ушел в подполье, но не во вражеском тылу, а в своей собственной стране, в городе, где я жил.



План размещения почтамта и отделения ПК в г. Чита.



— Да, кстати, у вас должно быть официальное место работы, — поодолжал мой новый шеф. — Какое именно, не имеет значения, но оно должно быть постоянным. И если кто-нибудь из ваших знакомых поинтересуется, где вы работаете, вы не мешкая должны ответить. Вы должны знать фамилию начальника, его зама, сотрудников, чтобы не путаться, если вас начнут о вашей работе расспрашивать. Лучше всего "устроиться" в горком партии или комсомола. В этих организациях нам легче будет обеспечить вам конспирацию."

Но пожалуй больше всего меня удивило то, что Новицкий сказал в заключение. Он сказал, что в нашем служебном лексиконе не должно существовать слова "письмо" или "письма". "Забудьте это слово. Мы работаем не с письмами, а с документами. Все, что мы читаем, просматриваем, посылаем на оперативную проверку, — все это документы, с которыми работает наша организация. Кстати, никогда позже я не слышал из уст сотрудников ПК слово "письмо", они просто не употребляли его, словно боялись, что само слово может бросить тень на их особого рода тайную деятельность, а потому всегда говорили "документы", и это правило здесь соблюдалось довольно строго.

Итак, я должен был фактически иметь два лица — одно для знакомых, родственников, для моего окружения, другое — мое истинное лицо — тайного цензора, которому поручено чрезвычайно важное для страны задание. Отныне я уже не мог свободно пойти с товарищами в ресторан — прямого запрета, правда, тут не существовало, но это не рекомендовалось. Я не мог поссориться с соседом, или, не дай бог, одернуть зарвавшегося хулигана в очереди. Стоило где-то вспыхнуть скандалу, как я обязан был тотчас же ретироваться. Я должен был с оглядкой ходить на работу, чтобы, не дай бог, не увидел меня кто-нибудь из знакомых. У меня была выдуманная должность в горкоме партии, выдуманный начальник, выдуманные сотрудники, и я никогда не должен был забывать об этой второй, выдуманной жизни.

МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Было бы, однако, ошибкой думать, что эта, другая жизнь сотрудников органов только и служила для отвода глаз окружающих. Нет. Дело обстояло далеко не так просто, и наше руководство довольно часто использовало для самых различных целей роли, которые были нам розданы.

Помню, как во время войны в Корее из Москвы на Дальний Восток отправилась делегация так называемого Всемирного конгресса сторонников мира. Советское правительство поставило своей задачей ознакомить участников делегации с событиями в Корее, убедив их в том, что войну развязал американский империализм. Поездка делегации проходила в торжественной обстановке. Ее участники останавливались во многих городах Советского Союза и в частности — в Новосибирске, Иркутске и Чите.

В честь участников делегации в Чите было решено устроить большой прием и пригласить на него многочисленных представителей партийных, профсоюзных и общественных организаций города, а также новаторов с различных читинских предприятий. Лично я не был на этом приеме, но буквально на другой день встретил случайно в городе своего старинного друга Василия Петрова, с которым я вместе работал в отделе военной цензуры № 115 и жена которого работала вместе с моей женой в ПК. Позже Петрова перевели в Пятый отдел МГБ, где он стал негласным сотрудником и следил за ходом ликвидации гоминдановского консульства в Чите. Так вот во время той нашей встречи Петров рассказал мне, что на приеме в честь делегации сторонников мира присутствовали в большинстве своем сотрудники МГБ в самых разных ролях. Конечно, не только они; были тут партийные руководители, директора предприятий и учреждений, новаторы производства. Но в роли рабочих различных предприятий выступали исключительно сотрудники МГБ. Сам Петров выступал в качестве передовика производства с Читинского машиностроительного завода. Начальство из областного управления МГБ поручило ему выступить с приветственной речью, и он

рассказал гостям, что не покладая рук трудится над выполнением пятилетнего плана в три года, что, будучи квалифицированным фрезеровщиком, прекрасно зарабатывает, всем обеспечен, имеет хорошую квартиру и вообще очень доволен своей жизнью и работой.

У заграничных гостей были переводчики. Во время выступления Петрова они улыбались и согласно кивали головами.

На приеме пили и ели немного, хотя столы ломились от вин и закусок. Так полагалось по протоколу, и "передовики производства" строго соблюдали его. Но зато, когда прием закончился и иностранные гости покинули зал, наши "новаторы производства", которые на приеме составляли большинство, снова заняли места за столами. И вот тут-то и началось. Не встали, пока на столах ничего не осталось. И каждый рассказывал, как втирал очки сторонникам мира и как они верили этим сказкам. Загул продолжался до глубокой ночи.

Но на этом дело не кончилось. Через несколько дней меня пригласили в областное управление МГБ, посадили около магнитофона и поручили расшифровать несколько магнитных пленок. Это были тайно сделанные записи бесед на немецком языке между членами делегаций и некоторыми из высокопоставленных работников Читы.

Это была нелегкая работа, потому что говорили очень быстро. Мне пришлось прокручивать пленку несколько раз, прежде чем я сделал перевод. Тогда я еще раз убедился, насколько вездесущим стремится быть МГБ — поистине, в этом учреждении не верили никому: ни сторонникам мира, завербованным из западных прокоммунистических организаций, ни даже собственным партийным работникам. Я не знаю, куда дальше пошел мой перевод. Скорее всего, для "оперативной разработки" в недра МГБ, где взвешивалось каждое слово, каждая шутка — все это шло затем в личное досье каждого из участников встречи.

Следует заметить, что в областное управление МГБ меня вызывали довольно часто. Правда, исключительно по вечерам, чтобы никто не мог узнать о моих посещениях. Был у

меня специальный пропуск с указанием фамилии, имени, отчества и номера. О том, что я тайный сотрудник МГБ, — ни слова. Я часто занимался переводами картотек бывших советских военнопленных, составленных в немецких концлагерях. В картотеках были абсолютно все данные об этих людях и даже отпечатки их пальцев. По-видимому, они были переправлены из Германии в Читинскую область, где отсиживали свой срок. Возможно, против некоторых из них намечалось возбудить новые уголовные дела.

Однажды я встретил в областном управлении — опять же это было ночью — японского военнопленного, который шел в сопровождении оперативного работника. В Чите было много пленных японцев. Вид их был ужасен: они ходили во всем рваном, вечно голодные, опустившиеся. Этот, которого я встретил в МГБ, был великолепно одет, хотя он шел, как полагалось пленному, в сопровождении опера. Его привезли в управление на легковой машине и после продолжительной беседы в одном из кабинетов управления, на той же машине увезли. Позже я узнал, что этот пленный должен был стать одним из засланных в Японию советских агентов.

Впрочем, я кажется, отклонился от основной темы. В конце концов, я относился не более, чем к резерву МГБ, и "вторая жизнь", которой я коснулся, для меня не была главной. Главной была работа тайного цензора, и о ней и о своих буднях в этом новом для меня амплуа я бы хотел рассказать подробнее.

Что я испытывал, вступая в эту подпольную кафкианскую жизнь тайного сотрудника ПК? Я был тогда еще достаточно молодым и, как уже говорил, безотчетно верил в догмы, о которых без конца шла речь на партийных собраниях. Правда — это то, что говорит партия.

Что же касается тайного характера моей новой деятельности, то в моих глазах это даже придавало ей некий романтический ореол. Действительно было в этом что-то необычное — находиться в подполье в собственной стране. Только много позже я понял, в каком ложном положении я оказался и какую недостойную миссию выполнял все эти годы. Впрочем,

я верю, что эти мои записки, мое прямое и честное свидетельство, с которым я выступаю на страницах журнала "Время и мы" явится в определенной степени и моим раскаянием. То, о чем я буду говорить дальше, может быть, и не представляет особого беллетристического интереса, но я уверен, представляет интерес документальный — для каждого, кто хочет знать правду, всю правду о том, что представляет собой советский социалистический режим.

ТАЙНЫЙ СОТРУДНИК ПК

Выше я уже кажется писал, что помещение ПК находилось в здании почтамта, на станции Чита-II. Как узнал я позже, тайная проверка писем почти всегда осуществлялась либо в помещениях почтамтов, либо рядом с ними, при этом чаще всего возле вокзалов. Это создавало неоспоримые удобства. Вся корреспонденция, прибывавшая в опломбированных вагонах на вокзалы и станции, поступает обычно на привокзальную почту. Здесь на конвертах и открытках гасятся марки, и именно отсюда письма идут на тайную проверку.

С другой стороны, через вокзальный почтамт проходит вся корреспонденция, направляемая в другие места. Опять же перед отправкой ее без труда можно подвергнуть перлюстрации.

Но вот что примечательно — работники почтамтов, кроме территориального соседства, никакого отношения к тайной цензуре не имеют. Боле того, они часто вообще не знают, что делается у них за спиной.

В Чите, например, почтовые работники имели свой главный вход со стороны привокзального перрона. Сюда каждое утро, группами и в одиночку, совершенно открыто шли люди на свою работу. Вход в ПК был совершенно с другой стороны, и на перрон мы вообще не попадали. Это создавало впечатление, что люди, входящие в здание почтамта со стороны, никакого отношения к нему не имеют. А чтобы создать иллюзию, что они входят вообще не в служебное помещение, а в жилой дом, у входа в ПК была пристройка, площадью 2 x 2. При-

стройка имела дверь, которая никогда не запиралась на замок. Внутри было темно, что создавало впечатление заброшенности помещения. Но каждый из нас, сотрудников ПК, знал, что на одной из внутренних стен пристройки оборудован сигнальный звонок. Был тут и свой код — необходимо было дать два очень коротких звонка, и лишь после этого вахтер открывал вам дверь, ведущую в помещение ПК.

Вход в наш отдел был расположен в непроезжей части улицы. Здесь никогда не было машин, а выходить на перрон с нашей стороны строго воспрещалось. Впрочем, это был маленький заброшенный закуток, и судя по его внешнему виду, тут вряд ли могло происходить что-то серьезное.

Как же передавались письма с почтамта в наш отдел? А делалось это вот как: из почтовых вагонов корреспонденция в специальных мешках доставлялась в главное помещение почтамта, где перед сортировкой почты гасились марки. У входа в это помещение висело объявление: "Посторонним вход строго воспрещен". Непосвященные обычно не понимали, чем был вызван этот строгий запрет, ведь здесь всего-навсего гасили марки и сортировали письма. Между тем, оно было отделено от остальной части почтамта дверью с железной решеткой. Дверь была постоянно закрыта наглухо. Но в том-то и дело, что именно отсюда, где осуществлялись самые невинные почтовые операции, и поступали письма в ПК для их тайной проверки. Все они обычно высыпались в специальные деревянные ящики размером 80 x 40. На столах, прикрепленных к стенам, гасились марки. Так вот, под одним из этих столов была прорублена стена и оборудован люк размером 90 x 90. Люк был сделан с таким расчетом, что можно было поставить в высоту один на другой два ящика. Обычно он был закрыт двумя раздвижными фанерными дверями. В определенное время двери люка раздвигались, и очередные два ящика с письмами направлялись в помещение, которое не имело никакого отношения ни к почте, ни к почтовым работникам.

Этот процесс передачи почты на перлюстрацию происходил совершенно секретно, я уже говорил, что большинство работ-

ников читинского привокзального почтамта вообще не знало о нашем существовании. Стена, в которой был оборудован люк, обычно была заставлена пустыми ящиками, так что никаких подозрений не возникало. Правда, несколько сотрудников почты знало о существовании цензорского люка, но надо отдать им должное, они никогда не проявляли любопытства. Они вели себя так, словно его и не существовало, молча заполняли ящики и так же молча передавали их в соседнее помещение.

Обычно у этих работников органы отбирали подписку о неразглашении, и к тому же время от времени они получали специальные премии, которые были своего рода платой за молчание.

Я уже сказал, что люк был оборудован в одной из стен. Эта была единственная стена, отделяющая почтамт от ПК. Насколько мне известно, ее строили специально выделенные органами рабочие, причем, она состояла из двух стен, пустое пространство между ними было заполнено древесными опилками, благодаря чему стена была фактически звуконепроницаема, и сотрудники почты при всем желании никогда не могли услышать то, о чем говорилось в нашем отделе.

Существовало еще одно негласное правило — почтовым работникам, независимо от того, знали они о нас или нет — запрещено было поддерживать с нами знакомство и вообще иметь с нами какие-либо отношения.

Всего в нашем отделении было около семидесяти человек, может быть, даже немного больше. Между сотрудниками существовало строгое разделение труда. Оперативный состав насчитывал шесть человек. Так называемая группа "списки" — десять человек. В группу "вскрытие" входило четыре человека, они занимались вскрытием и заклеивкой писем. Специальная группа из трех человек выполняла работу по фото- и химической "обработке документов". Остальные пятьдесят—пятьдесят пять человек, в том числе и моя украинская группа, были заняты исключительно проверкой писем, политическим контролем. Это был, так сказать, основ-

ной костяк ПК, и, как мы увидим ниже, от них часто зависела не только судьба писем, но и судьба живых людей.

Расскажу по порядку, как строилась работа нашего отдела. Я уже упоминал так называемую группу "списки". Это сотрудники, принимавшие из секретного люка ящики с письмами. В комнате, где они работали, хранились совершенно секретные списки людей, находившихся под наблюдением органов. Все без исключения письма, посланные в их адрес и исходящие от них, следовало немедленно задерживать и передавать старшему оперуполномоченному. Вход в эту комнату был строго воспрещен всем, кроме начальника отделения и тех, кто здесь работал. Главная задача этой группы был отбор для проверки писем, а так как письма на почтамт доставлялись круглосуточно, то группа эта вынуждена была работать в три смены.

Списки людей, находившихся под наблюдением, утверждались начальником областного управления МГБ. Каждые три месяца фамилии обновлялись, но были, разумеется, и такие, которые по истечении трех месяцев оставались в тех же списках. Сюда же были включены имена людей, которых разыскивали органы МГБ и, разумеется, ценность представляли любые появившиеся о них сведения.

В группе "списки" работали, как правило, молодые люди. Может быть, в политическом отношении они не были особенно подкованы, но должны были иметь феноменальную память. Для того, чтобы справляться со своей задачей, каждый из них должен был знать имена, фамилии, адреса людей, находившихся в списках. Они должны были запомнить все данные, которые имелись относительно лиц, разыскиваемых органами, должны были запоминать характеры почерков и написание отдельных букв в анонимных письмах.

В дни, когда из областного управления МГБ поступали новые списки, сотрудники этой группы приходили на работу на несколько часов раньше, чтобы начать эти списки учить. Иногда им приходилось заучивать наизусть до шестисот—восьмисот фамилий. В их обязанности, однако, входил не только отбор писем для органов, но и отбор для перлюстра-

ции. Принцип состоял в следующем: из общего потока писем, примерно восемь-десять процентов отбиралось для проверки. Отбирать надо было не вслепую, а в первую очередь письма, представлявшие, как у нас говорили, "оперативный интерес". Это были прежде всего письма без адресов или напечатанные на машинке /предполагалось, что таким образом человек намеревался скрыть свой почерк/, письма, посланные до востребования /считалось, что с целью не раскрывать адрес/, отбирались заказные письма с искаженным почерком и, наоборот, написанные чересчур четко или печатным почерком.

После отбора письма передавались старшему оперуполномоченному группы. Те из них, что имели отношение к присланным из МГБ спискам, переправлялись в областное управление для принятия оперативного решения. Некоторые из них вскоре возвращались к нам в отдел, их передавали на почтамт и отправляли по соответствующему адресу. Некоторые не возвращались никогда, и нам оставалось только догадываться об участи, постигшей их авторов, или тех, кому они были адресованы. Письма, представляющие "оперативный интерес", с подделанными, неясными и прочими почерками, после просмотра их оперуполномоченным, направлялись на вскрытие. Особенное значение придавалось так называемым "анонимкам" — главное в работе с ними было запомнить характер почерка, по которому следовало искать автора.

Думаю, что цензура — это, может быть, единственная в мире организация, где вскрытие и читка чужих писем доведены до уровня подлинного искусства. /Я не говорю о нравственной стороне дела — у КГБ и цензуры, естественно, свои представления о нравственности./ Что же касается упомянутого мной "искусства", то в ПК должны были не просто вскрыть письмо, но сделать это так, чтобы никто и никогда не узнал об этой операции. Я беру на себя смелость утверждать, что в советской цензуре вскрытие писем находится на высоком техническом уровне, это в полном смысле слова ювелирная работа.

Начнем с того, что работой этой в течение ряда лет занимались одни и те же люди, ставшие, без преувеличения, специали-

стами своего дела. Я не стану вдаваться в детали этой технологии /хотя и они, быть может, не безынтересны/. Замечу лишь, что для вскрытия писем в нашем отделе применялась специальная посуда, отлитая из нержавеющей стали. Эту посуду сделали, опять же, не на обычном предприятии /кому же можно было доверить такое дело!/, а в специальных мастерских МГБ. Так вот, в наше распоряжение предоставлялись стальные, герметически закрытые чаны, имеющие сверху отверстия для наполнения водой. Кроме того, в них были и специальные отверстия, через которые проходил пар. Письма клались не на металл, а на специальную марлевую подкладку. Когда вода нагревалась и пар через отверстия поднимался вверх, конверты, предназначенные для вскрытия, оказывались на этом пару. Вскрытие производилось специально предназначенной для этого костяной палочкой, с ее помощью не составляло никакого труда раскрыть клапан такого разогретого на пару конверта. Обычно слой почтового клея был очень тонок, и работа с конвертами, купленными в магазинах и книжных киосках, не представляла трудностей. Но иногда наши сотрудники сталкивались с самодельными конвертами, заклеенными "домашним" клеем. Этот клей не поддавался воздействию пара, и потому их было чрезвычайно трудно вскрыть, не повредив при этом. Однако в ПК были заранее предусмотрены и эти ситуации. Подобного рода конверты передавались оперуполномоченной Третьяковой, у которой была не одна, а целый набор таких "костяных отмычек". А если не помогали и они и после вскрытия оставались следы, то такие письма просто конфисковывались. Действовал молчаливый принцип: пусть лучше письмо пропадет, чем минует контроля МГБ или, того хуже — на письме останутся следы вмешательства цензуры.

Я отдаю себе отчет в том, что все эти чаны, костяные палочки, разогрев на пару — довольно скучная материя. Но я не мог обойти эту "прозу жизни", поскольку без этого от читателя ускользнет то очень важное обстоятельство, о котором я говорил выше: МГБ относится к цензуре и ко

всему, что с ней связано, с большим профессионализмом. Я бы сказал даже больше: без этой тонкой, филигранной и совершенно секретной работы с письмами советская тайная полиция не мыслит своего существования.

Вернемся, однако, к работе нашего отделения. Я говорил, что для каждого сотрудника было установлено специальное время прихода на работу. В одно и то же время более двух в помещение ПК войти не могли. Кроме того, существовал специальный график прихода на работу каждой группы. Причем, он был составлен с таким расчетом, чтобы свести к минимуму простои цензоров, у которых часто работы было невпроворот.

Как же выглядел этот график? Первыми в закуток-предбанник входили сотрудники группы "списки". Они готовили для всего отдела "фронт работ" и являлись обычно в шесть утра. В шесть тридцать начинала свой рабочий день группа "вскрытие". К ее приходу группа "списки" уже успевала подготовиться к работе определенное количество писем. Затем, в шесть тридцать-шесть сорок пять являлось начальство: оперуполномоченные, старшие групп, переводчики. И наконец, с семи до восьми приходили цензоры. Таким образом, к восьми утра цензорский аппарат Читы уже на полную мощность разворачивал свою работу.

Еще во время нашей первой беседы Федор Игнатьевич Новицкий мне говорил, что цензор не может не быть психологом. "Часто, — продолжал он, — люди, глядя в глаза друг другу, многое не решаются высказать. Другое дело, когда они берутся за письмо. Здесь они готовы открыть всю душу, высказать все, что у них накопилось — обиды, недовольства, жалобы на окружающую действительность. Ты, может быть, слышал, Леопольд Йонасович, что на Западе существуют детекторы лжи. С их помощью полиция проникает в души людей. Русскому человеку не нужны никакие детекторы. Русский человек сам о себе все расскажет, всю свою душу изольет в письмо. Только надо уметь прочесть это письмо. Ты понимаешь, о чем я говорю? "

Да, я понимал, о чем он говорил. И довольно скоро убедился, что в словах Новицкого была немалая доля правды — о чем только не писали люди друг другу, какие только не доверяли тайны, не подозревая, что на читинском почтамте подпольно существует специальная группа людей для того, чтобы выведывать эти тайны и использовать их во зло этим же людям.

Но о том, как это делалось, я расскажу в следующем номере.

Окончание в следующем номере.



Дора ШТУРМАН

ТЕТРАДЬ НА СТОЛЕ

Непредусмотренный постскриптум

"Дорогая Дора! Пишу наспех на почте. Только что получила Ваше письмо. Хочу, чтобы Вы знали, что оно ко мне дошло. Подробный разговор придется отложить до Вашего приезда. Стелла была арестована в 47-м, получила десять лет режимных лагерей. Встретились мы с ней на Воркуте летом 1949 года и не расставались до моей отправки в Потьму в конце 52-го. Ее освободили в 53-м году после смерти Сталина, по распоряжению Хрущева /после шестинедельного переследствия на Лубянке/. В 55-м году она вышла замуж за Я. Х., просидевшего восемнадцать лет. В 65-м родила сына, который сейчас в Москве... Жива и мать, сестра Ионы Якира. Нам предстоит большой разговор. Очень жду Вас. Надеюсь изменить некоторые Ваши концепции о ней. С Вашими статьями в основном согласна. Привет от Майи.

Надеюсь, Вы все разберете. Очень руки дрожат. Ближе нее у меня в жизни было очень мало людей. А близких было у меня в жизни много.

Ваша Н. Улановская* 20. 5. 1980."

* Имя Надежды Марковны Улановской стало во многом легендарным. Н. Улановская очень рано примкнула к революционному движению, была советской разведчицей. В сталинские годы была приговорена к 15-ти годам лагерей. Впоследствии пользовалась широкой популярностью как активистка алии. /См. журнал "Время и мы" № 21./

В статье, о которой упоминает Надежда Марковна, шла речь о моем детстве и юности, о "деле", по которому меня судили и приговорили к пяти годам заключения. В 1944 году в Алма-Ате трое студентов /и среди них я/ были осуждены по ст. 58 п/п 10—11 УК РСФСР за попытку независимого исследования советской системы. Состав преступления вроде бы и отсутствовал: читали, писали, думали, открыто высказывали свои вопросы, гипотезы и догадки. По существу же, сами основы нашего поведения: независимое исследование советской жизни и свободное обсуждение его результатов — были принципиально антисоветскими. Около года мы с одинаковой увлеченностью дружили, работали, дискутировали — то в более узком, то в более широком кругу — а потом нас "взяли".

Воспоминания об аресте и осуждении не могли не коснуться и тех, кто был причастен к нашему "делу" в качестве осведомителей. Стелла Корытная, которой посвящено приведенное выше письмо, была, по моему глубокому убеждению, одной из них, — сперва несознательно, а потом — из страха. Я уже писала о Стелле в своей статье "Стукачи и гонг справедливости" /"Время и мы" № 42/, но тогда не назвала ее фамилии. В третьем томе "Архипелага" А. И. Солженицын пишет о физическом истреблении лагерных "стукачей" по приговору тайного зековского суда. Меня потрясло, что людей, не имеющих возможности оправдаться /а вдруг — ошибка?!/, убивало еще одно, на этот раз "товарищеское" "ОСО"* по доносам еще одной категории тайных осведомителей руками еще одного отряда слепых исполнителей — "боевиков".

Мне потом доказывали, что "рубилровка" была направлена не против случайных, обманутых, "одноразовых" осведомителей, а против постоянных добровольных сексотов. Но кто мог измерить, кто исследовал степень виновности истребляемых, справедливость слухов об их вине? Я почти физически ощутила нож, занесенный над девятнадцатилетней Стеллой, вовлеченной гебистами в слежку за нами, и вторично вернулась к ее истории, чтобы показать, насколько ответствен-

*Особое совещание — орган государственной внесудебной расправы в сталинскую эпоху.

ность за любую форму предательства лежит на машине, ломающей человека, а не на человеке. Однако я никак не могла отказаться от убеждения, что человеку дана свобода воли, а значит, и возможность какого-то выбора. Но духовная и физическая пытка может исключить волю, и тогда ответственность за предательство делят между собой только палач и машина, создавшая палача. Так общее входило в личное, и от этого невозможно было избавиться.

Имея к началу 70-х годов дочь, ровесницу Стеллы лет нашей дружбы, я все более видела в судьбе Стеллы вариант возможной судьбы моего ребенка. Но ни Стеллу, ни нас не пытали физически. И я не могла отделаться от ощущения, что и дочь свою в таком случае не оправдала бы полностью. И сама не могла бы избавиться от чувства вины. Так однозначного решения и не нашлось.

До получения этой открытки у меня уже был телефонный разговор с общим /Н. М. Улановской и нашим/ другом, который мне сообщил, что Надежда Марковна и ее дочь Майя близко знали Стеллу и что, по их твердому убеждению, ошибочны и моя версия ее участия в нашем "деле", и мое представление о ее характере, и причина ее смерти, сообщенная мне Мосгорсправкой: она умерла иначе*.

Я была вне Иерусалима, нездорова, приехать смогла лишь неделей позже и провела дни до встречи с Надеждой Марковной в непрерывном волнении. С открыткой в руках я снова и снова перебирала подробности, и живые в памяти, и потускневшие. Но картина в основных своих чертах не менялась. Существовал "пограничник", прикинувшийся влюбленным в Стеллу и через нее узнавший о нас все. Должно быть, она с ним делилась доверчиво и простодушно, как мы — с главным и активнейшим доносчиком по нашему "делу" профессором В-м. Существовала рассказанная мною в "Тетради на столе" история с клочками моих черновиков, которые собирала и прятала в сумочку Стелла. Существовали ее панические обращения ко мне просьбы немедленно уехать из города по са-

*Содержание справки передано мною в очерке точно: "Умерла от инфаркта".

мым нелепым причинам /опасность селевой лавины, китайского нашествия/, хотя обе мы знали, что выехать без пропуска в европейскую часть СССР было тогда немыслимо. Существовал и визит В., уличенного позднее в "стукачество": он принес мне по просьбе Стеллы пятьсот рублей, чтобы я сейчас же уехала из Алма-Аты. Существовали и ее внезапный уход с прощальной дружеской вечеринки в нашу последнюю ночь "на воле", и унесенная ею моя тетрадь с посвящением Валентину Р., моему однодельцу, ставшая главной против него уликой на следствии. Был наш уговор, что я пойду ночевать к ней, и было ее загадочное отсутствие в ту ночь в общежитии, и мой арест утром — там, на ее постели, при пробуждении*. Как было объяснить и то, что ее, племянницу казненного командарма Ионы Якира, дочь расстрелянного секретаря Московского горкома ВКП/б/ через три дня после ареста выпустили и вскоре дали ей пропуск в Москву**, где зачислили в МГУ?.. И все это — даже не дожидаясь окончания следствия. Правда, на следствии все мы Стеллу единодушно из нашего содружества исключали. Она и в самом деле мало участвовала в нашей работе, но читала и знала все. Одного факта недонесения было в то время достаточно, чтобы состряпать против нее "дело".

Я вспомнила многое, но, к превеликому сожалению, только одно обстоятельство существенно дополнило мою концепцию: ведь все ее просьбы уехать, передача через В. денег, сама нелепость причин для отъезда, которые она выдвигала, и были предупреждением — в той единственной форме, на которую этот загнанный в угол девятнадцатилетний ребенок из растоптанной, наполовину истребленной семьи и мог решиться. Не ее вина, что я не поняла предупреждения, что мы все восприняли его как странный курьез в ее поведении.

* Из общежития меня отвезли домой, где сделали обыск, а оттуда — во внутреннюю тюрьму.

**Руководительницу нашей литературной студии из-за нашего "дела" долго еще не выпускали по вызову в Ленинград, где она работала до эвакуации.

Стелла, как я и писала, не была доносителем в классическом /"стукаческом"/ смысле термина. "Пограничник" и тоже ухаживавший за ней В., по-видимому, привлекли ее своим "сочувствием" и "пониманием". Но в какой-то момент "пограничник", вероятно, открыл перед ней свою волчью, морду. И тогда возникла ловушка, боязнь предупредить нас иначе, как иносказательно. Мы бы успели еще спрятать или уничтожить тетради, но не поняли предупреждения.

Я знала, что Стелла — дочь репрессированных родителей, что ее отец расстрелян и что отрочество она провела в страшном спецдетдоме. Но Стелла ни разу не сказала нам, чья она дочь* и племянница.

А ее происхождение многократно усугубляло тяжесть ее положения. Известны случаи, когда детям из семей репрессированных такого же ранга запрещали носить собственную фамилию и наделяли их псевдонимами. Узнав теперь все это, я лишний раз убедилась в том, как велика была скрытность и целеустремленность Стеллы тех лет: спастись, учиться, окончить, работать, не сгнить, как вся семья. Я, росшая и жившая с мамой, в кругу, о котором рассказано в первых главах "Тетради на столе", говорила ей о себе все. Это были рассказы и о множестве общих знакомых из харьковско-киевских партийно-правительственных слоев, истории моих друзей и соучеников из этих семей, судьбы их товарищей, в том числе и ее кузена Пети Якира, о котором в Харькове, среди ровесников, говорили, что в ответ на требование отречься от отца он пытался повеситься. Ни одним словом Стелла не выдала своего знакомства со многими из названных мною людей, своей принадлежности к той вполне конкретной среде, в которой у нас было столько общих корней. Если можно было молчать об этом, потому что велели молчать, то можно было и не посметь предупредить нас об угрозе иначе, как косвенно.

Дальнейшее — из рассказа Надежды Марковны.

* По словам Н. М. Улановской, мать Стеллы, сестра Ионы Якира — комиссар во время гражданской войны — послужила прототипом "девушки нашей в походной шинели" в знаменитой советской песне "Каховка".

Стелла была арестована в 1947 году по делу, не стоившему выведенного яйца. Чтобы немного подработать, она перепечатавала некоему профессору рукопись; после публикации и работа была признана вредной; его арестовали и осудили. В ходе следствия он назвал машинистку, которая печатавала рукопись. Возможно, он полагал, что ее-то действия уж никак нельзя счесть криминальными, ибо издательство приняло и выпустило его работу, не разглядев ее "порочности". Как могла разобраться в ней девушка-машинистка? Но тут ей припомнили ее семью, чем подкрепили "недонесение" на профессора: "враг" помогает "врагу". Припомнили ей, по словам Надежды Марковны, и дружбу с нами.

Надежда Марковна, человек нравственно очень требовательный, провела со Стеллой на одном лагерном участке четыре года. Это срок, достаточный для того, чтобы узнать о соседе и друге все. Я имею в виду качества души, ума и характера, а не детали жизни, о которых можно говорить и не говорить. Я спросила, рассказывала ли Стелла ей что-нибудь о нас. Оказалось, что рассказывала, но лишь очень немногое: выражала недоумение, что ее отпустили, обиду на мою мать, обвинившую ее в предательстве, высказывала предположение, что помог ей один из генералов госбезопасности, связанный с нашим "делом", бывший подчиненный Ионы Якира. С тех пор и на всю жизнь Стелла сделалась для Надежды Марковны третьей дочерью.

Два качества поразили зрелого, многоопытного человека в молодой девушке: полное бесстрашие и совершенная нравственная бескомпромиссность. Да еще самоотверженность, заставлявшая ее не заботиться о себе и отдавать все, что можно отдать, тем, кто в этом нуждался. О чем бы ни шла речь: о посылках, приходивших от матери, жившей уже на поселении; об одежде /вопрос жизни на воркутинских общих работах, а Стелла работала только на общих, избегая "придурочных" должностей — в страхе возможной расплаты за них какими-то уступками/; о более легкой работе, — Стелла отказывалась от них в пользу тех, кого считала слабее себя.

Такой была она и после освобождения: спасала посылками семью Улановских, оставалась верной своим дружеским лагерным связям.

Когда Хрущев, в свое время работавший и друживший с ее отцом, вызвал ее к себе и, по ее рассказам, плакал, слушая ее историю, она не попросила для себя ни квартиры, ни иной помощи. Только ее мать, будучи тоже возвращенной Хрущевым из ссылки и реабилитированной, восстановилась в партии и получила все, что было положено реабилитированным ее ранга.

Надежда Марковна рассказала мне, что знает Стеллу открытой и откровенной до предела, до чрезмерности, а не скованной и скрытной, какой запомнила ее я. Она знает Стеллу, чья верность слову и принципам была безупречной. В памяти тех, кто ее любил, ее имя ассоциировалось с его переводом на русский язык: Стелла — Звезда.

Я не склонна ни в малейшей степени сомневаться в точности их оценок. Но Надежда Марковна и ее дочь Майя убеждены, что и в 1944 году Стелла не могла вести себя так, как видится мне. А мне непонятно: чем взрослая Стелла и Стелла девятнадцатилетняя отрицают друг друга?

В нашей долгой беседе Надежда Марковна рассказала мне о себе две вещи, на мой взгляд, чрезвычайно значительные.

Первая — когда именно, в какой миг она сама почувствовала себя окончательно свободной от страха и от необходимости лгать. Последней ложью была для нее попытка убедить следователя в том, что она честный советский человек и ни в чем перед советской властью не виновата. Она и тогда уже чувствовала себя глубоко несоветским человеком. Но на воле оставались еще муж и дети, и страх за них заставлял вырываться из ловушки. Когда ей дали пятнадцать лет, а еще пуще — когда получила двадцать пять лет ее семнадцатилетняя дочь, когда арестовали и мужа, она стала свободной духом. Долг спасать ближайших, надежда спасти себя для них исчезли вместе с необходимостью скрывать свои чувства и мысли.

Вторая сверхважная для меня подробность ее рассказа состояла в том, как ей удалось раз и навсегда пресечь попытки лагерного оперуполномоченного сделать ее осведомителем. Вербовку всегда начинают одинаково: "Ведь вы же советский человек! Как же вы можете не оказать нам помощь в борьбе с противниками советской власти?" — "Простите, — ответила Надежда Марковна, — какой же я советский человек, если мне дали пятнадцать лет режимных лагерей за антисоветскую деятельность?". Опер сперва растерялся, но потом нашелся: "Ну, знаете ли, органы не часовой механизм: бывают ошибки..." — "Одним из главных против меня обвинений, — сказала Надежда Марковна, — было то, что я говорила о возможности таких "ошибок". Вы — что, присоединяетесь к этому моему утверждению?" Больше ее не вербовали. Два-три человека /среди многих, кого она к тому склоняла/ последовали ее примеру, и их тоже перестали донимать "советскостью" и вербовкой в сексоты. Но для того, чтобы так ответить, надо было уже познать освобождающие от надежды утраты или быть готовым на них.

Не пережила ли Стелла подобного освобождения?

Так и не встретившись со взрослой Стеллой, я не берусь рассуждать о том, когда именно: до ареста, во время следствия или после ее осуждения — она одолела страх. Но человек, которого знали мы в юности, не мог не пережить на своем пути к человеку, которого знают его более поздние друзья, этой очищающей эволюции. И кто знает, чего это ей стоило?..

До ареста был страх за мать, живущую надеждами, что дочь спасется от ее участи, страх за себя, надежда избежать гибельной и катастрофически непонятной доли близких. В лагере этого страха не стало. Ломать себя стало незачем. Кроме того, нам со Стеллой было в 1943—1944 годах по девятнадцать-двадцать лет, и, в отличие от прозревшей части поколения наших родителей, — мы еще были тогда людьми действительно советскими. Мы ничем не могли парировать это зловещее "вы же советский человек?!" Меня, как я уже писала, спас только гибель-

ный опыт отца*. Стеллу мог спасти лишь ее собственный опыт: получив десять лет и попав туда, где ждали ее либо смерть, либо ад для живых, она освободилась от волчьей милости. Там нашлись мужественные друзья, возникла опора. Ад оказался, по-видимому, менее страшным, чем самоподавление и самоизмена, необходимые для того, чтобы благородный по своей духовной природе человек оставался "советским" не только по паспорту, но и по той антиморали, следовать которой его вынуждают.

В своем письме к Надежде Марковне и Майе — в первом и непосредственном отклике на сообщение нашего общего друга о судьбе Стеллы — я истолковала неизвестную мне часть ее жизни как победу над тем, что искалечило ее детство и юность. Надежда Марковна и Майя восприняли это истолкование не только как ошибочное, но и кощунственное. По всей вероятности, потому, что для них алма-атинского пласта нашей со Стеллой жизни не существует: они не поверили в наше общее прошлое. Я же отменить его не могу. Все раздумья, все разговоры с его непосредственными свидетелями его не перечеркнули. Но разве должно оно, это прошлое, необратимо предопределять и дальнейшие наши судьбы? Любой из нас еще мог и сломиться, и выпрямиться в свои двадцать лет: катастрофы действуют на людей по-разному.

Должна ли была я называть имя Стеллы в своих воспоминаниях?

Спокойнее было бы не называть. Советская жизнь так страшна, что воспоминания волей-неволей пишутся пунктиром; одни лица остаются неназванными, другие — неупомнутыми, и вместо людей по страницам движутся абстрактные, обескровленные силуэты. Может быть, называть имя Стеллы и не надо было. Это избавило бы меня от необходимости еще раз перебирать наше горькое прошлое, а ее близким не пришлось бы с гневом и недоверием познакомиться с моим рассказом. Те же, кто были свидетелями нашего ареста или очень давно слышали обо всем от меня, от моих однодельцев

* Д. Штурман. "Тетрадь На столе" "Время и мы", №№ 52—53.

и от других людей, узнали бы Стеллу и под псевдонимом. "Но тогда ни они, ни я ничего не услышали бы о взрослой Стелле — вот в чем парадокс. И ее близкие не смогли бы оспорить устоявшееся в нашем кругу представление о ней и о ее роли в той давней истории. И остался бы искаженным ее образ в нашем сознании.

Мой друг, получивший два десятилетних срока /один из них — лагерный/ по доносам приятелей, спросил меня после опубликования моей статьи "Стукачи и гонг справедливости":

— Не станете же вы призывать жертву предательства к непротивлению злу насилием? Можете ли вы отрицать, что в исключительных обстоятельствах, когда нет места правовой процедуре следствия и суда, жертвы имеют право на прямую самозащиту действием?

— Нет, — ответила я. — У меня не хватает великодушия на непротивление злу насилием. Но "рубиловка" не есть прямая самозащита действием. Это такая же бессудная, безнаказанная расправа с безгласными жертвами, как и произвол ГБ.

— Вам, — сказал мой друг, — мешает правильно оценить ситуацию эффект присутствия при расправе, эффект слишком крупного плана. Отстранитесь, перестаньте входить в судьбу каждого "стукача", и вы поймете, что иногда невозможно защититься иначе, как чем-то вроде "рубиловки".

И добавил:

— Страшно другое: отсутствие в интонации автора ужаса перед происходящим, торжество отмщения, которое звучит в его голосе. Ему "жутковато", но "весело" — вот в чем беда...

Прошло несколько месяцев. Мой друг прочитал "Тетрадь на столе" и вскоре услышал историю Стеллы от Н. М. Улановской.

— Вы ее амнистировали, — сказал он мне, — а ее следует, по убеждению тех, кто знает ее лучше, чем вы, реабилитировать, как реабилитирован вами Досталь. Она не могла быть доносителем, даже невольным.

Тогда потрясение помешало мне ответить. Теперь я могу задать ему встречный вопрос:

— Значит, предполагаемая вина человека должна рассматриваться еще более крупным планом, чем это попробовала сделать я? Значит, "эффект присутствия" необходим и тогда, когда речь идет не о ноже, а всего лишь об имени?

Воспоминания — опасный жанр. Нельзя рассказать о факте, не толкуя его по-своему, а истолкование — это уже суд. Хуже того: рассказ о фактах есть по существу своему не просто рассказ о фактах, но повествование об авторском восприятии некоей связи событий, судеб и лиц. Но ведь только верность этому восприятию и образует из воспоминаний особый литературный жанр, не тождественный ни рассказу, ни хронике.

Проникновение автора в действия, совершенные не им, всегда сохраняет вероятность ошибки и в какой-то степени является его версией. Вопросы о том, называть или не называть имя в случаях, подобных рассказанному, никто никогда не решит "раз навсегда", за себя и за всех. Ни в одном случае ответственность не может быть снята с плеч пишущего и возложена на некое спасительно-общее правило. Я эту ответственность принимаю — постольку, поскольку рассказ мой выходит за пределы нескольких личных судеб, о которых идет в нем речь.

Стоя перед лицом опасности и сохраняя при этом малейшую возможность выбора, все мы поступаем так, как нам легче бывает поступить. Неправая власть, обрушивая на человека всю свою мощь, сужает стоящий перед ним выбор до альтернативы "подчинение или несчастье". Смысл понятия "несчастье" варьируется от нервотрепки и денежного ущерба до "полной гибели всерьез" /Б. Пастернак/. Я не представляю себе среди нас, бывших советских и нынешних советских людей, человека, которого ни разу в жизни не испугала и не остановила опасность, встающая за неподчинением власти. Разница между нами в том, что для каждого границы допустимого подчинения и смысл понятия "несчастье" различны. Г. Померанц блестяще "градуировал" эти различия в своем известном рассуждении о разных группах интеллигенции. Прекрасно, если эти границы с младенчества присущи личности, никогда ею не преступаются и при этом сопряжены

с высокой нравственностью. Но чаще всего каждый из нас постепенно вырабатывает для себя эти границы, совершая шаги, которые потом сам же и воспринимает как правильные или ошибочные, спасительные или роковые. А бывает и так: ситуация, которой боялся сдавшийся, возникает, несмотря на его уступки. И она оказывается менее страшной, чем нравственные терзания, испытанные при сдаче. И человек отказывается изменять себе, если есть чему в себе изменять...

Мне история Стеллы в первой своей части велит судить осторожно, видеть за сдавшимся давящую на него силу, а во второй — запрещает распространять один человеческий Поступок на целую Жизнь — Момент на Процесс. Поступок может быть преодолен в Процессе. Разумеется, мы никогда не получим и здесь всеобъемлющих, годных для всей массы случаев "абсолютных" решений типа "верить-не верить". Среди переживших последнее шестидесятилетие советских поданных нет людей, ни разу в жизни не принужденных к различной тяжести компромиссам с властью. Но, по моему глубокому убеждению, во множестве случаев даже непоправимый поступок не исключает очищения, освобождения от подчиненности страху или преступной идее. Как измерить истинность-искренность такой эволюции? Вряд ли возможно общее руководство к решению подобных задач. В отличие от солдата, стреляющего по городу, где есть и виноватые, и безвинные, — пишущий никем не может быть освобожден от тяжелой задачи истолкования отдельных судеб. Именно по этой причине верность автору своему представлению о событиях — условие, вне которого его работа безнравственна.



ИВАН БУНИН ВО ФРАНЦИИ

Вместо предисловия

Дневник Якова Борисовича Полонского /1892—1951/ — классный по своему значению исторический документ. Юрист по образованию, опытный журналист /с 1915 года/, многолетний сотрудник газеты "Последние Новости" с самого ее рождения в 1920 году, Я. Полонский вел регулярные записи в течение почти четверти века, с 1928-го по 1951-й. Круг его знакомых среди русских эмигрантов в Париже и за его пределами очень широк: журналисты, писатели, университетские профессора — авторы "Последних Новостей". Впрочем, среди собеседников Я. Полонского преобладали деятели левого крыла эмиграции — либералы, демократы, антифашисты, борборники "прав человека", которые были, как правило, индифферентны к религии, чуждались церкви и утверждали независимость свободного духа. Несмотря на толерантность автора и его добрый юмор, дневник пронизан высокими гражданскими чувствами: отвращением к расизму любого вида, и не только к нацистам, оккупантам Франции, но и тем русским, которые с ними вступали в сотрудничество или даже выра-

жали им сочувствие. В то же время дневник дышит привязанностью к России, — стране, с которой Я. Полонского связывали язык, культура, идеалы, воспоминания детства и юности.

Среди бесчисленных персонажей, появляющихся на страницах дневника, видное место занимает Иван Бунин. Он был близким другом семьи Полонских, постоянно посещал их дом и здесь не скрывал своих настроений и размышлений. Я. Полонский понимал масштаб Бунина и его значение для русской культуры; разговоры с Буниным и о Буине он тщательно записывал. Это было для него тем более естественно, что взгляды Бунина в значительной мере совпадали с его взглядами. Бунин виден с разных сторон: как веселый и злой, ядовитый или кокетливый собеседник, как патриот России, который — при всей своей неприязни к большевизму — с волнением и сочувствием следит за действиями Советской Армии. В разговорах Бунина отчетливо выступает его отношение к писателям — классикам /Пушкин, Достоевский, Толстой/ и современникам /Мережковский, Ремизов, Набоков, Алданов, Зайцев, Куприн, Гиппиус, Шмелев/. Записанные Полонским слухи, сплетни, склоки вокруг бунинской Нобелевской премии и разных других событий тоже представляют интерес: все это позволяет ощутить реальную атмосферу, которой дышал Иван Бунин. К тому же самый жанр дневника обладает особой документальной ценностью; в мемуары, как известно, непременно проникает элемент вымысла, — это произвольное сочинительство вызывается свойством памяти, которая нередко не отличает увиденного и пережитого от услышанного. В дневнике подобные aberrации исключены. Запись события или разговора по горячим следам всегда убедительна.

Мы знакомим читателей журнала "Время и мы" с теми записями из дневника Я. Б. Полонского, которые относятся к И. Бунину. Надеемся, что в ближайшем будущем удастся опубликовать целиком замечательную книгу, которую в течение почти всей своей эмигрантской жизни писал Я. Б. Полонский.

Ефим ЭТКИНД

КОММЕНТАРИИ К ДНЕВНИКУ Я. Б. ПОЛОНСКОГО

Чтобы не перегружать публикацию, мы комментируем лишь те наиболее часто встречаемые имена и понятия, без которых текст либо непонятен, либо теряет важные элементы смысла.

Зайцев Борис Константинович /1881—1972/ — прозаик, эмигрант с 1922 года, с 1924 года жил в Париже, где опубликовал автобиографическую трилогию и ряд романов.

Цвибак Яков Моисеевич /литературный псевдоним — Андрей Седых/ — главный редактор газеты "Новое Русское Слово" /Нью-Йорк/.

Макс — здесь и ниже известный прозаик, автор исторических романов Марк Александрович Алданов /настоящая фамилия Ландау, 1883-1957/.

Грасс — небольшой город на юге Франции, департамент Морские Альпы /близ Ниццы/, где жил Бунин.

Люба — Любовь Александровна Полонская, жена автора дневника, сестра М. Алданова.

Вера Николаевна — Муромцева, жена Бунина.

Аминадо — дон Аминадо /Аминад Петрович Шполянский, 1888 — 1957/, писатель-сатирик.

Шмелев Иван Сергеевич /1873-1950/ — писатель, прославившийся до революции повестью "Человек из ресторана" /1911/; жил в эмиграции с 1922 года, с 1923 года — в Париже.

Лев Шестов /1866-1938/ — философ-экзистенциалист, литературный критик; с 1920 года жил в эмиграции /Париж/.

...циммервальдцем — т. е. участником международной социалистической конференции интернационалистов в дер. Циммервальд, Швейцария, 5—8 сентября 1915 года.

Сирин — псевдоним писателя Владимира Набокова /1899—1978/.

Слоним Марк Львович — /1894—1977/ — критик, автор книг по истории русской и советской литературы.

Фефа, Никита — сыновья писателя Алексея Николаевича Толстого /1882-1945/.

Кульман Николай Карлович /1871—1940/ — профессор, историк литературы.

Замятин Евгений Иванович /1884-1937/, прозаик, приехал на Запад в 1932 году.

Мандельштам Юрий Владимирович /1908-1943/ — поэт, погиб в нацистском концлагере.

Наживин Иван Федорович /1874—1940/ — писатель.

Берберова Нина Николаевна /род. в 1901 г./ — писательница, литературный критик, была женой поэта Владислава Ходасевича /1886-1939/.

Адамович Георгий Викторович /1894—1972/ — поэт и литературный критик; в эмиграции в Париже с 1923 года.

Гукасов Абрам Осипович /1872—.../ — финансист, издатель монархической газеты "Возрождение".

Ляля — сын автора, Александр Яковлевич Полонский.

Демидов И. П. /1873—.../ — б. член Государственной Думы и земский деятель, сотрудник "Последних Новостей" с 1921 года, а с 1924-го — помощник редактора.

Прокопович Сергей Николаевич /1871—1955/ — экономист и публицист, министр Временного правительства; **Кускова** Екатерина Дмитриевна — его жена и сотрудница.

Анри Бергсон /1859—1941/ — французский философ. Бунин имеет в виду, что разбитый параличом Бергсон умер, оставив завещание, где писал: несмотря на то, что размышления его приблизили к католицизму, он считал бы бесчестным перейти в другую веру и таким образом отказаться от солидарности со своими единоплеменниками-евреями, подвергающимися преследованиям.

ДНЕВНИК Я. Б. ПОЛОНСКОГО

Ноябрь 1933 г., Париж

Бунину присуждена Нобелевская премия. В редакции "Последних Новостей" много разговору было о свойственном Бунину генеральском тоне и о внезапном восторге новоявленных друзей и почитателей Бунина. Шальев составил, что на вокзале Бунина будет встречать хор Афонского. На чей-то вопрос, где он остановится в Париже, Ш. сказал: — Ну, конечно, в Пантеоне.

На вокзале Бунина встречали от русской литературы Цетлин и Реря /Осоргина/. Кроме того, Цвибак, Зайцевы, Макс, Федоров и Л. Львов. Потом все /кроме Федорова и Львова/ поехали за Буниным в "Мажестик". Удивление швейцара при виде этой группы дурно одетых людей. Не дали Бунину привести себя в порядок, поднялись за ним в гостиницу, в номер, и оттуда — завтракать к Корнилову. Когда окончили, Корнилов /поддал счете надписью "payé".*

* Оплачено /франц./.

Масса обид: в "Последних Новостях" заметки из Грасса, что Бунину особенно приятны телеграфные приветствия таких-то. Все неперечисленные обиделись. Я рад, что мы не послали телеграммы, Люба послала письмо Вере Николаевне от себя и меня. Все судачат, с кем Бунин поедет в Стокгольм, с Кузнецовой или Верой Николаевной. Керенский был в воскресенье у Мережковских. Шла речь о Бунине. Керенский сказал, что в числе хлопотавших за Бунина был, кажется, и Нобель.

Мережковский:

— Нет, что вы, Нобель очень порядочный человек.

28 ноября 1933

Бунин пригласил на 24/XI нас, Зайцевых и Макса обедать в ресторан "Москва". Хозяин ресторана написал, что просит оказать ему честь отобедать с друзьями, т. е. безвозмездно. Приехали, ждали час. Бунина нет. Макс звонил в "Мажестик". Бунин ушел. Чтобы покончить с неловким положением — сказали, что будем обедать, как "обыкновенные посетители", т. е. платить. Заказали обед. Макс еще раз позвонил Бунину. Оказался дома. Извинялся, простужен. Просил Цвибака предупредить об отмене, но тот, вероятно, забыл. До этого Макс звонил к Аминаду, думая, что и он приглашен, но Аминадо очень обижен, сказал — "мы, по-видимому, знакомые второго разряда". Вчера к нам заходила приехавшая Вера Николаевна. Извинялась за Ивана Алексеевича. В связи с обидами на И. А. всех тех, кто суетится и навязывается ему — В. Н. сказала, что им нечего обижаться, т. к. И. А. не просил их, чтобы они о нем заботились. Даже о Зайцевых она сказала, что они все время "толкуются у них" /или "вертятся"/. Мы с ней пошли в "Мюрат" и позвали Макса. Им известно, что сказал Мережковский о Нобеле. К Мережковскому И. А. не хочет ехать с визитом, считая, что он виноват в тех заметках /газетных/ о дележе Нобелевской премии, которые были в Daily Mail и Nouvelles Litteraires.

Рассказывала подробности, как в Грассе получили сообщение о премии. Она была дома, не могла выйти, т. к. единственная пара туфель была в починке.

Вчера днем мы были на новосельи у Ремизовых /7, rue Voileau/. Он единственный не послал поздравления Бунину. Это Бунин отметил, как только приехал из Грасса. На чествование 26/XI он тоже не пошел /как, впрочем, и Бальмонт, Мережковский, Гиппиус, Шмелев/. Макс говорил со слов Бунина, что И. А. все-таки намерен при раздаче уделить немного и Ремизову. Люба сказала Ремизову, что следовало бы просто как товарища по профессии поздравить. Он стал Любу упрашивать составить для него текст письма, а потом переписал в точности, дал еще раз Любе проверить, нет ли ошибок. Текст такой:

"Многоуважаемый Иван Алексеевич, и то, что я вчера не пришел на Ваше чествование, и то, что не послал Вам в свое время поздравления, не должно быть принято Вами за какую-либо демонстрацию с моей стороны. Первое объясняется свойственной мне боязнью людей, второе — нежеланием навязываться. Теперь же перед Вашим отъездом в Стокгольм разрешите мне поздравить Вас и порадоваться вместе с Вами за русскую литературу".

Ремизов слышал от Мережковских такое объяснение присуждения Нобелевской премии: Бунин получил /а не Мережковский/, п. ч. на этом настаивали... большевики. Так как-де было решено дать Мережковскому, то они настояли на замене одного эмигранта другим. Мережковский как противник для них более серьезен, чем Бунин.

Чествование 26/XI не удалось. Полупустой зал. Ночью накануне Вишняк и Руднев разъезжали по Союзам и раздавали бесплатно билеты в партер, чтобы было меньше пустых мест, и то не наполнили зал. А ведь устраивалось это в пользу "Современных Записок".

Любе, действительно, удалось "примирить" Бунина и Ремизова. Бунин был на заседании Союза журналистов и показывал всем письмо Ремизова: — Вот, прислал, наконец, письмо.

9 декабря 1933

Вчера вечером мы были у Ремизовых.

Сидели поздно, очень интересно было, говорили о Малороссии, о Гоголе, о Бунине. Ремизов приводил очень хорошие примеры отсутствия ритмичности языка у большинства писателей русских. Из рукописи прочитал удивительно неблагозвучный пример из "Жизни Арсеньева" Бунина /привожу не точно, по памяти/: "...намалеванная девица, городская фельдшерица, говорила, что любила, потому и стала пить..."

Ремизов дружен с Шестовым. Тот жаловался, что его куда не зовут: на чествование Бунина, на Тургеневский вечер. "Современные Записки" просто заявили /Вишняк/, что не могут больше его печатать, так как его статьи читатели даже не разрезают /как-будто Шестов рассчитан на рядового читателя/.

5 января 1934, Париж

Днем Бунин видел Зайцевых и Макса, от них узнал, что они будут у нас, и в 11 часов вечера явился с В. Н., очень остроумно рассказывал о Стокгольме, о короле, о Цвибаке. /Под конец в 1 час ночи остались только Макс с Таней, Зайцевы и Бунины/. Разошлись в 2 часа ночи.

Об остальных трех лауреатах: — Да это просто сукины дети! Один, как получил из рук короля чек/сертификат/, тут же стал читать, не надули ли.

Рассказал, как к нему в "Мажестик" по срочному делу пришел один русский. От швейцара звонок в номер к И. А. — хочет только лично говорить. Подходит И. А. В чем дело?

— Вы получили Нобелевскую премию и должны сделать национальное дело — купить у меня топор Петра Великого. Можно в рассрочку. Первый взнос /кажется/— 5 000 франков.

2 февраля 1934

Были у нас Ремизовы к обеду. Алексей Михайлович рассказал, что во время войны /1914/ он был циммервальдцем. Распределили, наконец, бунинские деньги писателям и журналистам. Вышло очень неважно. Бунин пожертвовал всего

35 000. Из них 10 000 Союзу журналистов /хотя в свое время получил ссуд на большую сумму/. А остальные поручил распределить /.../ Кульману, Ельяшевичу /ну, этот не идиот/ и Фундаминскому. Их роль лакейская: с одной стороны /офиц./ он как будто настолько верит в их мудрость, что предоставляет распределить эти деньги, а с другой — фактически все сам исправил и переставил их список. Так, он вычеркнул Ремизова, по-видимому, узнал о статье Ремизова в последней книге "Чисел" /кстати, Ремизов не отрицает, что имел в виду Бунина: "описания природы" и т. д./ и Сирина /"немецкий модерн"/. На вопросы же Макса смущенно ответил, что "Комитет" вычеркнул.

Дали: Зайцеву — 3 000 + 2 000 лично Бунин

Шмелеву - 3 000

Куприну — 5 000

Карташову

Тэффи - 2 000

Цветаевой - 1 000 /?/

Городецкой — 1 000 /?/

Даманской — 500

Амфитеатрову — 2 000 /?/

Вышло очень неловко для нас. За недели две до этого пришел к нам В. В. Руднев и до него Макс и сказали, что Ремизов внесен в списки "Комитета" и ему назначены 3 000 фр. Мы сейчас же написали Ремизову. На этом они строили массу расчетов /кварт. плата не внесена!/. И вдруг теперь отказ!

27 апреля 1934

Заходила днем С. П. Ремизова, приглашала прийти к ним вечером сегодня, — будут Замятины. Застали Замятиных, Мандельштама /Юрия/ и русского англичанина, переводчика, не помню его фамилии. Он недавно со Слонимом книгу на английском языке о советских писателях выпустил.

Евгений Иванович Замятин главным образом отвечал на мои вопросы. Рассказал об Алексее Толстом, что Фефа — инженер, Никита — студент. Что в самом начале Толстого сторонились из безразличности.

— Что же, он, вероятно, со всеми на "ты"?

— Да, конечно. Но чересчур переборщил. Отвратно.

Замятин — профессор /он инженер, но у большевиков стал профессором/ корабельной архитектуры в Политехническом институте. Говорит, что в общем уровень знаний удовлетворительный. Конечно, предъявляют пониженные требования на экзаменах, но как быть требовательным, когда знаешь, что студенты работают, из сил выбиваются, но часто не могут достать учебников, комнаты и т. д.

— Однажды, в перерыве между лекциями, сижу и читаю газету — говорит Замятин. — Подходит студент, заглядывает в газету и спрашивает: — А скажите, правда, что до Революции можно было выйти на улицу и купить газету любого направления?

— Да!

— Но как же, значит, об одном и том же факте в разных газетах писали по-разному? К чему? /"ведь истина одна"/.

Так и не понял, искренно был удивлен.

Люба спросила его — неужели в России читают теперешнюю советскую литературу? Замятин ответил, что не читают, читают старых писателей.

Я спрашиваю, знают ли об эмигрантах и что именно?

— Молодое поколение не знает и не интересуется. Слышали, что какая-то сволочь живет за границей. И у старого поколения постепенно ослабевает интерес.

Я: — Можете ли Вы вспомнить, какое впечатление на Вас произвела первая эмигрантская книга, увиденная в СССР, напр. "Современные Записки"? Впечатление курьеза?

— Литературная часть не произвела впечатления курьеза. Интерес к тому, что пишет такой писатель, как Бунин, есть. Им интересуются даже молодые. К Мережковскому значительно меньше интереса. А о новых писателях, в России не писавших, никто не имеет понятия, даже в литературном кругу...

5 декабря 1935, Париж

Приходила Вера Николаевна Бунина. Советовалась с Любой, как рассказывать на банкете Мережковского. Дело в том,

что Б.К. Зайцев обиделся, что его хотят далеко посадить и сказал, что не придет.

6 декабря 1935

Были мы у Зайцевых. Была там и В. Н. Бунина. Ругали Ходасевича, т. к. читал стихи Цветаевой.

13 января 1936

...Милюков рассказывал, что когда Бунин по приглашению эмигрантской организации собирался ехать в Прагу, то из Мин. Ин. Дел дали понять, что его приезд нежелателен теперь, после недавнего официального визита в Прагу делегации советских писателей; что вследствие гостеприимности чехов неизбежно будет его чествование и чешскими общественными организациями. Бунин сказал Милюкову: — Что же это, Павел Николаевич, мне, Нобелевскому лауреату, не дают визы в Чехословакию, а Вам, оказывается, можно туда ехать.

М и л ю к о в : Я еду как простой смертный и меня никто не собирается чествовать...

На другой день после кадетского собрания, т. е. в субботу 18/I, мы были после синема в кафе "Мюрат", сидели там с Буниным и Максом. Бунин говорил о только что вышедшей книге Наживина "Неглубокоуважаемые"; Бунин в первые годы эмиграции /1920/ устроил Наживину, находившемуся в Чехословакии, издание его книги в изд-ве "Русские Писатели" /Земгора/ в Париже. Когда Т. И. Полнер, завед. издательством, как-то запоздал с присылкой корректуры, Наживин написал Бунину, что если ему попадется этот подлый старик, то он его "палкой по голове отдубасит". После этого, когда Наживин приехал в Париж и на каком-то вечере подошел к Бунину, то И. А. демонстративно заложил руку за спину и отказался здороваться.

Август 1936

Берберова напечатала по поводу кончины М. Горького воспоминания о своих с ним встречах /т. е. о том периоде, когда Ходасевич и она жили /.../ у Горького, т. к. Ходасевич

чу еще невыгодно было перейти на эмигрантское положение/. Чтобы подлизаться к Бунину, она прибегла к самой беззастенчивой лжи: рассказывает, как в 1922 году Горький был взволнован от зависти к Бунину за его "Митину любовь", между тем, как "Митина любовь" появилась в печати в "Современных Записках"... в 1925 году! /я это проверил/.

28 сентября 1936

Передаю со слов Макса: 26 сент. вечером Бунин, Цетлин и Макс условились встретиться в кафе. Пришли в кафе "Вебер" /рю Руаяль/, через некоторое время подходит гарсон:

— Вы г-н Бунин?

— Да.

Передает записку: подпись Алексея Толстого; сообщает, что сидит в этом же кафе, будет рад, если Бунин присоединится. Бунин показал записку и сказал, что идет. Макс стал его отговаривать:

— Что вы делаете, Иван Алексеевич? Не надо, как же вы будете писать потом "Окаянные дни", и т.д. Бунин, не обращая внимания, уходит. Цетлин делает движение, чтобы тоже пойти за Буниным. Но Макс его почти насильно удерживает угрозой: "Как будет реагировать Мария Самойловна /жена Ц./". Цетлин остается. Через несколько минут возвращается Бунин... за своим пальто /там, где он сидит, холодно/. Снова попытка Макса его удержать, но Б. возвращается к Толстому. Там сидят А. Толстой со своей новой женой, А. Я. Гальперн с женой /Саломеей Андронниковой/. Забыл сказать, что когда Бунин направился к столику Толстого, то Толстой со своей стороны пошел ему навстречу и они расцеловались. Бунин сидел за столиком Толстого до тех пор, пока Толстой и Гальперн не ушли. Гальперн подошел /до ухода/ к Макс и Цетлину и предложил им присоединиться. Макс, не зная, что Гальперн с Толстым, — спросил: "А Вы здесь с Саломеей Николаевной?" — "Да, мы и Толстые". Тогда Макс заявил: " — Нет, мы лучше здесь посидим". Когда Толстой и Гальперн ушли, Бунин вернулся. Рассказал, что Толстой ему говорил,

что "у нас молодые писатели учатся писать по Бунину", получил знаменитую бунинскую открытку — несколько лет тому назад, когда вышел "Петр I", Бунин пришел в восторг и послал Толстому в Ленинград открытку без подписи — "по почерку все равно узнают": хоть ты и сукин сын, дальше — матерная брань, но роман твой очень мне понравился /что-то в этом роде/ — "только Наташу Крандиевскую /бывшую жену Толстого/ огорчила матерщина". Толстой на другой день уезжал в Лондон и спросил Бунина, может ли он по возвращении позвонить ему. Бунин, конечно, ответил утвердительно.

Конечно, вся эмигрантская компания не одобряет Бунина, а Макс ходит героем. Макс ставит в вину только одно /Вишняк и даже Зензинов/, что он, отказавшись /хотя его Толстой не просил идти с Буниным к столику/, сказал: Что ж, если он подойдет, я ему руки не подам.

28 ноября 1936

Вчера у нас обедали И. А. и В. Н. Бунины, Г. В. Адамович, Уманская, Л. Зуров. Пришли за полчаса до обеда. Люба, конечно, завела разговор об Андре Жиде в связи с его книгой "Retour de l'URSS"* — Адамович выступил с публичным докладом, где назвал Жида высокоморальным писателем. Утверждая, что он аморальный писатель, И. А. Бунин очень горячо поддержал Любу против Адамовича:

— Ну, какой же вы критик, вы ведь ничего не понимаете!.. — Но сказал это очаровательно, как все, что он говорит. Затем И. А. рассказал в лицах о своей встрече с А.Н. Толстым. О том, как они расцеловались, как сел к их столику, как познакомили И. А. с новой женой, — а дальше сцена в лицах, как Толстой предлагает с разгону восторженно выпить виски, но ледяной голос жены /нет, тебе нельзя/ на него действует, как ушат холодной воды.

По словам Бунина, Толстой и сам не захотел подойти к столику Макса и Цетлина.

По возвращении из Лондона, Толстой, однако, Бунину не позвонил. А на днях в "Литературной Газете" появилось описание этой встречи в кафе.

* Возвращение из СССР.

На любин вопрос, жалеет ли он, что подошел к Толстому, Бунин: — Нисколько, очень рад был.

Очень весело рассказывал о том, как в Лондоне в Пенклубе познакомился с Джером К. Джеромом, незадолго до кончины последнего. После обеда пришли Ладинские, Унбегауны, Макс с Таней и Вера Хаскель. В 12 часов Бунин с Ладинским уехали на бал врачей, а в 2½ часа ночи Бунин стал звать Ладинского на Монпарнас. Там, в "Куполь" они до 5 часов вдвоем просидели и пили водку.

О злосчастной поездке Бунина в Германию: он все говорил /когда я его в последний раз до его поездки видел у Цетлиных/, что здесь /во Франции/ все плохо кончится /социалисты у власти/ и что он хочет высмотреть, где в Европе загодя следовало бы поселиться. В Германии или Италии. И вот его попытка бегства из "социалистической Франции" в "настоящую страну, где порядок" окончилась обыском и унижением на немецкой границе со стороны гитлеровских охранников. То, чего в газетах не было: молодая красивая женщина, которая его допрашивала, все добивалась у него, ночевал ли он с женщиной и с каким...

А здесь уже кто-то пустил слух, что ему клизму поставили, чтобы узнать, не проглотил ли он какие-нибудь документы, его компрометирующие.

30 ноября — 15 декабря 1936

Бунину нужно по своим делам /у него деньги в Лондоне/ в Англию, но языка он не знает и потому решил воспользоваться тем, что Вера Хаскель возвращается в Лондон, чтобы с ней поехать; так как Вера крайне бережлива и расчетлива, то она едет всегда 3-м классом железной дороги. Хотя Бунин ее уговаривал поехать 2-м классом, она не согласилась, и ему пришлось /о ужас!/ ехать 3-м классом. Теперь пришло от Веры письмо. В вагон он взял с собой литр арманьяка, тотчас же выпил до дна, пошел в вагон-ресторан, где выпил пять стаканов виски без воды и опьянел. Там была какая-то компания, русские, которые подсели к нему, познакомились, восторги,

комплименты, а потом оказалось, что они его приняли за... Шмелева. Он их за это обозвал сволочью и канальями /Шмелева он терпеть не может: когда у нас недавно обедал, то /после обеда/ зашел Зеелер /поклонник Шмелева/, упомянул его имя, а Бунин с презрительной усмешкой: — Ну какой же он писатель, раз в жизни зашел в трактир, где орган играет, и написал "Человек из ресторана", а ресторана никогда не видел, ну и роман соответственный вышел/. /Б. К. Зайцев на днях мне рассказывал, что у Кульмана висит фотография Шмелева в глубокомысленной позе. Бунин подошел, надел пенсне, нарочно долго всматривался в портрет и потом: "Почтенная личность..." Он же прозвал Шмелева "банщиком"/.

Потом он стал рассказывать Вере о своих отношениях с Галиной Кузнецовой. Сказал, что она шесть лет была его любовницей, и Вера Николаевна знала об этом; сказала: лучше, чем он ходил бы к ней в меблированную квартиру, пусть она /Галина/ у них поселится. А потом Галина поехала гостить к Степунам в Дрезден, там сестра Степуна, Марго, увидела ее обнаженной у доктора и влюбилась в нее. Началась любовная переписка; он перехватил одно письмо, где Марго писала: "Целую каждую складку твоего тела". Кончилось тем, что Галина уехала в Германию окончательно, оставила Бунина и поселилась с Марго. Они лесбиянки. Живут в последней нищете, ужасно одеты, едят один раз в день. Бунин теперь /в эту поездку/ заезжал туда, повел Галину в ресторан, так она не знала, как держать себя в ресторане, отвыкла, а раньше ничего для нее не было слишком дорогого. Он ей оставил немного денег. На вопрос Веры — если бы Галина вернулась — принял ли бы он ее, Бунин ответил — нет, теперь уж он не хочет. Но это, конечно, слова, он ведь с ее ухода места себе не находит, никогда вечером дома не сидит, все чего-то ищет, беспокоен, бегают повсюду, где есть молодые женщины.

3 июня 1937, Париж

Вчера у Макса в присутствии Тэффи и артистов /Хмары, Петрункина, Бартенева и Кедровой/ Бунин сказал: — Конечно, написать, как Алданов и Тэффи, "Линию Брунгильды" или

"Момент судьбы" можно, ну а написать, как Шекспир, нельзя. Поэтому я и не пишу пьес.

М а к с: Но вот Толстой писал же пьесы.

Б у н и н: Вы знаете мое почитание Толстого, но пьесы его плохие. Еще "Власть тьмы" лучше других, но и там конец мне не нравится.

Л ю б а: Вы, Иван Алексеевич, от большого ума пьесы никогда не напишете.

Б у н и н: Вот умница, я всегда говорил, что вы умница: хорошей пьесы написать не могу, а плохую не хочу. Чехов говорил, что раньше, чем что-нибудь написать, надо две недели обдумывать.

Л ю б а: Ну, знаете, Чехов почти все, что ни писал, это было вроде: "Волга впадает в Каспийское море".

Б у н и н: Вот я всегда говорил, что вы ума острого и опасного.

М а к с: Вот через 50 лет Кедрова /самая молодая/ расскажет, что в доме Алданова разговаривала с Буниным.

Б у н и н: А ее спросят — а кто это такие?

10 января 1938, Париж

Вчера были у нас: И. А. Бунин, М. О. и М. С. Цетлины, Элькины, Лунцы, Левашкевич, Тумаевы, Т. И. Николаевский /Цетлины предварительно позвонили и спросили разрешения привести с собой Павловских, издателей "Русских Записок"/, и Макс с Таней.

Люба говорит Бунину после чая: — Ну, а теперь, Иван Алексеевич, распорядитесь расстановкой карточного стола намека на Бергов из "Войны и мира"/.

Бунин сейчас же в тон:

— Да, милая, потому что я генерал! /Его шутя называют иногда генералом, в особенности после Нобелевской премии./ Опять-таки намека на Бергов. Говорили о "Русских Записках" под редакцией Милюкова. Я сказал, что двенадцать книг в год /как хочет Павел Николаевич/, почти невозможно выпустить в эмиграции /то есть одинакового качественного уровня/.

14 марта 1938

Были вчера в Русском Театре на пьесе Сирина "Событие" — полный до отказа зал... Бунин, говорят, громко ругался во втором и третьем актах. При выходе из театра Милюков сказал Бунину: — Что же, Иван Алексеевич, двух мнений не может быть? — О, нет, Павел Николаевич, тут двух мнений не может быть /намек на политическую разницу в убеждениях/.

6 февраля 1940, Париж

Были вчера днем у Макса. Был приехавший из Грасса Бунин, Зайцевы, Цетлины. Бунин, как всегда, обаятелен, рассказывает, как на него кричат в полиции, когда он является за *sauf conduit**, и как он пугается и вытягивается.

Говорили о храбрости и страхе. Бунин того мнения, что храбрости не существует. Про себя Бунин говорит: сознаюсь, я трус — не хочу умирать. О страхе: Бунин вспоминает как страшно, когда бьют русские крестьяне. Мальчиком ехал верхом на старой смирной лошади с ярмарки. По дороге подгулявшие пьяные мужики возвращаются тоже с ярмарки, посмеиваются: "Барчук, верхом едешь, так до вечера не доедешь". Он замахнулся, в руке арапник. Соскочили, угрожающе подошли к седлу, того и гляди расседлают. Протянул арапником по голове одного. Другой размахнулся и всадил такой удар, что упал с лошади на землю. Выхватил кинжал, который был при нем. Спасаю. Очень страшно было, но это /избиение крестьянами/ бывает еще страшнее. Когда бьют подкованными сапогами по лицу, в глаза, звереют. Страшный русский мужик.

Другой случай: меня запрятали в нужник от угрозы убить. Опять Люба заставила рассказать: ехал в поезде молодым писателем, ночью встал, чтобы выйти в коридор, с верхней полки раздаётся: "Двери закрой, скотина!" Смотрит — сапоги со шпорами. Приостановился и запустил в него трехэтажным матом. Офицер вскочил: "Я капитан Кронштадтско-

* Пропуск /франц./.

го батальона /или полка/ Поповский. Вы дворянин? Требую дуэли". Бунин соглашается. В это время на шум приходит из соседнего отделения доктор Долгополов, отец /или брат/ парижского, с которым Бунин ехал, и говорит: "Что же это вы выдумали /офицеру/, хотите вторым Дантесом быть?" Офицер требует дуэли, как только утром приедут на большую станцию. Тогда, при приближении к первой утренней станции, Долгополов втиснул Бунина в уборную /в "нужник", как говорит Бунин/, закрыл и приказал не выходить, пока поезд не тронется. Офицер бежит по перрону, по вагонам, ищет Бунина, тот слышит это в "нужнике", хочет открыть уборную, но она заперта снаружи.

Бунин рассказывает, что на днях Гукасов подсылал к нему знакомого. "Чего ему надо, Бунину, я ему дам столько, сколько хочет, зачем ему сидеть в "Новостях", пусть переходит в "Возрождение". Бунин говорит: "Зачем я буду грубо поступать с "Последними Новостями"? Столько лет ко мне прилично относятся, а я вдруг чего-то заявлю, что перехожу, зачем? Нет уж, не надо!" То же он ответил и "Младоросской Бодрости". Про Сирина, который забежал в это время случайно на полчаса, сказал, отвечая Любе: — Нельзя отрицать его таланта, но все, что он пишет, это впустую, так что я читать его перестал. Не могу, внутренняя пустота.

Как всегда смеялся /зло/ над Шмелевым. Вот человек, которого он по-настоящему не любит.

8 декабря 1940

Вчера в 5 часов были у доктора Абельмана /вернее, у его дочери Элькан/. Были, кроме нас: Г. В. Адамович, др. А. В. Финников, Е. А. Каннегиссер, М. Лизель. Адамович собирается устроить литературный вечер с участием Бунина, Зурова и Бахраха...

22 мая 1941, Ницца

Вчера у нас был И. А. Бунин. Говорит, что если немцы победят — уедет из Европы, что у него горло спирает при виде

немцев и при мысли о них, что по этой же причине он не возвращается на свою парижскую зимнюю квартиру. Ему выслана из Вашингтона emergency visa*. Считает, что надо быть готовым и иметь в запасе американскую визу. Жалуется на недоедание, обходит с мешком в компании с Бахрахом все лавки в Грассе. "А Зуров?" — спрашиваю я. — Зуров /неподражаемая улыбка Ивана Алексеевича/ — на положении больного.

Обращаясь к Любе. — Ну, вот вы ведь очень умны, скажите — ну, кому я нужен в Америке? Кому нужны мои рассказы?..

Стал жаловаться на недостаток средств, из Англии не может получить своих денег. Люба ему говорит: — Иван Алексеевич, но ведь у вас какое-то золото было, которое вы на груди носили, где оно?

— Ну, дорогая, это ведь так мало, так незначительно.

4 июня 1941, Ницца

В 11 ч. пришел приехавший из Грасса Бунин — в белой спортивной каскетке, в худых очень башмаках, стареньких брюках, вообще одежда не "бунинская". Говорит, что одиноко ему в Грассе, скучно. Сюда приезжает менять на черной бирже /в кафе/ английские фунты, которые продать трудно. Попутно рассказал, с присущим ему одному юмором, как он в таком кафе для спекулянтов разговорился с одним огромным, здоровенным седым евреем. Тот рассказывает Бунину, жалуясь на то, что его хотели выслать. "Ну, а за что же вас хотели выслать, простите, не знаю Вашего имени и отчества?"

— Называйте меня просто Борис, — это седого-то старика!..

Много говорили о войне, немцах, французах, советской России. Он слушает советское радио, считает, что они усиленно готовятся к войне и, что меня поразило, впервые не чувствовалось враждебности к советской России. Люба ему говорит: "Неужели вы думаете, что Россия могла бы воевать с Германией, т. е. устоять?" "О, да, там теперь такой патриотизм — мы-де первые в мире, — Гитлер там погибнет, они

* Срочная /"спасательная"/ виза /англ./.

очень сильны стали! Почему только они ждут, чтобы Гитлер на них напал?" Люба ему говорит: "Но и в Финляндии был патриотизм, а не устояли против силы". Он: "Так ведь пропорция совсем другая, не та, что между Россией и Германией".

Об Америке.

Люба: Ну, что же, если даже Гитлер победит, вам чем плохо будет? Вам ничего не угрожает.

Бунин: Ну, дорогая моя, так ведь /рукой сжимает горло/ дышать нечем будет. Ехать в Америку не хочется, но боюсь, что здесь будет голод, а может быть, и чума. Вот советское радио передает, что в Румынии уже форменный голод.

Но в Американском консульстве справляться о том, пришла ли для него виза, не хочет: — Узнаю, что виза есть — надо что-то делать, хлопотать о билетах!..

Ругал французов, потеряли чувство смешного — портреты маршала чуть ли не на всех писсуарах поразвесили. Он говорит, что все время не давал себе падать духом при неудачах англичан, а теперь, после Крита, настроение такое, что даже писать перестал. Очень огорчился смерти Калишевича. Жаловался, что не приходит пособие из Америки.

Про Лялю: Нехорошо только, что он очень бледный, или это такая томная, героическая бледность?

Про Париж: Поверите, когда думаю, что можно будет вернуться в Париж, освобожденный от немцев, — то и это не радует, ведь будем ходить, как в пустыне, ведь в кафе не с кем даже пойти, все уехали.

Люба ему: — Ну, есть еще Борис Константинович, Фундаминский.

— Ну и только, и обчелся.

Дал ему пакет маниоки. Стал прощаться, а Люба ему говорит: "Неудобно, взявши подарок, сейчас же уйти". — "Неудобно, правда, а я все-таки уйду".

4 июля 1941, Ницца

Сейчас получили письмо из Грасса от В. Н. Буниной. У них забрали Зурова и Бахраха, а Ивана Алексеевича обязали не покидать виллу.

6 июля 1941, Ницца

Пришло письмо от В. Н. Буниной. Ивана Алексеевича после переговоров и ссылок на его заслуги и возраст — оставили с обязательством не покидать виллу. Представляю себе, как он ругается. И есть за что.

22 октября 1941, Ницца

В 3 часа пришел И. А. Бунин. Рассказал, что еще в апреле этого года он написал Алексею Толстому в Россию и еще какому-то другу старому в Москву, что хочет вернуться домой. Ответа из-за событий получить не успел. Говорит, что иногда сам удивляется, как изменились его чувства к России и к правительству. Потом речь зашла о загробной жизни в связи с мистически-религиозными настроениями Демидова — я рассказал о давнишней открытке И. Пако мне. Иван Алексеевич даже безразличную гримасу сделал — и думать не могу о том, чего не знаю! А если есть загробная жизнь, значит, и души животных туда переселяются, и блохи. Нет, я понимаю, что Бог занимается земными делами.

Тэффи вернулась в Париж /из Биаррица?/ и поселилась в квартире Бунина на rue Жак Оффенбах.

Мы подарили Бунину лимон. Был весьма обрадован. Потом вскипятили на спиртовке воду и пили из отвратительных "болей"* чай, а Иван Алексеевич еще умудрился пить из жестяной тарелки, которая ему заменяла блюдце.

Четверг 22/1 1942

Ницца

Очень холодно. Днем был у нас Бунин. Читал открытку Ремизова ко мне с описанием смерти Мережковского и завидовал безболезненному концу.

*Bol — чашка типа пиалы /франц./.

Потом зашла речь о режиме в России после победной войны. Сошлись на том, что будет нечто среднее между нынешним и демократическим. Ругательски ругает нынешнего французского шефа*.

— Бессовестный, глупый старик, обжирается, принимает подхалимские делегации. У! Старики, они бывают честолоубивые. К каждому режиму присасываются люди, которые стараются играть на слабых местах его. Здесь почувствовали, что глуп старик и стали его в гении производить, а он к тому же и бессовестным оказался. Не читали, как сапожники маршалу башмаки сшили? Как подробно в газете описано!

И тут же в лицах передает беседу интервьюера с сапожниками:

— А как же вы размер узнали?

— Да мы старые маршаловы башмаки разыскали.

— Каковы же были ваши переживания во время работы?

— Да как же, возвышенные чувства, ведь для самого шефа, и т. д.

Потом зашла речь об Андре Жиде и его влюбленности в Б. которому он подарил свои книги с сентиментальными надписями.

Жаловался на холод, дом у них не отапливается, сидит дома в перчатках. Но все-таки себя Иван Алексеевич любит, и на весь дом только одна печурка отапливается — в комнате Ивана Алексеевича /центр. отопление не действует/. Писать совсем не может.

По поводу участия Александры Львовны Толстой в "Новом Журнале", и того, что Люба сказала, что А. Л. должна быть несимпатичная, Иван Алексеевич сказал:

— Не знаю, познакомился с нею лет 75 тому назад. Сиж у "Посредника", приходит Лев Николаевич, маленький, сутулый, в валенках и полушубке, а с ним три девочки /т. е. Саша, Таня и Маша Толстые/, стали в углу, смотрят на меня и вдруг прыснут со смеху — и так несколько раз. Человек я был молодой, гордый, разозлился, как крикну на них — замолчите вы! А потом много лет спустя, уже, кажется, здесь,

* Маршал Петэн.

за границей, спросил Татьяну Львовну: "Помните, как у "Посредника" вы втроем сидели и смеялись надо мной? Чего это вы на меня так?" — "Конечно, помню, и вы нам тогда очень понравились, а смеялись мы не над вами, а своим мыслям."

Рассказал, что Кускова в письме иронизирует над названием "Новый Журнал", а я ему процитировал фразу Павла Николаевича насчет первого номера... "Окна".

— Язвительный старик! — с удовольствием сказал Иван Алексеевич.

Говорили о фронте, он с улыбкой сказал:

— Что же, неловко сознаться, негуманно ведь, а когда слышу про сыпняк в немецкой армии, не жалко, совсем не жалко.

Люба ему говорит, а вот Яков Борисович, тот совсем не скрывает своей радости, неловко прямо.

— Что же неловко, а ведь действительно до того довели, что понятно.

Поругал добродушно Александру Львовну за то, что ничего не пишет о денежной помощи Толстовского фонда, вспомнил, что Макс ему писал о том, что она занята хлопотами по имению Толстовского фонда. Церковь ведь вздумала там строить! И это дочь Льва Николаевича!

Пятница, 13 февраля 1942

Ницца

Были сегодня у нас Вера Николаевна и Иван Алексеевич Бунины. Очень изменились, страшно похудела В. Н. Приехали к д-ру Розанову — опасаются, что у В. Н. язва желудка. После визита к доктору снова пришли. Со стороны странно выглядели оба: Ив. Ал. с сумкой через плечо, в каскетке, стареньком непромокаемом пальто, в светлой кожи башмаках, с палкой, В. Н. тоже с палкой. Я сказал ему, что вид у них, как в Крыму в 1905 году было модно. Снова говорили о политике, о войне. Ив. Ал. говорит, что иногда, когда приходят вести о сплошных неудачах американцев и англичан на Дальнем Востоке — сердце падает, одолевают мрачные мысли, берет сомнение относительно исхода войны, но, ко-

нечно, понимает, что не может не победить Америка, ведь японец из последних сил борется. Я ему сказал, что приехала Ольга Бакст /жена Андрея Бакста в плену/ из Парижа, привезла новости с русского Монпарнаса Адамовичу, что завтра мы с Адамовичем встречаемся в "Кафе де Франс" в 4 ч. дня. Он страшно загорелся, заинтересовался, даже выразил желание остаться, но, конечно, это сложно было бы.

Понедельник, 23 февраля
1942, Ницца

Приехал Иван Алексеевич из Грасса. Пришел в 2 часа в своей каскетке, с сумкой через плечо. Как-то сразу, как только он сел, разговор зашел о том, что он не верит в загробную жизнь. "Верю, как верил Толстой, в существование Высшей Разумной Силы, но как же я могу верить, что после смерти я снова буду гулять по дорожкам со знакомыми?" На Любину возражение, что иначе и не может думать верующий человек /т. е. не может не верить в загробную жизнь/, Иван Алексеевич говорит: — "Я еще могу допустить, что где-то моя душа будет пребывать, но никак не могу допустить, что буду дальше существовать, как Бунин. Нет, увольте. Вот Мережковский верил в плотское загробное существование. Я его спросил, ну, и, значит, будете гулять по дорожкам? — "Да, буду гулять по дорожкам и верю, что встречу знакомых, и надеюсь встретить Лермонтова". "Ну, не завидую, характер у него неприятный", — сказал я ему. Люба говорит ему: "Думаю, что Лермонтов нашел там за это время более интересных знакомых". "Да, думаю, что ему с Пушкиным интереснее, чем с Мережковским". Потом Иван Алексеевич стал говорить: никак не может поверить, что человеку будет наказание за то, что он в пятницу вкусной свежей ветчины поест, да и как от этого отказаться? "Не пойму, а вот Вера меня все норовит запугать". Дальнейшему разговору о бессмертии души помешал приход Веры Николаевны. Потом Иван Алексеевич стал шутя жаловаться на старость, морда богомерзкая стала, какой я маркиз? Это Чехов меня называл маркизом. Я был козлом, и теперь уж какой козел? Это Леонид

Андреев приехал на Капри, поселился в одном отеле с нами и в 6 часов утра приходит со стаканом от Одоля в руках, полным коньяку: "Есть козлы обыкновенные, а ты козел необыкновенный"... /все это в лицах, заплетающимся языком пьяного Андреева/. А теперь со мной то, что со стариками часто бывает, — женщины нравятся, и это ужасно, ведь знаю, что я им смешон должен быть. Человеку по Библии надо жить до 70 лет, ну, в исключительных случаях — до 80-ти. Люба говорит: "Ну, живут и свыше ста лет". — "Нет, это уж иногда отпускается кому-нибудь еще лет пять сверх 80-ти, вот как Петэну, ну и этому совершенно напрасно отпущено..."

Вера Алексеевна Зайцева пишет Буниным в открытке: "La vie est hovno".

Вечером снова пришла Вера Николаевна. Долго и много рассказывала о той совершенно патологической обстановке, которая царит у них на Вилле Жаннетт. Там 10 комнат, кажется, живут у них "Леня" Зуров, Марго Степун /сестра Федора Степуна/, Галина Кузнецова и Александр /Аля/ Бахрах. Живут все бесплатно за счет Ив. Ал. Галина Кузнецова поселилась у них много лет назад по причине близких отношений с Ив. Ал. Тогда в литературных кругах Парижа это переселение ее в Грасс /жили на вилле Бельведер/, наличие двух жен — Веры Никол. и Галины Кузнецовой — вызвало много толков. Если память мне не изменяет, это было около 1927 — 28 года. Помнится, в это время Вера Николаевна лежала в русском госпитале в Виллежуив после операции, а Галина въехала к ней в квартиру, В. Н. просила Зайцевых передать Ив. Ал., что не потерпит положения второй жены, и Борис Константинович нам рассказал, что Ив. Ал. ему заявил: "Борис, скажи Вере, что если она мне будет ставить условия, то пусть убирается к черту". Затем несколько лет подряд Галина находилась в доме на положении не то жены, не то члена семьи. Каждую зиму Бунины приезжали из Грасса на несколько месяцев в Париж, и Галина с ними, называл он ее при всех "Гая" и иногда "ты", а она его "Иван Алексеевич". Когда ему присудили Нобелевскую премию, то в Сток-

гольм за ея получением поехали с ним и Вера Николаевна, и Галина, причем весь гардероб шился и на В. Н., и на Г. Потом произошло знакомство Галины с Маргой Степун, пригласившей Галину погостить к себе в Дрезден. Иван Алексеевич ей дал на поездку 25 000 франков, по тому времени большую сумму. Через некоторое время выяснилось, что между Маргой и Галиной существуют интимные отношения, что они расставаться не намерены. Некоторое время она оставалась в Дрездене, Бунин ей посылал туда деньги, требовал возвращения, она отказывалась. Наконец, приехала из Германии с Маргой, поселилась в Париже, к Бунину в Грасс не поехала. Материальная поддержка с его стороны не то прекратилась, не то уменьшилась, жила она плохо. Потом /это теперь рассказывает Вера Николаевна/ Г. заявила, что согласна переехать в Грасс, но только, чтобы и Марго поселилась. В. Н. рассказывает, что она просила тогда Галину, чтобы та хоть ежедневно совершала прогулку с И. А. Переехали, поселились и подчеркнуто зажили отдельной своей жизнью. Ни прогулок с Ив. Ал., ни... Поедут и к себе в комнаты / у них 2 сообщающихся комнаты, но проводят время в комнате Марги/, дверь всегда на ключ изнутри. Нужно сказать, что почти с самого начала В. Н., чтобы как-нибудь сгладить фальшивость своего положения в доме, пригласила поселиться у них Зурова, к которому всячески афишировала свое внимание, так что, несмотря на большую разницу возраста, кое-кто стал даже предполагать, что она неравнодушна *par d'avis** к Зурову. Зурова, как писателя, "открыл" Ив. Ал. и пригласил в первый раз погостить из Эстонии сам Ив. Ал., но тут вдруг возненавидел его лютой ненавистью, не скрывая этого от самого Зурова. Как теперь В. Н. рассказывает, причина ненависти — Галина и то, что он приревновал З. к ней /бездосновательно/. Удивительно, что Зурова это обстоятельство нисколько не смущало, и он годами жил у них за их счет. Потом в тридцатых годах он одно время жил в Париже, а незадолго до войны снова появился у них. После переми-

* С досады /франц./.

рия у них появился демобилизованный Бахрах "на два дня", и вот уже полтора года живет у них тоже на их счет. Живут все за их счет, едят, пьют и т. д., но хозяев ненавидят, особенно третируют недоброжелательно Веру Николаевну. Общение между обитателями дома самое минимальное, почти исключительно за завтраком и обедом, вне этого Марга и Галина запираются у себя и проводят время вдвоем. Только Зуров и Бахрах еще заходят к Ив. Ал.-чу, чтобы побеседовать, в последнее время Ив. Ал. стал лучше относиться к Зурову, да по-прежнему хороши отношения у В. Н. с Зуровым. Никогда Марга с Г. не позовут к себе В. Н., никогда не зайдут к ней, разве что дело какое-нибудь хозяйственное к ней, но и тогда не садятся, а стоя скажут, что надо, и уйдут. Дела же больше характера претензий. Каждый все получаемое по карточкам на деньги хозяев /сахар, кофе, хлеб, и т. д./ держит у себя и с другими не делится. Вначале кофе варили на всех, но Галина заявила, что в нем больше цикория, чем кофе, и В. Н. отдала каждому его часть. Хозяйство /варка, мытье посуды/ ведется каждый день другим из обитателей дома. От работы освобождаются только Ив. Ал. Бахрах с Зуровым тоже почти никогда между собой не разговаривают. Люба спросила В. Н.-ну, каков был характер отношений Ив. Ал. с Кузнецовой. В. Н. ответила, что думает, что половой близости между ними не было, но не знает, — если бы была близость, то "это прорвалось бы во время ссор"... Почему живут столько народу в доме? — Ив. Ал. не может жить, когда в доме за столом нет людей.

2 апреля 1942

Был у нас Бунин. Сильно изменился внешне. Уже не тот элегантный, красивый и стройный, каким был раньше, и даже каким был еще прошлым летом. Какая-то старомодная каскетка с подворачивающимся низом, какие я видел только в России, да кое-где в Восточной Европе. Поверх старого пальто через плечо какая-то тоже старомодная сумка для продуктов, совершенно с этим не гармонируют его желтые с белым верхом ботинки, в руках палка. Все это весьма похо-

же на шаблонное изображение странника с посохом. Лицом постарел, как-то посерел и поскуцнел внешне. К этому добавить его пресловутую табакерку /он зовет ее "порттабак"/ т. е. попросту старую-старую жестяную коробочку, вроде тех, в которых когда-то продавали леденцы, на верхней, сильно потемневшей крышке следы не то какого-то рисунка, не то этикетки. На другой день после его визита пришла открытка: "Дорогие друзья! Не нахожу своего порттабака /металлический/. Думаю, что забыл у Вас. Если да, успокойте, напишите словечко".

Как и в прошлый его приезд, как-то вышло так, что он сразу стал говорить об интимных вещах. — Уехали наши дамы — Галина Николаевна с Маргой.

— Что же, вам грустно?

— Дорогая моя, думаю, что вы знаете, чем она была для меня. Ведь это 16 лет моей жизни и ведь это у всех людей, с этим уходит часть меня, моей жизни. Я ужасно молод был, когда мы познакомились, мне, пожалуй, 18 лет было. Козлом прыгал. Ну, правда, я к ним, может быть, за эти три года всего-то тридцать раз поднялся. А все-таки это было не то, а тут пришли, говорят — мы уезжаем. Да, говорю, я знал, но только почему Вы это в секрете держали? Думаю, что это уже навсегда. Что же, пора умирать, стар стал, противен стал женщинам, а без женщин что?

— Ну, какой же вы, Иван Алексеевич, старик. Человеку надо до 150 лет жить.

— Нет, милая моя, вы должны знать, в Библии у вас сказано /он цитировал буквально, но я не запомнил/, что жить полагается до 70 лет, а в исключительных случаях до 80 лет. Что ж, осталось умереть, этого одного хочу.

— Не может этого быть, Иван Алексеевич, вы, который так любите жизнь.

— Милая моя, ведь я вас всегда считал умной, и вы поймете, что мне ничего не остается в жизни.

— А литература?

— Литературой сыт — во как. А работать не могу. Вот в прошедшем году в апреле я написал маленький роман —

Натали — простите за бесстыдство, но это прямо прекрасно написано. Перечитал я теперь и удивился: неужели же я это написал так хорошо, теперь так — а ведь это главное дело писателя, смотреть со стороны — не мог бы написать. Смотрю на себя со стороны, одинокий, никому не нужный, до того одинокий, что сказать невозможно. Спускаюсь в Канны, хожу с сумкой, шатаюсь, ловчусь, чтобы достать для еды, стану в очередь, стою между каменными французами, каменные они какие-то, читаю газету, ноги шатаются, есть хочется, не то, что молодой — здоровый аппетит, а так, по-старчески чего-нибудь бы поесть, накуплю этих проклятых топинамбуров. Дома пусто, сумасшедший Зуров, Бахрах исчезает по неделям. На днях выхожу на крыльцо, Бахрах возвращается из Ниццы. — А, говорю, Вечный Жид, вернулся, наконец.

— Ну, а в Россию вернулись бы?

— Не знаю. Я ведь Россию никогда не любил. Вернулся бы посмотреть Крым, где мы с Чеховым жили, белое вино пили, молод был. Ну и страшно, конечно, подойдет какая-нибудь старушка: — А помните, я такая-то. Что же, женщины, которых я любил, которых целовал, состарились...

— Ну, чего бы вы хотели, если бы от вашего желания зависело?

— Хотел бы, милая моя, Фауста.

— Ну, а если Фауста нельзя?

— Тогда ничего мне не надо. Теперь я женщинам противен, а мне без этого не жизнь. Я и сейчас в автокар сяду, по сторонам на женщин, как старый волк, гляжу. Ну, как же, вот, поеду летом в Канны, как всегда, купаться, там женщины, а я им не нужен. Нет, правду говорю, хотел бы лечь и не проснуться больше.

Разговор опять вернулся к России, к войне, к будущему.

— Ну, вот приеду в Москву, будут, конечно, меня чествовать, а что им скажешь в ответ? А то еще выпьешь лишнюю рюмку и скажешь: не любил я вас никогда и не люблю.

— Ну, все-таки издадут вас в 500 000 экземпляров.

— Что мне от этого? Славы я в моей жизни имел доста-

точно. Главное, чтобы Адольф подох. Тяжелое это время. Францию все мы теперь стали ненавидеть.

— Ну, я про себя этого сказать не могу, — реплика Любы.

— А я этих в черных беретах /легионеры/ боюсь; когда стою в очереди за билетами на автокар, боюсь, подойдет, возьмет за шиворот — *qui etes vous?**

Потом спросил:

— От Милюкова давно имели письмо, как его здоровье? Если будете писать, пожалуйста, от меня самый нежный привет. Многое нас разделяло раньше, а теперь ничего не разделяет.

— Вы ему, кажется, всегда внутренне симпатизировали? — спросила Люба.

— Ну так ведь он совершенно изумительный, блестящий человек. И с Екатериной Дмитриевной мы теперь близкие люди.

/Я опустил его рассказ подробный о том, как практически произошло переселение Галины Кузнецовой и Марги Степун в Канны. Там они познакомились с какой-то богатой люксембурганкой, *van Meersch*, которую они разжалобили, причем в этой истории Марга проявила игру актрисы и добилась того, что там им отпускают по 1200 фр. в мес. на жизнь в Каннах/.

От Ив. Ал. узнали, что Прокопович поместил какую-то не понравившуюся немцам экономическую статью в Швейцарии и правительство вынуждено было выслать его с Кусковой из Швейцарии, но пока они еще там и хлопочут о визе в Штаты.

11 апреля 1942,

Приехал снова Бунин. Пришел после завтрака в ресторане, за который заплатил... 240 франков /из них 120 фр. за бутылку корсиканского вина/, конечно, ему дали и мясца /день мясопустный/. Там же у него была встреча с Еленой Александровной Розенмайер, урожденной Пушкиной, дочерью Александра Александровича Пушкина. Бунин рассказывает:

* Вы кто такой? /франц./.

— Сидит передо мной старая, худая, дурно одетая, с жадностью пьет плохой кофе, смотришь на узкое бледное лицо — Пушкин! Не могу без волнения думать, что это она, дочь "Сашки", сидит передо мной, что протягивается отсюда, из рестораника, живая связь с Пушкиным! Ну, вот знал Льва Николаевича, трепет был и все такое, но Толстой ближе к нам, современник, а это ведь легенда! Сидишь, смотришь на нее, спрашиваю об отце, а она: да, так вот, могу достать сахар /она занимается черным рынком/...

Отсюда Бунин переходит к рассказу, как ему довелось раз в жизни повидать "Сашку" — сына Пушкина. Рассказ начинается издалека:

— Был я тогда молод, лет 20—21, и первый мой опыт службы — поступил в управление жел. дороги в Орле. И был там заведующий нашей канцелярией старичок Голубев, такой маленький.

Нужно заметить, что все абсолютно рассказы Бунина сопровождаются совершенно неподражаемой игрой, какой я ни у одного человека не встречал, делает это он непроизвольно, не может не представлять в лицах, но делает так, что видишь сразу перед собой персонаж, о котором идет речь.

— Старичок злющий-презлющий, и держал он в страхе необычайном всех служащих, особенно дам. В первые же дни дает он мне бумажку: — Составьте ответ на это. Ну, я написал, что в ответ на ваше письмо сообщаю, что будет сделано то-то и то-то, и приношу ему. Берет, читает и тычет пальцем: — Это что такое, это вы писали? Вы, кажется, писатель? И как швырнет от себя бумагу на пол: — Переписать!.. — Ах ты, сукин сын, мать твою так и так, перетак и разэтак... Он, вероятно, решил, что я с ума сошел, остался окаменелый, кругом все служащие опустили головы над столами, делают вид, что не слышат, а я взял свою палочку, шляпу и ушел. На этом моя железнодорожная деятельность и окончилась. Мне, как ж.-д. служащему, полагался бесплатный билет первого класса, и я решил им воспользоваться, было два дня праздников и я поехал в Москву. Приехал, пошел по Тверской, у вокзала купил шамаю /денег на хлеб у меня не было/, иду, ем шамаю.

пришел на Страстной, зашел в церковь, идет служба. Стал, а рядом старушка глаз не сводит с моего соседа и шепчет мне: "Это Пушкин Александр Александрович!" Я посмотрел и чувствую, что бледнею от волнения. Стоит старый седой генерал в сюртуке, а лицо Пушкина. Стою и боюсь пошевелиться, а глаз оторвать не могу.

Люба напомнила строчки из Евгения Онегина:

Чья благосклонная рука

Потреплет лавры старика...

— Да, а потом придет животное, самец Дантес, и убьет. Ведь бесконечное количество раз я читал о дуэли и всякий раз кажется: — а вдруг не умрет...

Тут Люба сказала, что это принято относить к Андрею Болконскому. Тэффи это говорит всегда.

— Пушкин — это волшебство, это божественное я уверен, что нигде в мире, ни в какой литературе ничего подобного нет.

Он процитировал несколько раз четыре строчки из Пушкина, никому из нас не знакомые, где подчеркнул слова о теплом свете луны, и говорил он это с таким радостным выражением лица. Потом перешли на Толстого:

— Ну, кто же из нас мальчиком не был влюблен в Наташу Ростову, а в более зрелом возрасте — в Анну Каренину?!

Потом говорили о сходстве Татьяны Львовны с отцом. Сидевшая у нас восторженная Нина Юльевна Гольдгрин, уроженка Орловской губернии /Ливен, кажется/, сказала, что "Митина любовь" — автобиографична, стала хвалить за хороший язык.

Иван Алексеевич:

— Уверяю Вас /он всегда в таком случае прикладывал руку к сердцу/, что ничего автобиографического в ней нет. А написал я ее вот как. Как-то летом пришел к нам долго-вязый юноша со скрипучим голосом, плоскими ступнями и висячими руками /все это изображается, конечно, в лицах/:

— Я — Митя Шаховской.

В то лето у нас в Грассе было много молодежи, пианино, было чертовски шумно и весело. — Вы где остановились? — В каком-то гнусном отельчике. — Хотите, переезжайте к нам?

Он переехал. Я так смотрел на него. Он тоже вырос в деревне. Так закрыл рукою глаза и представил себе — приезжает этот влюбленный Митенька Шаховской на каникулы в деревню, ходит-смотрит, как в поле работают. Староста, хитрый мужик, говорит: — Вам бы, барин, девку надо — я это приспособить живо могу. Сел и в несколько дней написал. Потом Зинаида Николаевна Гиппиус говорит /опять изображает близорукую Гиппиус/: "Это пошло, глупо. Любовь едина и это невозможно". Я ей говорю, что это очень возможно. А что язык хороший — мне, право, всегда обидно, что меня критики за язык хвалят, как будто ничего больше в этом нет.

Потом почему-то разговор перешел на Достоевского. С отвращением и злостью Бунин сказал:

— Какая стерва пошлая. Безвкусно, плоско, имена обозначают характер персонажей — /иронически/: Лизавета Смердящая, Смердяков — вроде как Стародум, Дуракин. Тьфу! Нет, это пошлая, стерва.

Тут едва не вышла ссора с Любой, вступившейся за Достоевского.

— Надеюсь, друг мой, что мы с вами не поссоримся из-за него, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем из-за поросенка.

— Не из-за поросенка, Иван Алексеич, а из-за гусака.

— Ну, из-за гусака.

И, как всегда, вернулся к своей излюбленной теме об одиночестве.

— Тоска ужасная. Проходит день, станешь опускать шторы. И такое одиночество, как на Чертовом острове у Дрейфуса не было, ах, какое одиночество. Писать не могу. Табаку нет, вина нет, а без табаку и вина я писать не могу. Чтобы писать, надо быть спокойным, а этого нет теперь. Да и к чему писать, для кого, мир уж очень паскудным стал. Я желаю победы России не от любви к большевикам, а от ненависти к Адольфу.

Потом почему-то заговорили о художниках-портретистах. Бунин рассказал, что никогда никто не писал его, потому что

он не в состоянии сидеть-позировать. А раз уже согласился. Сам Илья Ефимович Репин прищурил глаз и прикрыл сверху рукой — приезжайте ко мне, буду с вас святого писать. Приехал я в Куоккалу. Снег, холодно. Подхожу к дому — окна повсюду настежь, идем мы с ним в его мастерскую, и там окна открыты. — Вот здесь я вас буду писать, жить станете у меня, а теперь пойдем завтракать. Входим в столовую, холодище собачий, сидят в шубах, вертящийся стол, едят какую-то травку, о водке и помину нет. — Схожу, погуляю. — Вышел и пустился к вокзалу, как зверь голодный бросился на еду, водки выпил и, не возвращаясь, махнул в Петербург. Только он меня и видел.

А раз в Москве в Литературном Кружке сидим мы компанией, Серов говорит:

— Я вас писать буду. Это будет вам стоить тысячу рублей. — А я ему /это Бунин говорит со злостью/:

— А я думал, что получу за это тысячу рублей — повернулся — человек, еще бутылку вина — и перевел разговор. Преприятный человек Серов был.

В это время Ляля вернулся из лица, заговорили о том, как он был забавен маленький, и Иван Алексеевич стал рассказывать, что он состоит в стихотворной переписке с девочкой Олей, дочерью б. жены Рощина, которая жила у них с матерью до войны. И он долго и с видимой охотой цитировал свои стихотворные письма, действительно очаровательные. Причем, он их сам иллюстрировал.

Пятница, 24 апреля, 1942

После завтрака был Бунин. Рассказал, что Фундаминский прислал из лагеря Компьен письмо /открытку/ к знакомым в Грасс /мадам Жако/, где пишет, что принял православие, что "Le moral est bon"*, и что работает.

— Мог бы взять пример с Анри Бергсона — пошляк!

Отсюда разговор перешел на религию. Бунин говорит, конечно: — Я не могу верить в Бога — старика с бородой.

* Настроение бодрое /франц./.

Говорили о России, о снах о России: ему приснилось, что он вернулся в Россию, ему дают маленькую рюмку вина, он требует бутылку Удельного, ему отвечают: — Гражданин, это нельзя, так как будете дурно пахнуть...

Говорит, до чего все наши чувства к России и Сталину перемешались до безобразия. Говорит, что теперь жалеет, что не поехал в Америку, а теперь уже поздно /но думаю, что он никогда бы не поехал/. Много говорили о войне. Все и он думают, что это лето будет решающим.

Среда 27 мая 1942

Сегодня днем пришел Бунин. Осунувшийся, усталый, говорит охрипшим голосом. Одет по чеховской моде, что ли, так теперь не одеваются. Старенькое, стираное, дешевое, непромокаемое пальто, прошлогодняя белая полотняная каскетка, штиблеты старые, когда-то сделанные по моде — белая замша с желтой кожей, зонтик, через плечо все та же клеенчатая желтая сумка, в роговых очках. Говорит, что за последний месяц как-то совсем надломился физически: — Похожу немного по саду, и как старик — не могу, должен сесть, дышать становится тяжело, сердце устает. К себе на гору 45 минут подымаюсь, останавливаюсь, отдыхаю.

Почти истерически говорит о том, что осень и зиму не вытянет здесь /во Франции/ — есть нечего, топлива нет. А куда ехать? В Марокко, что ли? Так визу марокканскую не дадут /там живет Катя Муратова/. А если Адольф туда придет? Крышка нам будет.

Говорю ему:

— Может быть, куда-нибудь в деревню на месяц поехали бы подкормиться, отдохнуть, если не боитесь там скучать?

— Скучать? Ну, уж так, как я скучаю — у себя — больше нельзя. Такая тоска, такое одиночество! Проснусь среди ночи, зажгу свет. Господи! Не думал никогда, что Бог накажет такими тяжелыми страшными днями под конец. Совсем я сдал: воли во мне нет, открытку написать не могу. Ничего не пишу. Вот у Вас всякие интересные книги, а я ничего не чи-

таю, старые книги перелистываю и в библиотеку никак не попаду.

Заговорили о "Новом Журнале", он немного оживился, когда рассказывал со слов Кусковой, что хороши его рассказы там. Замахал руками, когда я сказал, что пришлют нам и ему "Новый Журнал":

— Ради Бога, не надо, неприятности будут.

— Да не будет неприятностей, мы через Швейцарию получим.

— Будут, "мы жида", нам сейчас всыпят за такой журнал. Ну, если еще вырвут беллетристику и пошлют, а то весь журнал с политикой, нет, подальше от этого.

О политике "Нового Журнала" он уже знает. Возмущается Керенским. Что же он хочет? Я, Александр Федорович, был главнокомандующим. Пожалуйста, значит, управлять нами? И Вишняк, значит, на прежнем месте. Из Америки не пишут. Противен я им стал, наверное — все пишу какие-то прошения на гербовой бумаге — денег нет, помогите. Бог с нами, писать больше не буду.

Рассказал, как неудачно — по совету Кусковой — посылал в Neue Zürcher Zeitung рассказы. Все не то. Сначала написал, что для Швейцарии не подходит /они просили о Толстом, он послал, но тогда и ответили, что не подходят/. Пришлите рассказы. Послал. Ответ: газета помещает из беллетристики только "шедевры постоянных сотрудников".

— Ну, скажите, кому я нужен в каких-то швейцарских цюрихских газетах?

Смеется:

— Вот, когда русские победят — тогда пожалуйста — *escri-vain russe**, портреты рядом с Тимошенко, Сталиным и Алешкой Толстым. А теперь не надо.

Жалуется на то, что Макс не устроил издание его книги "Темные аллеи". — Книгу покупали бы, в ней порнография есть /смеется/. Сон мне снился. В Сицилии женится кто-то на молодой сицилианке, а она в первую ночь спит со мной.

* Русский писатель /франц./.

Очень приятно было, но проснулся и страшно жаль, впрочем, это лучше, что сон оборвался, а то что было бы делать дальше?

Пятница, 12 июня 1942

Когда вернулся домой в 3 часа, застал дома Бунина. Он значительно бодрее выглядит. Говорит, что занят писанием "литературного завещания" и подготовкой посмертного издания сочинений, чтобы смерть врасплох не застала. — Прочитал книгу о Толстом, и "Лику", и ей-Богу, честное слово, не хвастаю, перечитал и очень понравилось, очень хорошо, и быстро написано, очень чувствуется ритм. Обидно, что никто этого не знает и не прочтет. Меня вообще всегда мало читали.

Хвалил очень Лялю, — как приятно, что хорошо говорит по-русски и какой прекрасный юноша.

Вспомнил почему-то, как его представляли Антонию, митрополиту Карловацкому, представил в лицах: подхожу, осеняет крестом, "рад, рад, много слышал, ничего не читал, но много слышал..." "Пили суррогатный кофе, потом в 4 с 1/2 часа дня пошли вместе в кафе "Гранд Таверн" на рю де ла Виктуар, где по пятницам у нас встречи. Был Адамович, Каннегиссеры. Говорили о Гиппиус, ее поэзии. Иван Алексеевич говорит, что это сплошное мошенничество — "таинственный, осиянный" и т. д. и еще маленького чертика непременно вытащит, 40 лет этим чертиком торгует. Мережковский ей говорит — "Вы электрическая поэтесса", а она ему /жест, имитирующий Зинаиду Николаевну с лорнетом/: "А вы Хлестаков". Адамович заметил, что оба были правы. И тут же добавил, что при всем том, из тысячи стихотворений можно узнать, чье принадлежит Гиппиус. Ив. Ал. сказал, что перечитывал недавно Георгия Иванова — настоящий поэт, есть что-то у него от настоящей поэзии, а вот М. Волошина читал — поэт ничего, только Киммерийские поэмы, которые по сюжету интересны. Стихи о России читать нельзя. Вспомнили, как учил Гумилев писать стихи Анну Ахматову; по это-

му поводу Адамович сказал, что единственная настоящая женщина-поэт после Ахматовой — Червинская. Потом такой диалог. Люба говорит, что не знает Блока. Адамович удивился. Бунин: "Почему вы удивляетесь, что Любовь Александровна не знает Блока? Я тоже плохо его знаю". Адамович: "Потому что Люб. Ал. сама поэтесса". Бунин: "И я когда-то стишки писал". О Тимошенко, об Анапе /якобы высадка немцев/ и т. д. На обед по пяти крохотных мучных оладий и по 30 грамм рокфора...

Четверг, 25 июня 1942

Прелестное ароматное утро. Сидел в саду и читал. Пришел Бунин со своей сумкой через плечо.

— Здравствуйте, профессор!

Не знаю, почему он меня назвал профессором. Рассказал, что в Париже скончался Юрий Мандельштам в лагере... Берберова пишет ему, что Иванов-Разумник, бедняцкий, — ушел из России в одной рубашке. Пришел в Берлин и прямо в продажную клоаку Деспотули: в полученных мною номерах "Нового Слова" этот "народник" и тупица, литературный бухгалтер уже строчит фельетоны из номера в номер. Как у человека не нашлось брезгливости, чтобы не остаться в стороне от этого лупанара... Бунин даже сразу не поверил, что он печатается там. Я говорю ему, что сам он старается ничего неприличного не писать, но Ив. Ал. с таким искренним недоумением сказал: — Ну, как же так? Как же он в такую компанию пошел? Человек он не Бог весть какой; ограниченный всегда был. Бунин говорит, что думает переехать на зиму в По, там можно найти две комнаты с отоплением. Вероятно, все-таки не решится. Еще один удар: англичане снова сдали ряд важных городов у самой границы Египта, Соллум и др. Прямо руки опускаются.

Окончание в следующем номере.

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР

созданный в г. Кельне

/Федеративная Республика Германия/

ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

во всех областях науки, промышленности, сельского хозяйства, организации производства, планирования, военного дела, юстиции, медицины, культуры и искусства, спорта, организации партийного и государственного аппарата и т. д.

Заинтересованных в разработке различных аспектов вышеуказанных тем просим сообщить в Центр следующие сведения о себе:

1. Имя, отчество, фамилия.
2. Год рождения.
3. Адрес и телефон.
4. Профессия.
5. Образование /с точным указанием учебного заведения, факультета и года окончания/.
6. Ученые степени и звания.
7. Бывшие места работы и должности в СССР.
8. Узкая специальность /темы, проблемы/.
9. Научные работы /опубликованные и неопубликованные/.

Присланная Вами информация пойдет в картотеку Центра, создаваемую с целью выполнения последующих заказов на исследовательские работы.

Адрес Центра: Zentrum für Sowjetforschung e. V.
Postfach 18 01 05 D-5000 Köln 1
Bundesrepublik Deutschland

ВЕРНИСАЖ

"ВРЕМЯ И МЫ"



ЖИЗНЬ, ОБЛЕЧЕННАЯ В СИМВОЛЫ

Годы молодости и первые работы Бориса Рабиновича связаны с архитектурой. В 1961 году он окончил архитектурный техникум и вскоре после этого стал главным архитектором старинного русского города Великий Устюг. Был он дизайнером в Институте промышленной эстетики в Ленинграде, учился в Академии прикладного искусства имени Мухомовой, был просто свободным художником. И так до 1977 года, когда он покинул СССР.

Вероятно, архитектура во многом наложила свой отпечаток на его стиль, определила его тягу к фигуративным, часто геометрическим изображениям. Почерк дизайнера ощущается и по сей день. Но это — когда мы говорим о стиле. Что же касается темы, любимой темы Бориса Рабиновича, то она всегда так или иначе связана с миром сказочного и фантастического. В своем искусстве художник демонстрирует удивительное мастерство — облекать реальную жизнь в символы, создавать своего рода сплавы волшебного и реалистического. В какой-то степени волшебное всегда служит источником, импульсом, а может быть, даже первопричиной его творчества. С другой стороны, все реальное в его изображении выступает в виде необычных и убедительных символов. Вот перед нами праотец Авраам. Художник изображает его таким, каким праотец Авраам предстал перед ним, когда Борис Рабинович уже был в зрелом возрасте. Таким, каким он представил его себе после чтения Библии. Словом, перед нами совсем "особый" праотец Авраам, — символ, в который облечен этот библейский образ.

Борис Рабинович, как говорят о нем критики, совсем не боится конфронтации с эпохой. Нет, он не бунтарь, он неконформист в том смысле, что предпочитает /а может быть, это происходит и неосознанно/ изображать человека и человечество вне времени. Художник в своих работах словно бы пытается освободиться от влияния окружающей жизни, от нависающих над ним опасений, от собственного страха. И в то же время в работах Бориса Рабиновича мы часто не видим никакого драматизма, напротив, ему не чужд тихий насмешливый юмор, в который как бы погружены его образы. Может быть, правильнее здесь было бы говорить о контексте, о некоем "втором плане" в видении и изображении духовного. Впрочем, у художника совершенно "земные" цвета и краски, часто настолько "земные", что они как бы остаются незамеченными.

В. Петровский



"Золотой телец". /Смеш. техника./



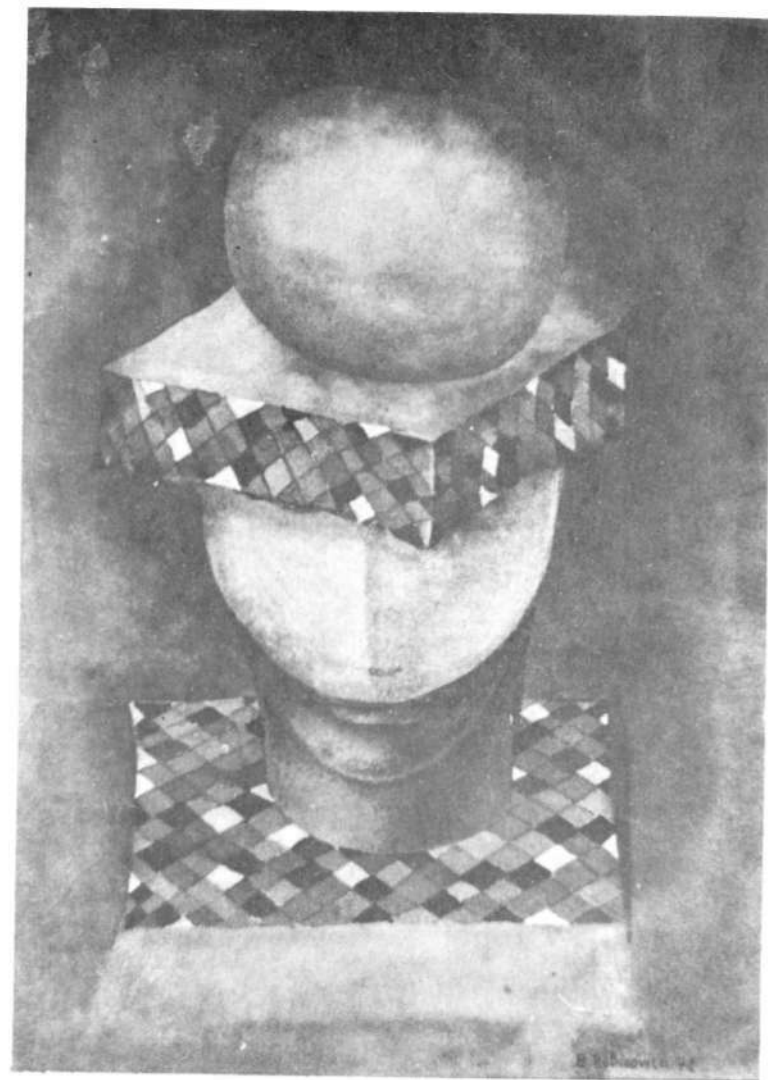
Авраам. /Смеш. техника./



Авраам спрашивает у Бога. /Смеш. техника./



Ослепленный Самсон.



Мир искусства. Из серии "Клоунада жизни".



Моцарт. Из серии "Известные портреты". /Смеш. техника./



Из серии "Марионетки". /Перо./

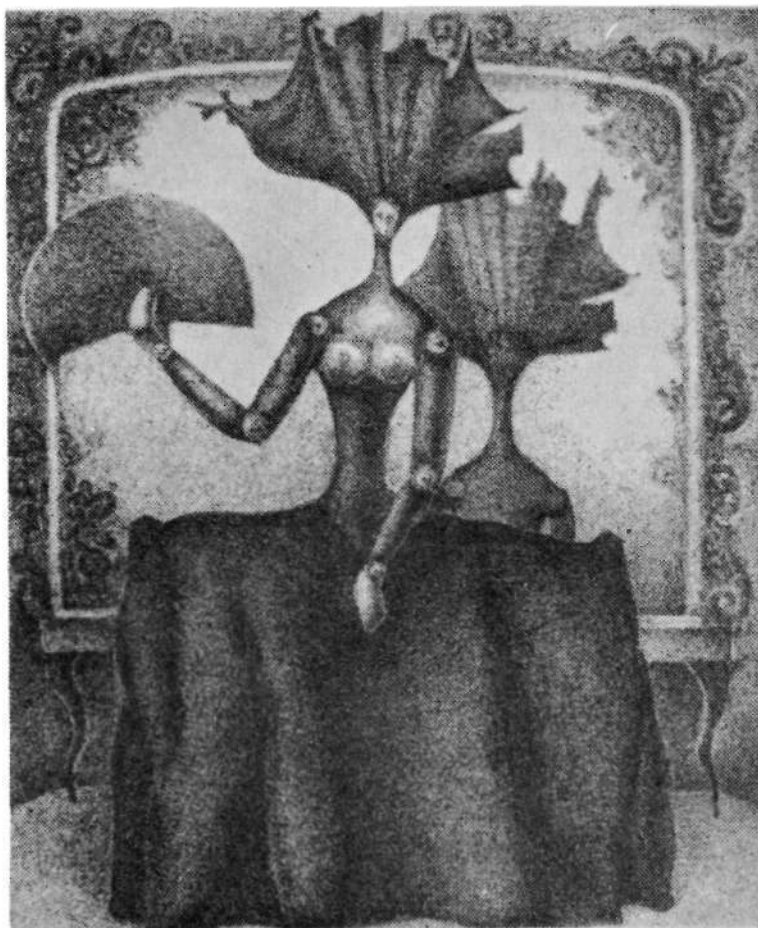


Иллюстрация к сказке Гофмана. /Перо./

ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

1. "Молчаливая любовь". Рассказы. Предисловие — В. Завалишин. США. 1979 г. стр. 119. Цена - 5 долларов.
2. "С девятого вала". Стихи. Предисловие — В. Завалишин. США. 1979 г. стр. 64. Цена — 3,5 доллара.
3. "Дальние пристани". Стихи. США. 1967 г. стр. 73. Цена — 2,5 доллара.

ИЗ ОТЗЫВОВ О Е. ДИМЕР

"Евгения Димер училась на опыте русской и украинской литературы, судя по ее сборнику "Молчаливая любовь", на опыте Чехова и Леси Украинки... Для творчества Димер характерно сочетание драматизма и лирической нежности..." В. Завалишин, "Новое Русское Слово", 16. 9. 1979 г.

"Е. Димер — законченный литературный мастер", В. Морт, "Русская Жизнь", 18. 10. 1979 г.

"В литературу нашего Зарубежья Е. Димер входит, прежде всего, как наблюдательный очеркист и журналист", Э. Штейн, "Русская Жизнь", 15. 1. 1980 г.

БОРИС НАРЦИССОВ

1. "Звездная птица". Полное собрание стихотворений: новые стихотворения. Сборники: "Шахматы", "Подъем", "Память", "Голоса" и "Стихи". Обложка автора и Г. А. Женук. Вашингтон, США. 1978 г. стр. 320. Цена - 9 долларов.

ИЗ ОТЗЫВОВ О Б. НАРЦИССОВЕ

"В стихах Нарциссова множество находок и ярких, очень народных и, вместе с тем, очень незаигранных, своеобразных образов..." Проф. Б. А. Филиппов — из предисловия к книге "Звездная птица".

"В русской литературе было слишком много реализма. Бориса Нарциссова следует отнести к романтической школе; диапазон его поэтического творчества чрезвычайно широк и глубок". Проф. А. Цветиков — из предисловия к книге "Звездная птица". "Один из крупнейших славистов Америки, профессор Тэррас, определил особенность поэтического почерка Нарциссова, как "виртуозность так называемых "своеродных размеров поэта". Э. Штейн. "Новое Русское Слово", 11. 6. 1978 г.

Заказы на книги Е. Димер и Б. Нарциссова направлять по адресу: E.Sztein, 594 Chestnut Ridge Rd. Orange, Conn. 06477. USA

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ. Родился в 1938 году в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. В советской печати практически не публиковался. На Западе публиковался в журналах "Грани", "Вестник РСХД", "Время и мы" и др.

Юрий ДРУЖНИКОВ. Писатель и историк педагогики. Родился в 1933 году, окончил историко-филологический факультет педагогического института. Преподавал, затем до 1971 года работал заведующим отделом науки газеты "Московский Комсомолец". Член Союза писателей СССР, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. В настоящее время живет в Москве. В 1977 году подал документы на выезд в Израиль, однако ему было неоднократно отказано. Публиковался в журнале "Время и мы".

Александр ТУЧКОВ. По образованию художник. Окончил институт в Ленинграде. Несколько лет назад эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Живет в Нью-Йорке, работает ночным сторожем.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ. См. статью Ефима Эткинда "У времени и вечности в плену" о поэзии Инны Лиснянской, журнал "Время и мы", №49.

Надежда ПАСТЕРНАК. Родилась в Кишиневе в 1950 году. Окончила филологический факультет Кишиневского пединститута. Стихи пишет с 13 лет. Начиная с 1968 и по 1969 год выступала в периодической печати. После 1969 года в Советском Союзе не публиковалась. В Израиль приехала в 1979 году. Публиковалась в журнале "Время и мы".

Виктор ФЕДОСЕЕВ. Писатель и публицист, член международного ПЕН-клуба и Федерации писателей Израиля, автор книг "Гермес из Манхэттена" /1962/, "...И всюду человек" /1964/, "Подсудимый невиновен" /1966/, "Мэри, нас избрали!" /1968/, "Сэйлсмен" /1970/. В конце 60-х и начале 70-х годов в Москве Виктор Федосеев был редактором первого еврейского самиздатовского журнала "Исход". По выезде из Советского Союза публиковался в англоязычной и ивритской печати. В 1972 году в Израиле в переводе на иврит был издан сборник его рассказов "...И всюду человек". В настоящее время Виктор Федосеев — редактор программы "Права Человека" и политический обозреватель радио "Свобода". В русскоязычной зарубежной печати выступает впервые.

Франтишек СИЛНИЦКИЙ. Чешский историк. Родился в 1930 году. Окончил исторический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Работал в Праге научным сотрудником Института истории коммунистической партии Чехословакии. Был главным редактором журнала "Приспевки к дейнам КСЧ", преподавателем Высшей партийной школы в Праге /позже она была переименована в Высшую политическую школу/, читал лекции по национальной про-

блеме СССР и по теории советской политической системы. После оккупации Чехословакии в августе 1968 года Франтишек Силницкий, как и десятки тысяч его сограждан, оставил родину. С 1969 по 1974 год Франтишек Силницкий был доцентом Тель-Авивского университета, с осени 1974 года проживает в Соединенных Штатах Америки.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. См. журнал № 50.

Наталья ГРОСС. Литературный критик и искусствовед. Родилась в 1950 году в Москве. Получила филологическое образование в МГУ. Изучала историю искусств в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. В Израиль приехала в 1974 году. Постоянный автор журнала "Время и мы".

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Писатель. Живет в России. Родился в 1932 году в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 году опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башенкой". В 1972 году по сценарию Фридриха Горенштейна Андрей Тартаковский поставил фильм "Солярис". По сценариям Фридриха Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 года Ф. Горенштейн опубликовать не смог. Между тем, в семидесятых годах им написаны повести "Зима 53-го" /1965/, "Ступени" /1966/, "Искушение" /1967/, рассказ "Старушки" /1964/, пьеса "Споры о Достоевском" /1973/ и ряд других произведений. С конца семидесятых годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В семнадцатом номере "Континента" публикуется повесть Горенштейна "Зима 53-го". В 42-м номере нашего журнала опубликован отрывок из его повести "Искушение", а в 50-м и 51-м номерах — пьеса "Бердичев". Более подробно биография Фридриха Горенштейна приводится в статье Ефима Эткинда "Рождение мастера" /"Время и мы", № 42/.

Леопольд АВЗЕГЕР. /Биографические данные приводятся в воспоминаниях Л. Авзегера./

Дора ШТУРМАН. См. № 52.

Яков ПОЛОНСКИЙ. /Биографические данные приводятся во вступительной заметке Е. Эткинда и дневниках Полонского./

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" издается как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширяется тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация писем Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать цикл эссе Льва Наврозова, рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагают несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1800 лир, на шесть месяцев — 1050 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1900 лир и 1150 лир.

В США и КАНАДЕ: на год — 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR. на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта — 370)

В ГЕРМАНИИ на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" можно по русски — и высылается по адресу :
P.O.B. 24123, Tel Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel**



"КАРМАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" МИХАИЛА ДЕМИНА

Михаил Демин, которому, наряду с биографическими романами, принадлежат две остросюжетных повести /"И пять бутылок водки"/ "Тайны сибирских алмазов"/, недавно закончил работу над необычным словарем, который он сам называет "Блатной карманной энциклопедией".

"Карманная энциклопедия" состоит из нескольких разделов. Помимо традиционного словаря, она включает обширные главы, посвященные песенному блатному фольклору, а также легендам, сказам, разного рода преданиям. В "Энциклопедии" широко представлены поговорки, пословицы и частушки, которые, собственно, и составляют истинное богатство "блатного фольклора".

В "Энциклопедии" есть статьи по истории российского блатного мира, о происхождении жаргона, о "фенях" и скоморохах, об отечественном "черном" рынке, о воровских профессиях, о кровопролитной "сучьей войне" и о многом другом.

"Блатной жаргон непрерывно меняется, модернизируется, что, в сущности, закономерно, — пишет в предисловии Демин, — ведь "феня" — особый, тайный язык. Раскодированный, он лишается смысла... Однако в творчестве подпольного мира есть такие категории, которые никогда не меняются; в них точно отражены все этапы истории. Это прежде всего — легенды, песни, пословицы. И вот почему я самое главное внимание уделяю не словарю, а именно фольклору, надежно хранящему и точно отражающему весь многообразный, многолетний опыт социального дна каторжной жизни России".

Я ПОКАЗАЛ ЙОХЕ НАГЕЛЬ, СОТРУДНИЦЕ БАНКА, В КОТОРОМ У МЕНЯ ОТКРЫТ СЧЕТ, "ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", ПОЛУЧЕННОЕ МНОЙ ОТ "ХЕВРАТ ХАШМАЛ". ОНА ПОСОВЕТОВАЛА МНЕ ДАТЬ ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ БАНКУ НА ОПЛАТУ СЧЕТОВ ЗА ТЕЛЕФОН И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Я ПОСЛЕДОВАЛ ЕЕ СОВЕТУ, И У МЕНЯ НЕТ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТОЙ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕЛЕФОН.



בנק לאומי הבנק שלי.



בנק לאומי

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03) 31-58-40.

26 Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П. Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6, Т. — А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман

Технический редактор И. Левин

На четвертой странице обложки рисунок Бориса Рабиновича.

